РОДИОН НАХАПЕТОВ
ВЛЮБЛЕННЫЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще ребенком, засыпая, я часто пытался уловить приход сна. И всегда граница между явью и сном как-то незаметно расплывалась, и я мягко терял контроль. Приходило утро. Проснувшись, я не мог вспомнить, в какой именно момент щелкнул выключатель и погасил реальность. Мне вспоминалось стадо баранов, которых я нарочно пересчитывал вслух, но, на каком барашке меня сморил сон, оставалось тайной.

Именно в тот самый момент, который ты подстерегаешь, мысли расплываются, теряют форму, точно кто-то убирает внутренний магнит, удерживающий все в определенном порядке. Ты перестаешь думать о конкретном, последний баран в твоей голове превращается в бесформенное облако, и ты проваливаешься в небытие, в пустоту, в вечность. Утром кто-то невидимый взмахивает волшебной палочкой, магнит возвращается, мир из осколков собирается в целое. Ты открываешь глаза и радуешься новому дню.

А если волшебная палочка не разбудит тебя?

Я часто задумываюсь о смерти. И не потому, что боюсь или чувствую ее приближение. Я здоров и хотел бы протянуть по меньшей мере еще пару десятков лет. Мысли о смерти заботят меня в той же мере, как режиссера — кульминация его произведения.

По молодости человек придает непомерное значение мелочам, как будто смотрит на все через увеличительное стекло, но с годами реальные встряски и происшествия вынуждают его видеть все иначе. Появляется внутренняя масштабная линейка. Конечно, помимо смерти, в жизни есть еще одно равновеликое, ключевое событие — это рождение. Но сегодня, на пути к «светлому будущему», я отдаю предпочтение не началу, а концу, смерти — последнему форпосту сознания, последней черте.

Моя бабушка, будучи сорокалетней, приготовила самый дорогой, самый красивый наряд, чтобы лечь в нем в гроб. Я знаю людей, которые тщательно составляют завещание, стараясь возыметь силу после смерти. Видел грешников, которые годами вымаливают у Господа прощение. Встречал жизнелюбцев, безраздельно увлеченных делами. Знал пьяниц, заливающих горе вином. Отношений к смерти великое множество. Люди применяются к неизбежному концу — каждый по-своему.

Эта книга — освоение финала, мой подступ к нему.

И так как хороший финал прячет свои корни в начале произведения, я тоже начну с начала. Со своего зарождения. Да-да, именно с за-рождения, это не опечатка. Дело в том, что моя мать оставила подробные записи об этих днях. Незадолго до смерти, по просьбе друзей, она написала подробный отчет о своем беспримерном переходе через линию фронта (май 1943 — январь 1944). Она совершила этот путь беременной И так как она была беременна мной, то в этих записях я нашел и себя. Вчитываясь в документальные страницы, оставленные моей матерью, я как бы снова совершал с нею свое дородовое путешествие.

Рождение РОДИНЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я открываю первую мамину тетрадь. Всего их девятнадцать.

Мама была учительницей, а потому тетрадки у нее были ученические, в голубую линейку с полями. Писала мама фиолетовыми чернилами, пером № 11, с аккуратным каллиграфическим нажимом*.

Я, Прокопенко Галина Антоновна, родилась 15 июня 1922 года в селе Скалеватка криворожского района. моя мама была красивая женщина и мечтала выйти замуж не за моего отца, а за другого парня, но тот предпочел другую.

Я родилась первой и была очень слабой и болезненной. бабушка Оляна (тетя моей мамы) призналась мне потом, что уговаривала мою мать выкинуть меня в уборную.

Долгие годы, вплоть до самой своей смерти, баба Оляна, увидев меня, принималась плакать:

— Прости меня, дытыночка, что я тебя убить хотела. Прости, Галочка, горювальница ты моя, прости.

У меня было три брата: Иван, Михаил и Дмитрий, который умер младенцем, и две сестры: Анна и Мария. Мама меня не любила. А отец любил. Жалел.

Весной 1941 года я окончила Новомосковское педагогическое училище и в самом начале великой отечественной войны вернулась домой.

Во время немецкой оккупации я стала членом подпольной организации «Родина».

Несмотря на слабое здоровье, характер у меня всегда был оптимистичный и озорной. Война не изменила его.

Я организовывала побеги молодежи перед их отправкой в Германию.

Как-то меня выследили и арестовали. Заперли на третьем этаже сборпункта (в Кривом Роге). Я выждала, когда вокруг дома столпилось много провожающих, открыла окно и на глазах у толпы выбралась наружу.

---

* В книге печатаются избранные страницы. — Р. Н.

Прошла по узенькому карнизу третьего этажа до балкона, спрыгнула с него на балкон второго этажа, оттуда — на землю и смешалась с толпой.
Полицейский Иван Кистерец говорил одному знакомому:
— Галя — это не девушка, а дьявол. Проведет любого полицая. Немцев и подавно. Черт какой-то, а не девушка.
Среди подпольщиков мне нравился один инженер по имени Рафаил Нахапетов. Ему было тогда чуть меньше тридцати лет. Он был интересный человек и умел рассказывать о жизни красиво. Мы полюбили друг друга. В начале мая 1943 года я зачала от него.
А дальше последовало задание, о котором я и хочу рассказать.
Суть задания заключалась в следующем. Я должна была перейти
Линию фронта в районе Змиева, попасть в 7-ю армию фронта и доложить Разведывательному Отделу РККА о размещении крупных воинских частей противника в кривом роге. Эти важные сведения были собраны подпольной организацией «Родина». Попутно я должна была связаться со штабом партизанского движения юга и просить десант для помощи вооруженным подпольщикам Криворожья.
Маршрут был намечен следующий: Кривой Рог — Днепропетровск — Новомосковск — Красноград — Змиев.
Задание мне давал один из руководителей нашей организации — Илья Нилов (Иван Митрофанович Демиденко), с которым мы сговорились встретиться 6 июня 1943 года в Гданцевке, у инфекционной больницы.
Встретившись, мы в обнимку поднялись по тропке в больничный сад и опустились там на траву. соблюдая конспирацию, мы изображали влюбленную парочку. Илья положил свою голову на мои колени и, рассказывая о задании, мечтательно, как влюбленный, смотрел в небо и жевал травинку. когда на горизонте появлялись немцы, Илья принимался меня обнимать.
— Влюблен, ничего не поделаешь! — шутливо оправдывался он.
Вручая справку за подписью гебитскомиссара города Кривого Рога, дающую право некоей Екатерине Евдокимовне Костюченко беспрепятственно следовать в село Граково, Илья дал и все подробности, относящиеся к образу Екатерины Костюченко, которую мне предстояло сыграть.
Своим домашним я сказала, что пойду на несколько дней к бабушке в Рахмановку. Если задержусь, чтоб не волновались.
я часто уходила из дома на две-три недели и всегда благополучно возвращалась, поэтому мне разрешили. только отец предостерег:
— Смотри, дочка, не попадись к немцам в лапы.
Рано утром отец и мать ушли из дома. Братья Иван и Миша спали, сестра Аня (Нюся) — тоже, только младшая сестричка, шестилетняя Маруся, прыгала вокруг меня.
— Пойдем к бабушке! Я тоже хочу к бабушке! Возьми меня! — кричала она.
— В другой раз, Марусенька. Сегодня я одна пойду, ладно? — успокаивала я сестренку.
Проходя по Скалеватке, мысленно прощалась со знакомыми дворами, с родными деревьями, с милым колодцем... Может, не вернусь? Но печальные мысли быстро развеялись. Солнечное, теплое утро говорило о жизни, светлыми чувствами наполняло сердце. Умереть? Нет, пусть фашисты умирают. Я должна жить!»
Я прерываю воспоминания мамы.
По всем расчетам, в начале июня, то есть в тот день, когда мама, неся меня под сердцем, отправилась в путь, я был величиной с рисовое зернышко. В это время, как раз на шестой неделе, как говорят ученые, у детского зародыша начинает функционировать сердце.
Я уточняю это не потому, что придаю своей персоне большое значение: я был зародыш, как и все в мире зародыши, — с генетической программой, но без собственного разума. Просто, отдавая должное Господу, ответственному за план жизни, я не могу отказать себе в удовольствии покопаться в его божественных чертежах и найти там свое начало.
Из этих же побуждений мне интересно улавливать в сонате появление побочной темы.
Вот эта музыкальная тема (тоже своего рода зародыш) подает короткий, как бы робкий сигнал, затем заявляет о себе настойчивей, вплетается в основную мелодию...
Поверх модного платья я напялила кофточку, а поверх нее еще и жакет. я должна была предусмотреть одежду на все случаи жизни, если бы я не была такая худая, большое количество одежды бросалось бы в глаза, но я была худая как щепка.
...я успешно прошла два патрульных кордона на мосту. я видела, что к рабочим, торопящимся на работу, меньше приглядываются. с деловым видом, пристроившись к небольшой группе рабочих, я перешла полуторакилометровый мост через Днепр. Попала на базар. Что делать дальше? Купила букет пышных роз и вышла на новомосковское шоссе, но дорога была перекрыта. ни вход ни выход не обходился без проверки. я оглянулась. Издалека шли немцы. Облава.
Круто свернула влево. Калитка во двор приоткрыта, зашла. Позвала хозяев. Тишина. Из этого двора прошла во второй, в третий, в пятый, и так до тех пор, пока не выбралась в поле. вдруг вижу — на поле рядочком стоят бомбардировщики, «мессершмитты» (по 13 в каждом ряду). в блиндажах — немцы.
Военный аэродром! От страха подкосились ноги, но я быстро взяла себя в руки.

Красиво уложила волосы, повязала бант. Букет должен был произвести мирное впечатление. Как же, ищу любовника, летчика!
Слегка разболтанной походкой направилась прямо к немцам. Те с недоумением уставились на меня, некоторые пошли навстречу. я начала первой:
— Добрый день! Где мой Фриц? Немцы засмеялись:
— Фриц? Какой Фриц?
— Мой муж, летчик Фриц.
— Муж? Го-го-го!.. — хохотали немцы.
— чо гогочете? — обиделась я. — фриц ушел на аэродром. я пришла к нему на свидание.
Огромный детина с горбатым носом хлопнул себя по груди и со смехом сказал:
— Я Фриц!
— Нет, мой лучше, моложе! Один из офицеров строго отрезал:
— Здесь нет свиданий. Здесь запрещено ходить. Пойдем в штаб, там расскажешь про фрица.
Я небрежно отмахнулась:
— Сам иди. Мне Фриц нужен, а не штаб.
Немцы смеялись. Я дала каждому по цветочку. Одни говорили:
— Приходи завтра. Приведем тебе Фрица. Другие:
— Чем мы хуже? Иди к нам, девушка!
— У меня мама злая, но, если отпустит, приду!
Ушла.
...За одиннадцать часов непрерывной ходьбы осилила километров пятьдесят.
Степь! Широкая, раздольная степь! Куда ни глянь — безлюдье, тишина, покой. Хочется пить, жарко. Болят ноги. Прошла мимо поля цветущих подсолнухов и натолкнулась на свежую могилу рядом с дорогой. Вдали от поселений мог быть похоронен лишь партизан, значит, партизаны где-то здесь, недалеко. На холмике лежали чуть подвядшие цветы. я нарвала полевых цветов и поклялась неизвестному герою, что задание выполню. коснулась рукой еще не высохших комочков земли, устлала могилку цветами и пошла дальше.
Наступал теплый летний вечер, застрекотали кузнечики.
Вошла в новое село.
Во дворе молодая женщина мыла ведра. я попросилась переночевать.
Большие сенцы в том доме. Справа была дверь в кухню, где стояло корыто с кислым молоком. В дверях, с кружками в руках, стояли две девочки, поджидали маму. Только сейчас я разглядела приветливую хозяйку. Она была рыжая, почти что красная, как медный чайник. Она почему-то все время улыбалась, и это насторожило меня. Она налила девочкам парного молока и мне предложила.
— А можно кислого? — попросила я.
Рыжая зачерпнула из корыта полную кружку и протянула мне. Я выпила. Рыжая улыбнулась:
— Еще? Пейте, пейте, молока много.
— Хорошо, — сказала я, мучаясь страшной жаждой. И выпила вторую кружку.
Женщина рассказала о себе. Муж на фронте. Писем нет. Может, и убит. Надоели немцы, но особенно полицаи. Их в селе много.
Развелись как саранча.
Я облизнула пересохшие губы и невольно взглянула на корыто с кислым молоком. Не спрашивая, рыжая набрала третью кружку.
Я выпила.
— Не беременная ли? На кисленькое тянет? Я знаю. Может, по-матросил кто да бросил, а? — рыжая ощупала взглядом мой живот. — Да, такая наша женская доля, — вздохнула она.
Я тоже вздохнула:
— Как вам сказать... Жила с одним немцем, звали его Вилли. Уехал на фронт. Вот и жду. Обещал вернуться...
— Ну да! Вернется, как же. Им верить нельзя. Убийцы! — в сердцах произнесла рыжая. Не соглашаясь с ней, я пожала плечами и замолчала, я верила моему Вилли и буду верить всегда!
Хозяйка постелила мне в большой комнате, рядом со столом, на котором стояла швейная машинка.
Не помню, как уснула. И сколько спала — не помню.
Проснулась среди ночи от ритмичного поскрипывания кровати в другом конце комнаты и любовного шепота. спустя какое-то время страсти улеглись.
Я слышала, как хозяйка спустила ноги с кровати и направилась ко мне проверить, крепко ли сплю. я закрыла глаза, притворяясь спящей. Она постояла немного надо мной, потом вернулась назад.
— Спит. Ее и пушкой не разбудишь, — услышала я. Кровать под нею скрипнула.
— Кто такая? — послышался прокуренный мужской голос.
— Да напросилась какая-то. Молодая, но, видно, шустрая. Издалека топает, а держится так, как будто дорогу перешла. С ног валится, ты знаешь, сколько она кислого молока выпила?
— Ну?

— Литра два, не меньше. Говорит, беременная от немца.
— Точно тебе говорю, партизанка. Вот зараза! Задержи ее подольше.
Дальше они поговорили об облавах на партизан, о засадах. Мужчина был полицай. Уходить ночью — значило выдать себя с головой, поэтому я дождалась утра и, как только хозяйка пошла доить корову, шмыгнула в дверь.
Рыжая вскочила с табуретки:
— Куда ж вы так рано? Я корову подою, позавтракаем. Подождите. Подождите!
— Ой нет! Спасибо. Я через час уже у бабушки буду. Она ведь больная.
Рыжая что-то мне крикнула, но я уже не слышала: кубарем выкатилась со двора.
Пели петухи. Где-то гудели машины, слышались отдаленные орудийные залпы. Побежала на юг, в сторону кукурузного поля. Потом оно кончилось, началось картофельное. остановилась перевести дух.
И вдруг до меня донесся треск мотоциклов и крики полицаев. Не за мной ли погоня?
Ползла, шла, снова ползла, перебегала, согнувшись. Километра два-три бежала на юг. потом повернула на восток, чтобы держать основной курс. Продиралась через заросли колючек, камыша. К середине дня одолела километров тринадцать, но устала неимоверно.
Ноги загрязнились от росы и пыли. Нарвала картофельной ботвы и отерла грязные до колен ноги, туфли. Отряхнула юбку.
В полном изнеможении я добралась до большой дороги и села прямо у обочины, опустив ноги в ров. Мимо меня прошли две празднично одетые старушки, поздравили с праздником Христовой Троицы. Я перекрестилась, но с места не поднялась, не было сил.
Приблизились ко мне две женщины. Одной лет за сорок, другая помоложе. я заметила, как, увидев меня, старшая вздрогнула. Всплеснув руками, она бросилась ко мне:
— Катенька, дорогая! Бабушка так волнуется, а ты сидишь! Иди скорей домой, я скоро вернусь.
Я растерянно захлопала глазами. Катенька? как она угадала имя? Женщина повернулась к попутчице и сказала:
— Это ж племянница моя, Катя! Видишь, как выросла, не узнать. Ну, ты иди, я догоню, только скажу Кате пару слов...
Когда женщина отошла, моя «тетя» зашептала:
— Бедная ты моя. Слушай внимательно. Иди в Краснопавловку. Спроси, где живет тетя Марфа. Меня Марфой зовут. Наша хата напротив колодца, на краю села. Там сейчас бабушка обед готовит и мои дети с нею. смой грязь и отдохни в чуланчике. я скоро буду. я смотрела на нее, ровным счетом ничего не понимая. тетя Марфа объяснила:
— Свои мы, Катя. Свои, дочка. Мы все о тебе знаем, иди скорей домой.
Сказала и побежала догонять свою подругу.
Вот тебе и объяснение. полная загадка. как это возможно, чтобы незнакомая женщина угадала мое имя и то, что я иду к «бабушке»?
На околице села я увидела несколько празднично одетых женщин, которые, щелкая семечки, о чем-то судачили. они прекратили разговоры и уставились на меня.
— Здравствуйте, — сказала я. — Не скажете, где тетя Марфа живет?
— Уж не племянница ли ты ее Катя? Гляди, какая вымахала. сколько ж тебе, восемнадцать, что ли?
— Да, восемнадцать.
— Как мать? Как отец? — допытывались женщины.
— Как? Как все, — вздохнула я и начала придумывать: — Отец на фронте; а мать болеет. Вот иду к тетке, чтоб хоть чем-то помогла.
Нашла нужный двор.
Маленькая, сухонькая старушка бросилась ко мне:
— Мы тебя ждали. иди, дочка, иди в хату.
Ни о чем больше не спрашивая, старушка проводила меня в чулан. Там стояла неубранная постель со множеством подушек. Я прилегла. Что все это значит? Откуда они знают, как меня зовут, почему ждут? Но я недолго мучила себя вопросами и провалилась в сон.
— Эй, соня, вставай! — теребила меня тетя Марфа. — И в кого она у нас такая? вставай, пора капусту поливать!
Я протерла глаза и увидела над собой доброе лицо тёти Марфы, а рядом с ней полицая.
Тетя Марфа обернулась к полицаю:
— Видишь, какая вымахала! Она на брата не похожа, на мать свою похожа. Ладная, красивая.
Полицай ухмыльнулся:
— Вижу, вижу. Никак не очухается, глазами хлопает. Красивая девка.
Марфа взяла коромысло, ведра, и мы пошли по дорожке через огороды. Я — впереди, она — следом.
— Как тебя зовут, девочка? — осторожно спросила она.
— Катя.
— Катя? — Теперь у тети вытянулось лицо. — Правда Катя? Ну и диво! Как же это хорошо, что я тебя племянницей назвала! С раннего утра полицаи на мотоциклах туда-сюда гоняли, искали кого-то. Говорят, какую-то девушку, партизанку. Мама о тебе богу молилась. Я с утра собиралась в гости пойти, да не пошла.

Стала искать тебя, боялась, что убьют. И к лесополосе бегала, и в овражек — спасти хотела. Не нашла, а потом, когда в церковь направилась, — вижу, да ведь вот же она, сидит у дороги, грязная, измученная. Это святая сила прислала тебя к нам, катя. Ты в безопасном месте. Нам не раз приходилось прятать людей. Моего брата и невестку расстреляли, их детей я к себе взяла. Те, что у нас, — это их. Теперь я буду называть имена родственников, а ты запоминай. На случай, если начнут расспрашивать.

Я провела у тети Марфы два дня. Раньше уходить не следовало, могло показаться подозрительным. С утра до вечера помогала ей с хозяйством. Она то и дело покрикивала и поругивала меня за нерасторопность. Мой пропуск на имя Кати Костюченко тетя Марфа зашила в подол платья и протянула мне новый пропуск, на имя учительницы Ольги Павловны Ковбасы.

— Незачем тебе выдавать свое имя. Мы достали тебе этот пропуск, мало ли что.

Добрая, хорошая тетя Марфа! Советская женщина, великая сердцем мать! Знала бы ты, как тяжело мне было уходить от тебя, от твоей заботы и ласки. За два дня ты так обогрела меня, успокоила и поддержала, что это еще долгие месяцы согревало душу.

Колосилась рожь, пели перепела, жаворонки. Но вот послышался близкий грохот орудий.

Как ты обманчива, фронтовая дорога!

На одном из огородов работала женщина. Я подошла к ней, спросила дорогу.

Она объяснила. Потом заговорила о своем:

— Учительница, говорите. Может, поможете? У моей дочки нарыв на ножке. Кричит днем и ночью. Еще помрет... Воды у нас холодненькой попьете.

Я пошла за женщиной следом. Осмотрела девочку. На пятке правой ноги у нее вздулся нарыв величиной с кулак. девочка умоляющими глазками наблюдала за мной и шептала:

— Помогите, тетенька... помогите, тетенька.

Я вспомнила, как моя бабушка накладывала на нарыв жидкую глину. Компресс из глины, особенно из красной, хорошо сбивал температуру и способствовал тому, чтобы нарыв лопнул.

Мы нашли глину, размочили ее в воде, растерли в деревянной миске и приложили к воспаленной ноге девочки. Компресс подействовал, и скоро девочка притихла, как бы прислушиваясь к тем изменениям, которые происходили под слоем глины.

Женщина попросила зайти к ней в комнату.

Я согласилась. На табурете сидела старушка с распущенными седыми волосами. Дочь старушки расчесывала ей волосы, ругая на чем свет стоит:

— Ну, что вылупилась, выдра старая! Чтоб ты сдохла, проклятая! Не дала мне на мельницу сходить.

Мне стало не по себе. Хозяйка объяснила:

— Мать у нее глухонемая.

Дочь продолжала:

— Мне зерно нужно отнести, понимаешь, дура ты кудлатая? Хлопаешь глазами. Не понимаешь? А то, что жрать нам нечего, понимаешь?

Закончив причесывать мать, она высыпала кукурузные зерна в белый мешочек и ушла.

Через пятнадцать минут и мы с хозяйкой вышли.

— Счастливой дороги, Ольга Павловна! — сказала она. — С Богом!

Я вышла на тропу, идущую вдоль пшеничного поля, как вдруг слышу грубый оклик:

— Стой! Стрелять буду! Стой, кому говорят!

За мной бежал полицай, а за ним следом — та, что на мельницу торопилась.

Подбежав ко мне, полицай стал обыскивать.

— Куда пистолет дела? — спросил.

— Пистолет? Какой пистолет? У меня сроду его не было. Женщина, размахивая руками, завопила:

— Зашла, стерва, как хозяйка. Такая она из себя добрая, курва. и девочке помогу, и... ух, растерзала бы живьем! диверсантка она, парашютистка!

Полицай вытряхнул содержимое моего мешочка — два скрюченных засохших блина.

— Куда идешь? К кому?

— В село Протопоповку, к Берлину Харитону. Я золовка его дочери Кати, она замужем в селе Лозовенькое, не знаете?

— Знаю я Берлина, знаю. И его дочь Катю тоже знаю, а вот золовку не знаю. Идем к старосте, разберемся.

Полицай отобрал мой пропуск с гербовой печатью. Подошли к дому с провалившейся крышей. Во дворе стоял танк.

— Камарад! — обратился полицай к немцам. — Проверь-ка пропуск.

и протянул немцам мой пропуск.

— Корош! Корош пропуск! — ответили солдаты.

— Нет, не хорош пропуск, не хорош! — рявкнул полицай. — Это парашютистка, шпионка.

Немцы, притихнув, с удивлением посмотрели на меня.

— Диверсант, пух-пух! — выкрикнул один из немцев и... засмеялся.

Полицай со злостью потянул меня дальше.

У старосты страсти еще больше накалились. тот принялся орать, что мало каши я съела, чтобы провести такого, как он. Подумаешь, пропуск!

— Отправим в Лозовенькое, найдем ту сволочь, что пропуск дала, и тогда посмотрим, кто кого! Кто дал пропуск? Где живет? Кто такой?
— Откуда ж я знаю? Бабуся какая-то... Я у нее водички попросила, а она мне пропуск дала.
— Врешь! — кричал староста.
Отправили в комендатуру. Такие же допросы и там. Комендант волчком вертелся вокруг меня и кричал:
— Расстрелять! Диверсант! Шпион!
Из обрывков разговора я поняла, что ночью недалеко от Вольвенково был сброшен десант и меня приняли за одну из парашютисток, это оборачивалось катастрофой. пришло, пожалуй, время появиться на свет Кате Костюченко. Теперь только она могла бы спасти меня. Катя, легкомысленная, ветреная Катя, настал твой черед!
Отвели в штаб. Там собралось человек девять. Все в офицерских чинах. Сидят за длинным столом. Сбоку примостились уже знакомые
Мне староста и полицай. В стороне стояли несколько женщин и мужчин, наверное, из обслуги. Я начала плакать:
— Я никакая не парашютистка и не шпионка. Я все сейчас расскажу, только не кричите на меня... я... я несчастная женщина.
Наклонившись, я приподняла подол юбки и отпорола зашитый туда документ на имя Екатерины Евдокимовны Костюченко. По мере того как я высвобождала из подола пропуск, у немцев медленно вытягивались лица.
— Вот кто я! — почти торжественно заявила я и положила на стол гербовый листок.
Осмотром нового документа все были удовлетворены. Староста с силой потер кулаком лоб и тоже, казалось, перестроился в отношении меня. Попросил:
— Рассказывай!
— Я иду домой, в село Граково, которое за Северным Донцом. Там живет моя мама и двухлетняя дочь. Я любила Вилли, он уехал на фронт. Вилли очень меня любил, и я очень его любила. Он говорил, что увезет меня в Германию. Я беременна от него.
— Почему оказалась в Кривом Роге?
— Уехала с Вилли. Он меня увез.
— Где взяла пропуск? — вдруг закричал один из офицеров. — Партизаны дали?
— Я не знаю партизан. Пропуск мне выдали солдаты, которые служили с Вилли.
— Врешь, пропуск через солдат не выдается! — снова озверел староста. — Кто ты? Ольга или эта... Екатерина?
— Я Катя Костюченко. Катя.
— Врешь ты все! — крикнул староста.
Меня вывели из комнаты, через десять минут снова вызвали. Староста огласил решение:
— Военная комендатура направляет тебя в отборные немецкие части СС, в село Берестовку. Там тебе развяжут язык, там ты скажешь, кто ты, советская дура!
я расплакалась. это еще больше взбесило старосту. он подбежал ко мне и зловеще, сквозь зубы прошипел:
— Хватит прикидываться, сволочь! Вот когда тебе все кости переберут, вот тогда поплачешь. Скажешь, куда и зачем идешь! А здесь
дурочкой не прикидывайся, не пройдет! Слышишь, не пройдет! Зараза!
во дворе ко мне подошел рослый немец, накинул мне на пояс веревочную петлю, взобрался на лошадь и поехал, потянув меня за собой.
Дорога за селом была ужасной. Глыбы вывороченной танками земли застыли и образовали большущие, грубые валы окаменевшей почвы. идти по глубоким рытвинам и ухабам было тяжело не только мне, но и лошади. она то пускалась вскачь, то останавливалась, я никак не могла приноровиться к ритму движения, часто падала. Всадник кричал на меня. Я потеряла счет ушибам, ссадинам, болели суставы рук, ног. Ныло все тело. Нестерпимо хотелось пить.
Село Берестовка. Дворы напичканы военными машинами, танками, дальнобойными орудиями. Сады, палисадники, дворы — всё обрело военный, угрожающий вид. Всюду люди с бляхами на груди. Отборные карательные части СС.
Меня встретил высокий, атлетически сложенный немец, одетый по-летнему — в трусах, в сапогах и с пистолетом на боку. он подлетел ко мне, как ястреб, и закричал:
— Шпион! Парашютист! Капут! Расстрел!
— воды, дайте немного водички, — взмолилась я.
— Нике воды! Нике воды! Расстрел, капут!
Через некоторое время немцев прибавилось, меня отвели в сарай, где в беспорядке была разбросана гнилая солома. окружили меня.
— Раздевайся!
— Не могу. Стыдно, — заплакала я и задрожала всем телом.
— Не могу? — взвился немец-атлет. — А к фронту идти можешь?!
— Раз-де-вай-ся! — закричали все в один голос. Несмотря на мое сопротивление, сорвали одежду, раздели догола. — Она партизан!

Под кофтой платье, рубаха, костюм. Парашютистка!
Обыскивая, они растрепали мои волосы, залезли грязными руками в рот, заставили приседать, подпрыгивать, наклоняться. и — хохотали, в их зверских действиях я видела похоть. их было семеро — здоровых, остервенелых парней. они швыряли меня на прелую солому, хватали за грудь, за ноги.
Послышался какой-то окрик снаружи, и «обыск» прекратился.
Меня вытолкали из сарая. Шеф в трусах отдал последний на сегодня приказ:
— В баню! На ночь в баню! Утром — расстрелять! Стемнело.
В селе Берестовка бАня была двухэтажная. Когда я подходила к ней, на улицу вывалилось не меньше сотни разгоряченных немецких солдат — за ними из двери клубами вырывался и весь их противный, кислый, скверный дух.
я переступила порог и чуть не упала, поскользнувшись в мыльной луже. За моей спиной загремел замок.
в углу я заметила бочки с водой. вода была отвратительной на вкус, но я с жадностью выпила. Отдышалась и еще выпила и пила до тех пор, пока от прилива тошноты не закружилась голова.
У стены темнела небольшая куча травы. Я потрогала — свежая, пахучая трава. Для чего она здесь? Я покрыла травой лавку и легла на нее. Запах травы напомнил мне о детстве, об отце. Я чувствовала, как постепенно унимается боль.
«Галя, Галочка, крепись! Ты идешь на великое дело во имя жизни, счастья. Будь мужественной и терпеливой. Ты должна снести все муки, иначе провал. ты должна спрятать себя так глубоко, чтобы никому в голову не приходило, кто ты есть на самом деле. ты легкомысленная девица, тебя интересует только любовь, только развлечения. В этом твое спасение, Галочка!»
Пар рассеялся, сделалось очень сыро.
Снаружи клацнул замок, и дверь тихонько отворилась.
— Матка... а? Матка, ты где? — окликнул меня вкрадчивый голос старика.
Прикрыв за собой дверь, немец-старик, видимо охранник, пошарил лучом фонарика по мокрым стенам и полу и приблизился ко мне. Я почувствовала его мягкую — как у моего отца — руку. Старик присел на лавку рядом со мной и стал гладить мои волосы.
— я тебе принес хлеб с мармеладом. Это мой ужин, дочка, возьми. Поешь, родная моя девочка, это отец тебе дает.
Старик говорил негромко, перемежая немецкие и русские слова, но я поняла все.
— Глупая, тебя же убьют. Ты не видела жизни. Да разве можно ее узнать, когда тебе восемнадцать? у меня такая же дочь, как ты. Только волосы у нее длинные, волнистые. Мы не хотим войны. Семья хорошо. Дети хорошо. Работа хорошо. Война нехорошо.
я сидела на скамье и ела ужин немецкого охранника. луч фонарика, стоявшего на полу, бил в деревянный потолок, образуя подобие луны над моей головой. когда я закончила, старик поднялся и, понизив голос, сказал:
— Слушай, дочка. Ночью могут прийти молодые. Поиграться. Кричи, не давайся. Кричи, что заразная, что больная, что у тебя сифилис.
Я вцепилась в старика:
— О, не нужно сюда заходить, отец! Скажите им, что не нужно. Я беременна! Я больна!
— Да разве они послушают меня, дочка? Разве я могу?.. — Вздыхая, старик отстранился, и мне показалось, что он провел рукой по своей военной форме, давая понять, что он в стане врагов.
Когда охранник ушел, я снова улеглась на свою травяную постель. Не успела я задремать, как вдруг слышу: клацнул тяжелый замок. Меня точно током прошибло.
Дверь с треском распахнулась.
Несколько безумных лучей заметались по бане, пока не ударили мне в лицо.
— Фрау! Фрау! — заорало несколько голосов. — Фрау — корош!
Я спрыгнула со скамьи и забилась в угол.
— Что вам нужно? — закричала я. — Что вам нужно?! Я за-разная! Заразная-а-а-а!
— Я-а, я-а! — хохотали немцы. — Заразная — корош фрау!
Все, что произошло дальше, не поддается описанию. Если ад в преисподней — это огонь, то ад на земле — это насилие, когда тебя разрывают на части, сминают в ком, кусают, грызут и обливают мерзостью, я была раздавлена, расплющена, выжата, уничтожена. меня не осталось...
Я потеряла сознание.
Очнулась под утро. Слышу женский голос:
— Посмотри, женщина в бане лежит. Кто это затянул ее туда?
— Немцы. Не знаешь?
— А кто такая?
— Ясное дело, если бросили в баню, значит, наша.
— Мертвая?.. Живая?
— Молодая...
Я открыла глаза. никого. пусто.
— Живая! Она живая!
— Слава Богу, что живая!

Что это? Никого нет, а голоса слышатся так явственно. Совсем близко. Я обвела взглядом помещение и вдруг заметила в потолке большую щель и за нею какое-то движение. Да, конечно, там ведь второй этаж, видно, склад или каморка. К женским голосам примешался мужской, позвал их, и вскоре стихли и движения, и голоса.

Я лежала на мокром цементном полу, понимала, что нужно подняться, но не могла, не было сил. Наконец с трудом оторвала тяжелую, как чугун, голову, но она снова бессильно упала... Жить не хотелось. Незачем было жить. «Повеситься! — промелькнуло в голове. — Да, да! Вон крюк». Я нащупала на полу ремешок от юбки. «Ну, вот и хорошо!» Только бы добраться до крюка. У меня появилась цель, задача, она придала мне сил. Превозмогая боль, я кое-как поднялась на колени, потом, ухватившись за край бочки, подтянула себя, поднялась на ноги. руку обдало прохладной водой. я взглянула на свое отражение в бочке. сосредоточенное, слегка опухшее лицо девушки. «Да ведь она любит жизнь, эта Галя! Она любит все возвышенное, чистое, — звучал внутри мой собственный голос. — кто сказал, что это конец? Разве этого конца ждут от меня мои друзья, Илья, тетя Марфа?»

— Нет, нет, — прошептала я вслух, — я не умру. Я — мать, во мне новая жизнь.

Мне стало немного легче дышать. Я сполоснула лицо. Смыла с тела грязь. Выстирала кофту и белый платочек. Вытерла травой туфли. На мокрую еще кофту накинула жакет, разгладив белый воротничок поверх жакета. Уложила волосы на немецкий манер.

— Если поведут на расстрел, умру с достоинством, гордо!

Когда меня вывели на улицу, немцы во дворе повернулись ко мне и застыли в недоумении. Они, наверное, ожидали увидеть сломленную, замученную женщину. Из бани же вышла причесанная, умытая, полная сил и уверенности в себе девушка.

У штаба СС возле дуплистого дерева стоял пожилой немец. Он держал в руке котелок с завтраком и несколько раз едва заметно кивнул, не то здороваясь, не то подбадривая. Да, конечно, это мой ночной отец. Я улыбнулась ему. И он слегка улыбнулся — мне показалось, с облегчением.

Меня подвели к роскошному автомобилю.

— Ого, какой почет! — сказала я немцам, которые любезно поддерживали меня за локти, сажая на мягкое сиденье. — куда поедем? — поинтересовалась я. — На прогулку?

Один из офицеров уселся рядом со мной и, прижимая к груди объемистый пакет, бросил водителю:

— В штаб армии, к генералу.

— Ну-у? Это за какие же заслуги в штаб армии? И правда, к генералу?

Тронулись. Попутчики молчали. Но я не унималась и без конца о чем-то тараторила. рассказывала о своем Вилли. Пела.

Въехали на огромный холм. Внизу, в долине, живописное село, с рекой посредине.

— Где это мы?

— Петровское, Харьковской... — буркнул шофер.

— А это река Донец? Шофер кивнул.

Удобно раскинувшись на сиденье, я сделала рукой широкий жест — указала немцам на другой берег реки и без нажима, просто сказала:

— если бы не фронт, то через час была бы дома. мой дом во-о-он там, за Донцом. Видите?

Немцы равнодушно посмотрели, куда я показала, промолчали. Мы удалялись от фронта, углублялись в тыл. Вдали показалось селение. Немцы зашевелились, стали оправлять форму. А шофер сказал:

— Грушеваха. Штаб армии. С генералом будешь разговаривать.

— А генерал молодой? — оживилась я. — С ним можно переспать? Он красивый?

Немцы рассмеялись:

— Генерал тебе сделает пух-пух! Смерть!

— Нет, генерал не глупый, он поймет, что я люблю жизнь, я немцев люблю!

— Катя-партизан! Диверсант!

— Нет не партизан! Я люблю моего Вилли!

Генералу было лет пятьдесят пять. Спокойное округлое лицо, небольшого роста, коренастый. На груди кресты и еще какие-то знаки. Лицо строгое, но глаза добродушные.

Кроме генерала, в комнате находился еще один человек. Типично русский: блондин, голубые глаза. Но если русский, почему немецкий офицер?

Генерал за все время ни разу не поднялся из-за стола, офицер же ходил по комнате и задавал вопросы, ответы переводил генералу.

Я отвечала на украинском языке. Я знала, что украинский язык в разговорной речи более прост и, пользуясь некоторыми словечками, оборотами, интонациями, можно добиться того, что тебя примут за малограмотную.

— Я шла домой, в Граково...

— Там же фронт. Убьют! — сказал блондин.

— Чего убьют? Я им ничего не сделала.

— Ты идешь с немецкой стороны. Русские будут допрашивать тебя, спрашивать о расположении немецких войск, складов.

— А я не смотрела, где склады. Мне склады не нужны. И фронт мне не нужен. Я любила Вилли, жду

от него ребенка. Когда он на фронт поехал, я пошла к себе домой, в Граково.
Я видела, что по мере моего рассказа генерал смягчался. Но блондин был суров.
— Ты шпионка! Мы знаем всё! Ты советская разведчица! Из Кривого Рога ты несешь русским сведения о том, где находятся военные объекты наших войск. не прикидывайся дурочкой! мы направим тебя сейчас в Кривой Рог, в гестапо. Там узнают, кто тебя послал и с какой ЦЕЛЬЮ.
Я заплакала:
— Генерал, и вы, господин. Смилуйтесь надо мной. Я ни в чем не виновата. Я люблю немцев, я люблю Вилли, очень люблю. Мне тяжело, я беременна. Не отправляйте!
Блондин подошел ко мне вплотную:
— Признайся, кто послал тебя? Скажи, какое задание получила? Немцы ничего тебе не сделают. Они самые умные и самые справедливые люди на земле. Я русский эмигрант. Я в Германии с 1917 года. Служу при генеральном штабе. И мне, видишь, хорошо. Мне доверяют, хорошо платят.
— Знаю, что немцы добрые, знаю. Я Вилли люблю. Ребеночек от него будет.
— Чем докажешь, что любишь немецких солдат? — заорал эмигрант.
- А чем? Я любила Вилли. Хочу родить ему ребеночка.
— Когда освободим Граково, тогда пойдешь домой. А пока будешь мыть полы, стирать и штопать.
Я плакала и смеялась. Блондин показал на генерала:
— Генерала немецкой освободительной армии обманывать нельзя. Обманешь — расстреляем! Поняла?
— вы, добрый русский человек, подумайте, зачем мне его обманывать? Он такой хороший. У него дочки есть. Он их любит. Я тоже как его дочь. Я никогда не обману его.
Генерал улыбнулся и сказал:
— Тебя берут под защиту немецкие войска за то, что любишь немцев.
— Да, люблю. Я Вилли люблю. Я хочу водички, — попросила я, — я есть хочу.
Покормили, напоили и направили к доктору — на осмотр. Немецкий доктор, надев резиновые перчатки, осмотрел меня. Когда закончил, добродушно сказал:
— Да, да, беременна! Корош, Катя! Любишь немецких солдат! Корош! Немцев нужно любить. Немцы детей любят.
Доктор стал писать что-то на листочке, и лицо у него было такое довольное, точно я подарила ему что-то. Отдал листочек конвойному.
Ознакомившись с заключением врача, генерал решил:
— Мы направляем тебя в жандармерию. будешь там жить и работать в их хозяйстве. Когда освободим твое село, отправим туда.
— Ой, спасибо, большое спасибо.
Уходя, я кланялась генералу до полу — от всей души. Значит, еще повоюем!
В те дни я был величиной с ноготок мизинца, не больше. Не думаю, чтобы мама в то время придавала своему здоровью большое значение. Ее беспокоило другое. Сможет ли она выполнить задание? Сможет ли выдержать нагрузки и испытания? Не подведет ли боевых друзей? Беременность была для нее всего лишь пропуском, гарантией, дающей ей право, согласно легенде, беспрепятственно двигаться к цели.
Сегодня любая женщина, готовящаяся стать матерью, знает, чем чреваты для нее физическое истощение, травмы, длительное переохлаждение или высокая температура. Знала это и моя мать. Как могла не знать! Заботило ли это ее? Нет, нисколько. В то время она была одержима не материнством, а героикой гражданского действия, поступка. Возможно, она и прислушивалась к тем глубинным изменениям, которые происходили в ее организме, но не более, чем сегодня я улавливаю дуновенье ветра в ее рассказе.
Меня доставили на мотоцикле в полевую жандармерию, располагавшуюся в районе бывшего совхоза «Степок». Вдоль дороги — ряд тополей. Несколько больших удлиненных построек. Большие погреба, вместительные сараи — бывшее совхозное хозяйство. Теперь здесь немцы. Полно военных автомобилей, мотоциклов.
Ко мне подошел высокий немец, лет сорока, начальник штаба полевой жандармерии.
— Ты Катя! Я — Отто! — сказал он, окидывая меня придирчивым взглядом. он был в трусах и в сандалиях на босу ногу. — Ты партизан!
я ответила, что всегда отвечала в подобных случаях.
— Я-а, я-а! Все русские шпионы — безобидные люди! — резко оборвал он меня.
Я почувствовала, что с таким лучше не спорить. я хихикнула,
Дав понять, что его юмор мне нравится. Да и сам он, пожалуй.
— Катя скажет о себе все, да? — подмигнул он мне.
— Конечно, конечно, Отто! Допрос длился не больше двух часов.
Когда меня определили на ночлег, была глубокая ночь. Мои соседи по каморке (я знала, что это были добровольные пленные) уже спали. я не могла разглядеть лиц, но слышала густой мужской храп.
На следующий день я уже мыла котелки на кухне и кокетничала с жандармами, проходившими мимо.
Вечером Отто вызвал к себе. Накрыл стол на две персоны: колбаса, сыр, хлеб маленькими ломтиками, яблоки, две бутылки вина, цветы.
Демонстративно положил свой пистолет на окно, рядом со мной. Налил в стаканы вина.

выпил, смотрит на меня. я тоже выпила, съела кусочек сыра. Что дальше? Спеть? Стала петь. Украинские мелодичные песни, отто слушал мое пение, удобно растянувшись на диване. выпил еще стакан вина. Пододвинул мне.

— Пей!

— Нет, Отто! Я беременна, нельзя!

Тогда он бросил мне на стол кипу журналов. Там были карикатуры на Сталина, на советских главнокомандующих, фотографии военнопленных. Я листала журналы, не задерживая внимания ни на чем, кроме фотографий полуголых девиц.

Отто подсел ко мне поближе. Показал на карикатуру Сталина.

— А?

Я поморщилась:

— Сталин — вэк! Не люблю Сталина! Русиш — вэк! Война — вэк!

Он засмеялся и обнял меня. Стал тискать, сжимать мою грудь, пытался завалить на диван. Я отстрАняла его, но нежно, по-девичьи, не как врага, а как парня, мужчину. Улыбалась и говорила:

— Отточко! Не надо... Ну не надо же! Не шути! Я люблю Вилли! Я беременна!

Он указывал на себя пальцем:

— Меня можешь любить?

— Нике! Отто мне отец! Люблю молодого, красивого солдата. Он вдруг отпрянул, вздохнул. Потом достал фото своей жены и двоих детей.

— Какая у тебя красивая жена, Отто! — сказала я. — И дети! Отто хороший отец!

— Я-а, я-а, отец! — сказал он и выпил еще.

Не став меня больше уламывать, Отто вызвал дежурного жандарма, и тот отвел меня спать.

Сегодня мои соседи по ночлежке не спали. Их было четверо. Один сидел, курил.

— Барышня от начальника? — спросил он. — Свиданьице имела?

— Да! Люблю немцев!

— Фронт перешла? Удрала от Советов?

— Нет, любила немца, забеременела от него. И вдруг из темного угла:

— Немецкая подстилка!

Промолчала, как будто не слышала. Что связываться с предателями?

Утром меня разбудил крик:

— Русские свиньи, вставай на работу!

Огляделась. Работники — четверо пожилых и один молодой по имени Петро — вскочили и бегом к жандарму. Стали заискивать, чуть не ноги ему лизать — покурить клянчили. Тот сунул им по папироске.

— На работу! Слышали?

— Счас, счас, дорогой, счас мы, быстренько!

Я сидела на сене, в углу, и смотрела, как они одевались.

— А вы все с фронта сбежали... Сами? — вырвалось у меня.

— А то как! — ответил молодой.

— и сколько ж вам дали за сведенья, что вы немцам предложили?

— Да чо там дали? По пачке папирос, — вздохнул один.

— Да, — вздохнула и я. — Высокая плата за измену.

— Заткнись ты, — крикнул Петро, — дешевка! Немецкая шлюха! Где ты вчера шлялась? С начальником выпивала?

— Да! Выпивала! Спала с ним! Да! В разговор вступил пожилой:

— Эх, не я твой отец. Так отпорол бы, что на всю жизнь перестала бы задом крутить.

Мы уходили на работу — до позднего вечера. Мужчин увозили куда-то, а я и еще несколько наемных женщин трудились на кухне: мыли котелки, обдавали их кипятком. Кормились объедками. Радовались, когда немцы не доедали.

На третий день наблюдать за мной был приставлен молодой жандарм. Он был блондин с голубыми глазами. Худенький, среднего роста. Куда бы я ни пошла, что бы ни делала, он всегда ошибался неподалеку.

После обеда нам приносили огромную кучу рваных носков, мы должны были их штопать. это была сущая пытка — сидеть в духоте и возиться с вонючими носками фашистов. Сидели и штопали, часами не разгибая спины. пожилой охранник то и дело покрикивал на нас, чтоб не отвлекались.

Мой юный шпик стоял в сторонке и наблюдал.

Однажды охранник, подгоняя со штопкой, так стукнул сапожищем по моей ноге, что из-под ногтя у меня брызнула кровь.

Я вскрикнула:

— За что ты ноготь мой раздавил? За что? и заплакала.

Молодой немец подошел к охраннику и сказал:

— Нельзя так... Она больна.

— Больна? — хмыкнул охранник. — Она партизанка!
Молодой немец вернулся ко мне.
— Больно? Палец больно? — спросил он.
— Не так больно, а обидно.
Он был совсем юный, почти мальчик.
— Катя, я Фриц! Я буду твоим другом. Мои камарады делают тебе плохо.
В ответ я улыбнулась, но промолчала. отошла от него за дом, нарвать цветов (для начальника жандармерии). Он — за мной, метрах в двадцати. Остановлюсь — и он останавливается. Хожу себе, напеваю. Отошла от него довольно далеко и — шусть за сарай, жду, когда он прибежит. Не пришел. Выждала минутку и вернулась. Фриц стоял с поникшей головой у стены сарая.
Сделала вид, что обрадовалась ему, взяла его за руку и сказала:
— Фриц! Ты хороший парень. Ты мне нравишься. Ты ждал меня, да? Спасибо.
Он смутился.
— Отто приказал следить за тобой.
— Следить? Зачем?
— Не знаю.
— Вот и хорошо. Будем все время вместе. Я тебя не отпущу. Дни были похожи один на другой. После изнуряющей работы на кухне и противной штопки — сбор полевых цветов для Отто.
Иногда вечером мы выходили с Фрицем в поле, садились под копной. До нас доносились далекие орудийные залпы.
— Русиш бух-бух! Фронт! — показывал он рукой вдаль.
— Зачем ты о фронте, Фриц? Я не люблю о фронте. Я бы хотела полюбить тебя. Ты хороший...
— ты партизан, — мрачнел он.
— Нет, Фриц. Я молодая женщина, я хочу любить. Фриц боялся смотреть мне в глаза.
— Фриц, послушай. Я беременна от Вилли. Достань мне какое-нибудь лекарство. Не хочу быть беременной. Я хочу быть с тобой. я хочу тебя любить.
— Катя к русским уйдет, да?
— Нет, там смерть, а я люблю жизнь. Обняла Фрица. Ласково сказала:
— Не надо больше о войне, ладно? Убивать друг друга могут дикие звери. а мы молодые, нам жить нужно, детей рожать, много-много. Разве Фрицу нравится война?
— Нет. Гитлеру нравится. Отто нравится. А мне нет.
Как-то я призналась моему новому другу, что очень голодна. На следующий же день пожилой жандарм протянул мне кусочек хлеба с маслом и мармеладом.
— Это Фриц дал, — сказал он.
Вечером я поцеловала Фрица. Он зарделся до корней волос. На следующий день — снова от него передача. Так продолжалось несколько дней. Я видела, что Фриц окончательно привязался ко мне. Мы вели разговоры о жизни после войны, о музыке, о прочитанных книгах. Наконец Фриц признался:
— Катя! Я тебя люблю. Ты хорошая. С тобой я забываю, что далеко от мамы, от братьев. У меня три маленьких брата. Я не хочу воевать. Хочу работать. Хочу жену, детей хочу. Катя... ты будешь моей женой?
— Да, Фриц, буду! Но я беременна. Помоги мне сделать аборт. Фриц домогался близости, но я отстрАнялась, делая вид, что мне
трудно совладать с собой, что млею от его ласк.
— Потом, милый, потом...
При всей искренности возникших чувств Фриц тем не менее регулярно докладывал отто, как я себя веду, о чем ведем разговоры.
Кроме Фрица, были еще наблюдатели, но я делала вид, что не обращаю внимания на слежку, обнимала фрица и вела себя, как влюбленная.
По вечерам немцы учили меня танцевать. Я вела себя развязно и весело.
Как-то в обед брала из колодца воду, подошли какие-то женщины с граблями — воды попить. сначала стояли молча, .а потом одна бойкая не выдержала:
— О-от, шлюха, а? С Фрицем гулять заладила, прынцесса! Наши умирают, а ты... Продажная сволочь!
— молчи, перестань, — сказали ее подруги, — А то еще нажалуется. Брось ее, проститутку!
Презрение женщин разрывало душу, хотелось плакать, хотелось все им рассказать. но это был бы конец. в жандармерии работало много наемных женщин. они сгребали и стоговали сено, мазали хаты, занятые фашистами, стирали, — всё это, чтоб не умереть с голоду.
Однажды я сидела и штопала. Женщины облущивали стены и потолок, готовили их к помазке. На лестнице, приставленной к стене,
Маленькая веснушчатая девушка смотрит на меня сверху вниз и по-доброму улыбается. Разговаривать с пленными вольнонаемным не разрешалось, поэтому мы с ней обменялись улыбками, но ни слова друг другу не сказали.
Когда плесневели головки сыра, немцы заставляли сыр обрезать, мы это делали за домом, во дворе. смотрю — веснушчатая девушка

Старается подобраться ко мне поближе, приветливо улыбается. Ее расположение ко мне и радовало, и пугало: не западня ли?
— Катя, не бойся. Ты наша, мы знаем, — шепнула она мне. — Меня Надей зовут.
Дня через три Надя улучила момент — и снова ко мне:
— Мне мой друг, Виктор, сказал, чтобы я подошла к тебе и напрямую спросила: что нужно?
я пожала плечами — не понимаю, мол, о чем толкуешь.
— Виктор — пленный, — продолжала Надя. — Я спасла его, вылечила от ран. Он живет у меня, людям говорим, что муж, но он мне как брат. Жандармы за тобой наблюдают, но и сельские тоже. Виктор сказал, что так уверенно, легко и свободно вести себя в логове фашистов может лишь хорошо подготовленная разведчица. пленные восхищаются тобой. правда, когда ты поёшь для немцев, начинаются споры: кто же ты все-таки? Но почти все за тебя!
Несмотря на то что я чувствовала доверие к Наде, от серьезного разговора увиливала, боясь завалить дело.
— Ну что ж ты молчишь, Катя? Что тебе нужно? Скажи... Молчала. Подошел Фриц. И тут Надя, как будто продолжая разговор, сказала:
— у нас живет бабка, она аборты делает. если бы тебя с фрицем отпустили, она бы тебе помогла...
я на секунду замешкалась, но лишь на секунду.
— А зачем Фрицу к бабке идти? — сказала я. — Мужчине? Спроси у этой бабки, согласится или нет. Я и без фрица аборт сделаю.
Чтобы приучить Фрица к долгим отлучкам, уходила к Наде огороды поливать. Он отпускал меня, а я через два-три часа возвращалась.
Фриц встречал меня под нашей копной.
— Катя! — обнимал он меня. — Моя Катя! Ты — моя! В один из дней я осторожно спросила у Нади:
— Ты думаешь, в три-четыре дня я смогу перейти фронт?
— Фронт? — вскрикнула Надя и бросилась мне на шею. — Виктор был прав! Он сразу сказал, что ты наша! Как только тебя привезли в жандармерию, он сразу же сказал. вот только твоя игра с толку сбиВАЛА. Танцуешь, поешь, к Фрицу на колени садишься. Ночуешь вместе с предателями. Да, остерегайся Петра. Среди пленных он — собака. Выслуживается... Фронт от нас близко, Катя. Я все сделаю, я помогу.
Всю ночь лил проливной дождь.
Я не спала, обдумывая детали предстоящего побега.
4 июля 1943 года, воскресенье. Утро было сырым и холодным. Появился радостный Фриц и сообщил, что сегодня работать не нужно.
— Пойдем смотреть фильм, — сказал он и повел меня в сарай, битком набитый жандармами.
Когда мы вошли, Фрица подняли на смех. Был как раз перерыв между частями. Над Фрицем издевались, выкрикивая непристойные словечки, громко портили воздух. Хохотали.
— Фриц — дурак! Катя — партизан! Пух-пух! Идиот! Фриц готов был провалиться сквозь землю от стыда. он схватил меня за руку и бегом кинулся из сарая.
— Идем! Не хорош камарад! Не хорош! Мне тяжело, я люблю Катю. Катя никс партизан!
— Конечно, Фриц! Катя никс партизан!
Мы сели под копной. Фриц долго не мог успокоиться.
— Катя не хочет война. Фриц не хочет война.
— Да, Фриц, да, мой любимый! он прижался ко мне, целовал руки.
— ты сделаешь аборт, и мы будем вместе. я заберу тебя в Германию.
— Спасибо, Фриц, что веришь... я потрогала траву.
— Уже не так мокро... Мне нужно нарвать цветов.
— Иди. А Фриц спать здесь будет. Ждать Катя.
Я отошла метров на пятьдесят, оглянулась: фриц лежал на копне сена и блаженно улыбался. я помахала ему цветком и пошла дальше.
План действий, который разработали для меня Виктор и Надя, был следующий: Надя переведет меня на другую сторону реки и укроет под копной сена (их там много). ночью я должна буду выбраться на дорогу. Возле села Грушевахи река свернет вправо, а я прямой дорогой — к фронту. Если смогу пройти, это лучший и ближайший участок фронта. Надя особенно беспокоилась, чтоб я была осмотрительной и не вышла на минное поле.
Надя уже ждала меня. Я с букетом цветов, а Надя с сапкой (тяпкой), озираясь по сторонам, шмыгнули к реке. Перешли ее вброд.
На той стороне нашли подходящую копну. Я влезла внутрь, свернулась калачиком. Надя, замаскировав меня снаружи, пожелала удачи и ушла. Лежала очень неудобно, боясь пошевелиться. По мне ползали муравьи, сенная пыль щекотала в носу. Лежала и думала о моей новой подруге. о том, какой она прекрасный и смелый человек. Первая поверила мне, первая и единственная протянула руку помощи. Организовывая мой побег, она рисковала собой, братом, Виктором, которого очень любила.
Мимо копны прошли двое стариков. Говорили о корове, о запасе сена. ушли.
Подъехала телега. Звонкие, молодые голоса. Одну копну подцепили, другую, третью. Подошли к моей. Вижу иглы вил. Остановились, ждут распоряжения.
— Пожалуй, хватит, — раздался мужской голос. — Хватит, хлопцы.

Телега, скрипя колесами, отъехала.
я просидела в копне до позднего вечера. от реки потянуло прохладой. Стали квакать лягушки. Где-то закричал корыстень.
«Пора!» — сказала я себе, но, как только стала выбираться наружу, рухнула как подкошенная: от долгого скованного сидения тело застыло и не слушалось. я растянулась на траве. прибрежные луга, камыши, склоны гор казались зловещими, тяжелыми. неожиданные всплески реки, странные шорохи — всё это подчеркивало тревогу ночи.
Поднялась на ноги. Пока не вышла луна, мне надо было миновать два фронтовых укрепления и подойти вплотную к передовой. фронт был примерно в десяти километрах.
я шла лугами, держа большак слева от себя. то там, то здесь вспыхивали ракеты, по дороге с потушенными фарами проезжали машины, мотоциклы. Доносилась немецкая речь. На возвышенности виднелись силуэты дальнобойных орудий.
Ползла, перебегала, снова ползла. Размокшие туфли натирали ноги. Я их скинула.
Прошла довольно много. Кончились луга, начались поля кукурузы. Через час я уже была у прибрежной долины Донца. Взошла луна, осветила целое море белых ромашек. я слышала далекий говор и лязг лопат на моей стороне реки. я была у цели. передо мной, по Донцу, проходила линия фронта.
Первое, что мне следовало сделать, — это найти между укреплениями промежуток земли, который не был бы заминирован. Лишь в этом случае я могла бы беспрепятственно добраться до воды. Это была очень непростая задача.
Наступало утро. С ромашкового поля я отползла назад — в кукурузу, там было безопасней. Из листьев кукурузы сплела два камуфляжных венка — на пояс и на голову, чтобы под их укрытием наблюдать, что и как. Смахнула в рот несколько росинок, сделала углубление в земле, залегла туда и уснула.
Проснулась от палящего зноя. Солнце стояло в зените.

С места моего наблюдения я видела проволочные заграждения вдоль реки. Но никакой жизни, никаких голосов, никакого движения — мертвое поле.
Дождалась позднего вечера, осторожно выползла из укрытия, чтобы разведать левую сторону. но, сколько ни ползала, ничего утешительного не обнаружила. свободной зоны, по которой бы прохаживались немцы, не было. я видела на возвышенности глубокие траншеи, орудия, пулеметы. но в низине, за колючей проволокой, таилось минное поле, простиравшееся вдоль всего донца.
Короткая летняя ночь торопила меня. Я вернулась в укрытие. Мучила жажда. Я смочила горло каплями росы и уснула. Снова проснулась от жары. Солнце палило нестерпимо. Села, осмотрелась.
И вдруг — щелк! Пуля возле левой ноги ковырнула землю.
И тут же щелкнула вторая! Снайпер бил откуда-то справа! Я откинулась на полметра в сторону. В ту же секунду третья пуля зарылась в землю, где только что сидела. Я отползла еще чуть-чуть и замерла, лежа без движения. Пролежала так не меньше трех часов. От жажды губы потрескались и горло пересохло. Пить... Ужасно хотелось пить. А что, если попробовать мочу? Я пригубила солоновато-кислую жидкость и слегка утолила жажду.
В ту ночь я решила ползти в сторону села — по ночам оттуда слышался приглушенный лай собак. Я проползла вдоль колючего заграждения не менее двух километров, пока наконец не нашла то, что искала. Между укреплениями на небольшом участке ходил по дорожке немецкий патруль. Шел вниз, налево, затем поворачивал направо — и назад. Оборачивался в пятнадцать-двадцать минут. Это и был тот самый незаминированный коридор, который давал мне возможность проскользнуть к реке. По ту сторону реки были наши. Только бы добраться до воды и нырнуть. В реке я чувствовала себя как рыба. Когда-то на Ингульце я могла пронырнуть всю речку (метров двадцать-двадцать пять) на одном дыхании. Северный донец был шире Ингульца, но я была уверена, что справлюсь. Только бы прошмыгнуть мимо патруля.
Я видела, как пришла смена и заступивший на дежурство новый патруль зашагал по тому же маршруту — влево, вниз, направо и обратно. Обходя территорию, немец удалялся достаточно далеко, отсутствуя примерно пятнадцать минут. В этот промежуток времени мне и нужно было успеть. Долго присматривалась к действиям патруля, чтобы уловить ритм. К двум часам ночи, когда я готова была идти, снова появились немцы. потоптались, поговорили о чем-то и разошлись, сменив караул. новый патруль стал вышагивать участок, периодически пуская ракеты. я вылезла из укрытия.
«но что же ты не рассчитала, какую ошибку сделала?» — спрашивала я себя потом.
Патруль вернулся раньше. Ракета взмыла в небо, осветив близкие воды Донца. Оказавшийся рядом куст полыни прикрыл меня своей тенью. Патруль не заметил меня, прошел мимо, едва не зацепив ногой. Я поползла дальше. Но в следующую секунду вторая ракета озарила пространство, и крик — страшный крик — раздался надомной:
— Руки вверх! Встать!
Допросили меня в блиндаже — всего в нескольких метрах от желанной цели. Я не могла поверить, что так глупо попалась! Притворяясь Катей, я, Галина Прокопенко, проливала в немецком блиндаже настоящие, горючие слезы. но офицер, к которому меня привел патруль, не хотел вникать в суть дела, поэтому решил перекинуть меня в штаб СС, который находился в селе Петровское. К утру я уже была там.
Штаб размещался в здании школы.

В школьном коридоре было тихо. Классные двери притворены. Меня усадили на скамью в конце коридора и приказали ждать. От усталости глаза закрылись сами собой. На какое-то мгновение мне показалось, что никакой войны нет. я — учительница, пришла в школу рано — до звонка, учеников еще нет. вот-вот раздастся детский смех, прозвенит звонок, и я войду в класс. о чем будет урок? Дети расселись за партами и с любопытством уставились на меня, ждут.

— Узнаёшь меня, сволочь?! — слышу сквозь сон. — Узнаёшь?! Я тебя расстреляю! Я тебя повешу!

Я открыла глаза и вижу перед собой перекошенную от злобы физиономию немца, показавшуюся мне знакомой. «О, я знаю его! Я его точно знаю!» — говорю я себе. Но спросонок никак не могу понять, Где я, кто он такой и почему кричит на меня.

— Тебе капут! Я тебя повешу! Растерзаю! Узнала?! Узнала? Узнала его, проклятого, Узнала. Это был тот самый начальник штаба СС, который пытал меня когда-то в Берестовке. Как и месяц назад, он предстал передо мной в трусах, в сапогах и с пистолетом на боку.

— это ты развесила обрывки своего белого платка на проволоке? Это ты сделала, шпионка? Что ты передавала советским солдатам?

— Ничего. Я шла домой, в Граково!

— Врешь! Расстреляю! Повешу! Капут! Капут!!!

Допросы были изнуряющими и долгими. Но фашисты не услышали от меня ничего нового. Забеременела от Вилли. Шла домой, к матери. Вот и все.

Бросили в тюрьму села Петровское. В камере было небольшое зарешеченное оконце, через которое проникали звуки двора, свежий воздух. я легла на охапку сена в углу и уснула.

На второй день в камеру втолкнули избитого советского офицера, он со стоном привалился к стене. охранник ушел. офицер заметил меня. Заметил и удивился. Что-то неестественное было в его реакции.

— Девушка, откуда ты? — тихо спросил он. — Ты тоже с разведкой? В первой группе нас было двенадцать... Семерых убили. Начальник тюрьмы сказал, что завтра нас отправят в жандармерию.

Я молчала, сжавшись в комок.

— Так вот, — шепотом сказал он. — Мы можем сбежать. Я тебе дам команду. В кустарнике, за оврагом, нас будут ждать наши люди. А уж как через фронт перебраться, я знаю. Я разведчик, как не знать?

— Да не собираюсь я удирать! — возмутилась я. — Вот скажу немцам, что вы меня бежать уговариваете. Мне в село надо, но оно на той стороне, а там сейчас стреляют, нельзя туда.

— Что ты, девушка, что ты? Ч свой, не бойся, не выдам.

— А чего мне бояться? Немцы обещали, что они меня сами в Граково отвезут. Когда село освободят... Зачем мне бежать?

— Как зачем? Там ведь наши. К нашим.

— Не хочу я никуда. Мне тут хорошо.

Когда провокатора выволакивали на допрос, то обращались с ним грубо, дали пинка под зад.

— За что же, товарищи? — сквозь слезы лепетал он. Выглянула в окошко.

пожилой работник копался в двигателе автомашины. я спросила:

— Что вы делаете, дядя?

— Как что? — сказал работник. — Новую машину из старых частей делаю. Хочешь помочь?

— Я голодная, дядя. У вас нету маленькой крошечки хлеба?

— Охранник отойдет, я подам, — кивнул он. — Подожди чуток. Работник выждал момент и сунул мне в окошко горшочек борща и пять вареников с творогом.

Вечером вызвали на допрос. Провокатор тоже был там. Только лицо у него теперь было чистое, гладкое, без единой царапины. Он сказал, что я во всем ему призналась, что я разведчица, присланная с советской стороны.

— Вот брехун! — крикнула я. — А еще офицер! Узнай получше, откуда я шла. я аборт хотела сделать. меня тут все видели...

— Нет, ты скажи, что мне говорила! Утром перешла фронт — вместе с другими разведчиками!

— Вот пристал! Я домой шла, меня фронт не интересует.

Через несколько дней меня отправили в жандармерию. В тот самый «Степок», из которого я бежала неделю назад.

Отто был в страшном гневе, кричал, что я обманула его, что я партизан, что меня надо пух-пух!

— Послушай, Отто! — оправдывалась я. — Я хотела сделать аборт, я не хотела быть беременной от Вилли. я полюбила фрица. я пошла в село и наелась белены. чтоб выкидыш был. отравилась. Меня так скрутило, что два дня я валялась в кустах без памяти. А потом побоялась назад. Решила: лучше домой, в Граково. Тут ведь рукой подать. но... фронт помешал.

— Катя партизан! Диверсант! Все врешь!

Отто допрашивал меня всю ночь, довел до полного изнеможения, под конец вызвал фрица.

Бледный, осунувшийся, много переживший за эти дни, Фриц посмотрел на меня и сразу отвел глаза в сторону (на глазах были слезы). Мне стало очень жаль его. Я поймала его взгляд и улыбнулась — участливо, с пониманием, как самому близкому другу.

Меня бросили в глубокий подвал. Стены, пол, потолок — все из холодного, просыревшего цемента. ни лежака, ни пучка соломы, ничего — просто голая цементная коробка, гроб. сырость пробирала до костей.

Чтобы согреться, стала ходить по подвалу.
Вдруг слышу голос охранника:
— Эй, ты!
Я задрала голову к потолку, где светилось маленькое окошко.
— Лови!
С неба прилетело полбуханки хлеба, масло и мармелад.
— Поймала?
— Да-да, спасибо! Кто вы?
— Это не я. Это Фриц тебе передал, — ответил охранник. И ушел.
Я прижала кусок хлеба к груди.
— Спасибо, Фриц! Спасибо, любимый! — вырвалось у меня, и слезы сами собой брызнули из глаз.
На следующий день в подвале появилась широкая дощечка.
— От Фрица! — крикнул охранник. — Чтоб не простудилась. Теперь я могла лечь на дощечку, а не на цемент.
Меня определили на работу. Как и раньше, я чистила котелки, обрезала головки сыра, штопала носки. Я видела во дворе Надю, которая бросала на меня издалека выразительные взгляды, но подойти боялась: охранник неотступно следовал по пятам. Поговорить нам удалось лишь на второй день.
— Ты знаешь, Катюша, — шепнула она мне, — ты тут целую революцию произвела. Они и правда думали, что ты аборт делаешь, три дня по бабкам бегали. Фриц был убит, ходил потерянный, кругом смешки, издевки. Те женщины, которые тебя раньше презирали, стали молиться о тебе. А когда увидели тебя вчера изнуренную, измученную — плакали. Привет тебе от Виктора. После тебя многие из Красного Лимана в партизаны ушли, особенно молодые. Ты дала людям понять, что сидеть и ждать нельзя. Твой пример, Катюша, дает нам силы бороться.
Женщины обратились к Отто, чтобы он бросил в подвал сена:
— Катя ребенка ждет, ей нельзя простужаться, Отто отказал женщинам.
Утром мыла котелки. Подошел немец-старик, протянул кусочек хлеба и сказал:
— Быстро съешь, пока Отто не видит.
— От Фрица? — обрадовалась я.
— Нет Фрица! — ответил старик. — Его увезли ночью, когда Катя спала. Катю Фриц любил, привет передавал. Отто отправил Фрица на фронт.
Однажды возвращаюсь в подвал, а в нем полно военнопленных. Появилось и сено. Ребята нагребли мне целую гору, и я легла на нее, как на перину. Засыпая, я слышала, как пленные горячо обсуждали события на фронте. говорили, что скоро пойдет наступление по всему Донцу.
Утром пленных увезли. Вечером привезли новых. Как я узнала, пленных отправляли на передовую,- чтобы они из-под огня вытаскивали раненых и убитых' фашистов. Там пленные и находили свою могилу. Пленных кормили супом из сушеной картошки. Они вылавливали] из супа маленькие горошинки и картофелинки и приносили мне.
Как-то Петро, тот, что выслуживался перед немцами, заметил, что во время обеда пленные уносят хлеб в пилотках.
— Уж не для шлюхи ли? Не давайте ей ничего! Пусть учится жить! Пленные цыкнули на Петра:
— Ты полегче! Не видно по ней, чтобы шлюхой была.
— Да она...
— Можешь не рассказывать, иди, сами разберемся.
В жандармерии было две категории военнопленных: те, что работали там постоянно (Петро в их числе), и временные, которых на следующий день по прибытии отправляли на передовую.
Однажды вечером, после работы, я вернулась в подвал, наполненный группой военнопленных. Я поздоровалась. Вижу, один парень пристально на меня смотрит. Потом подошел.
— Ты... говоришь, тебя Катей зовут? -Да.
— Откуда ты? я сказала.
— А у тебя нет брата Василия?
— Нет.
Вижу, парень волнуется.
— Катя, — сказал он, — ведь ты же моя сестра. Я Василий, твой брат. Разве ты не помнишь Киев, детдом? Мы там вместе были, а когда тебе было восемь лет, тебя куда-то увезли. у тебя что-то с ногами было, очень болели. Помнишь?
Василий смотрел на меня с таким горячим чувством, что я не знала, как возразить.
— Вася, я же не похожа на твою сестру.
— Да что ты! Не похожа... Вылитая мама. Глаза, брови... И высокая, как мама. Все мамино.
— Правда?
— Одно лицо! И возраст совпадает. Я тебя так долго искал, Катя.
Друзья Василия делали мне знаки, чтоб я не спорила, — очень уж парень переживал разлуку с сестрой.
Всю ночь мы с Василием разговаривали. Он заботливо подмащивал сено, поглаживая мои разбитые в кровь ноги.

— Спи, Катенька, отдыхай, — шептал он. — Ты знаешь, завтра я достану тебе свежую газету. Обязательно достану. И хлеба. Я тебе много хлеба принесу. Я постараюсь...
К утру уснули. Василия с пленными увели рано, я и не слышала. в подвале оставались только раненые. один из них сказал мне, что Василий достанет, что обещал: подбирая убитых, пленные находят и хлеб, и конфеты, и советские газеты.
— Василий ужасно переживает плен, — сказал пожилой пленный. — Он смелый и хороший парень. Не спорь с ним, дорогая. Пусть думает, что ты его сестра. Это помогает ему перенести горе. А потом, когда война кончится, объяснишь ему. Потом скажешь правду...
Весь день меня тревожила встреча с Василием.
Поздно вечером я вернулась в подвал. пленных было вполовину меньше, чем вчера. поступили и новенькие. но «брата» среди них не было. я забеспокоилась. поздно ночью в подвал доставили новую группу пленных.
— Есть среди вас Катя? — спросил один.
Я вскочила с места:
— Да! Да!
Пленный подошел ко мне, протянул сверток и сквозь слезы сказал:
— Это передал тебе твой брат Василий. Мы подбирали мертвых немцев, и когда уже собирались уходить...
Пленный прервал рассказ, стараясь справиться с волнением. я стояла как парализованная.
— Василию оторвало ноги. Мы подбежали... Он просил, чтобы мы добили его... он дал нам этот сверток и сказал: «Передайте сестричке Кате — я нашел ее. Я нашел ее. Она в подвале жандармерии». Мы у немцев попросили забрать Василия. Но нас погнали. Он все время звал: «Катя! Катя!..»
Мы развернули сверток.
Там была четвертая часть газеты «Известия» — страница сообщений с фронтов, четыре галеты и два кусочка черствого хлеба.
Я разрыдалась, упав на пол. Пленные обступили меня.
— Катюша, мы отомстим за него! — говорили они. — Сыну своему обязательно расскажи о величии души этого прекрасного юноши.
Сколько бы я ни читал эти строки, они неизменно трогают меня. Есть простота человеческих поступков, которые бьют прямо в сердце. Не знаю, смогли ли отомстить за Василия его друзья (большинство из них погибло), но наказ рассказать сыну о «брате» Василии мама выполнила. Кроме того, после войны она разыскала детдом в Киеве, в котором воспитывался Василий, поехала туда, рассказала детдомовцам о последних днях героя. Ребята сами изготовили мемориальную доску и повесили ее в школе. До последних своих дней мама помнила о Василии, о четвертушке газеты «Известия», четырех галетах и двух кусочках черствого хлеба.
...Однажды в подвале появились двое: раненый танкист и женщина лет сорока пяти. Женщина сказала, что подралась с полицаем из-за своей коровы. Она была зла на полицаев, но со временем зло растеряла и сидела в своем углу, недовольная жизнью вообще.
У Ванюши — так звали раненого танкиста — была глубокая рана
На ноге. Он разорвал свою нижнюю рубаху и попросил меня перевязать его.
— Ты знаешь, Катюша, — говорил он, пока я возилась с раной, — у нас есть «катюши», которые до Берлина достанут, до самого Гитлера. Ни за что им не победить нас! Ванюша показал удостоверение.
— видишь, я сержант. от немцев спрятал. у меня жена есть, двое детей. Мама старенькая. Я их очень люблю. Катюша, напиши жене, что я духом не пал. Меня ведь расстрелять могут... Нет, я не сдамся. Я хочу на Берлин идти, бить их, гадов!
К ночи танкисту стало совсем плохо, поднялась высокая температура.
— Катюша, бежим отсюда. Пойдешь со мной до Берлина? Хорошо?
— Хорошо, Ванюша, хорошо...
Он обратился к женщине, которая подралась из-за коровы:
— Мамаша, дорогая... не подсобите? Нам только бы до окошка дотянуться. а, мамаша?
Женщина пожала плечами.
— Катюша, иди сюда! — позвал меня танкист. — Мамаша поможет до окошка добраться.
— Не собираюсь я никому помогать! — буркнула женщина и демонстративно отвернулась к стене.
Ванюша шепнул мне:
— Не нравится мне эта женщина...
Как только утром меня вывели во двор, на меня набросился разъяренный Отто:
— Ах, так? Значит, бежать собралась? А?! Говори, советская сволочь!
И изо всех сил ударил меня по зубам.
Поодаль стояли немцы, держа на поводках собак. Отто дал команду, и собаки бросились на меня и тут же повалили с ног, вцепляясь в руки, ноги, шею.
— Хватит! — приказал Отто, и собак оттянули. — Теперь поняла, как убегать, а? в следующий раз расстреляю!
Меня отвели на новое место жительства. В противоположном конце двора в небольшой хате размещалась группа «постоянных» военнопленных.
Военнопленные соорудили мне из сена постель. Раны от укусов жгли тело. Не помогали ни примочки, ни

листы подорожника, ноги, руки, все мое тело стало отекать.
На другой день я узнала, что Ваню-танкиста расстреляли. Пленные слышали, как он кричал:
— Прощай, Катюша! Прощай! А «мамашу» отпустили.
Мне сделалось хуже. Ноги покрылись водянками. Болячки лопались и текли. Я едва могла ходить. Тело заскорузло и потеряло гибкость. Работать на кухне стало мучительно.
В нашей тесной, шумной хате появился новый «постоялец»,
Виктор, — тот самый, которого Надя спасла от ран. Мы встретились с ним, как старые знакомые.
— Надя говорит, что ты настоящая артистка. Когда тебе задают вопросы, ты делаешь такое глупое лицо, что невозможно удержаться от смеха. если бы сфотографировать это...
Внимание Виктора было дорого мне. Говорил он обдуманно, складно.
Как-то увидел, что я закурила. Мне было плохо, и кто-то протянул папиросу:
— Потяни, нервы успокоит.
Я затянулась.
— Не надо, Катя, — сказал Виктор. — Это яд. Не привыкай к этой отраве, ребенка погубишь.
...Вскоре нас с Виктором отправили в другую жандармерию, размещавшуюся в бывшем животноводческом совхозе. Новая жандармерия — новые испытания.
Наутро допрос. За дверью веранды я видела Виктора и еще нескольких военнопленных, которые ждали своей очереди.
— Настоящее имя? — спросили меня. — Кто тебя послал? С каким заданием? Кто сообщники?
Я отвечала как всегда. Выслушав мой рассказ, один из жандармов приблизился ко мне вплотную, словно хотел рассмотреть под лупой.
— Еще раз спрашиваю, — зло сказал он. — Имя? Куда шла? с каким заданием? кто дал задание? назови сообщников!
— Катя. Иду домой, в Граково. Любила немца. Беременна. Заданий никто не давал — так забеременела. Моего Вилли я любила одна — сообщников не было.
Жандарм наотмашь ударил меня по лицу. Я не устояла и, ударившись о дверь веранды, упала на лестничную площадку. Меня подхватил Виктор. Я видела, как он побледнел. В следующую секунду Виктор бросился на веранду и с размаху, сильно ударил моего обидчика. Затем вцепился в стол, за которым сидели остальные жандармы, и опрокинул его.
— Сволочи! Убийцы! Убейте ее, но не издевайтесь. Что вы сделали с нею! В «Степке» месяц издевались, мучили. Теперь здесь?! Она уже на человека не похожа.1
Жандармы вскинули пистолеты.
— Не издевайтесь над Катей! — кричал Виктор. — Убийцы!
Он стоял с высоко поднятой головой. У него не было никакого оружия, кроме кулака и ненависти.
Жандармы окружили его и связали ему руки.
Вслед за этим инцидентом нас с Виктором затолкали в машину и направили в гестапо города Барвенково.
На всем пути Виктор держал мои руки в своих и говорил:
— Только бы у тебя хватило сил выдержать... Родишь сына, расскажи ему о нас, юных, неопытных, у которых война отобрала любовь, жизнь...
Виктор! Боевой друг мой! Я никогда не забуду, как смело ты выступил в мою защиту. Мне сказали, что вскоре по прибытии в Барвенково тебя расстреляли. Но так ли это? Может быть, ты жив, Виктор?
Машина остановилась во дворе гестапо. Я едва могла передвигаться на распухших до невероятности ногах.
Как только мы ступили на землю, нас с Виктором растащили в разные стороны: его отвели в общую камеру — налево, меня же, как политическую, поместили в одиночку — направо. И все. Больше я его не видела.

Мне дали кусочек пшенного хлеба и стакан воды. Воду я выпила, а вот с хлебом были мучения — не могла есть. его горький, прелый привкус тотчас вызывал рвоту, вернее, спазмы — рвать было нечем, но голод брал свое, и, пересилив тошноту, я снова бралась за хлеб, отламывала красноватую корочку и, крошку за крошкой, отправляла в рот.
Ночью я проснулась оттого, что в тюремном дворе раздался оклик:
— Такой-то такой (имени я не расслышала), выходи!
В тюрьме поднялся шум. Все заключенные принялись петь и пели
Во весь голос, я догадалась, что кого-то отправляют на расстрел. Я поднялась с топчана, подошла к стене и, солидаризуясь с остальными, которые песней прощались с товарищем, тоже запела. Я слышала, как захлопнулась за приговоренным дверца машины, взревел мотор и машина выкатила со двора.
Допросы проводились по нескольку раз в день и дважды — ночью.
И следователь, и переводчик скоро слились для меня в одно лицо. я как заведенная говорила одно и то же. они так же упорно долбили свое.
Переводчик:
— Стерва! Мы изведем тебя! Живьем в могилу закопаем! Говори, кто ты? Откуда? Где жила до войны?
Я:
— В Харькове.

— Покажи на карте, где твоя улица, где дом?
— я малограмотная... я не знаю, что это вы положили передо мной. я жила на улице ленина, 82.
— Там нет такой улицы!
— Нет? Значит, воевать ушла.
— Не прикидывайся дурой! — закричал следователь.
— Я любила Вилли.
— Хватит молоть одно и то же. Это глупый прием советских шпионов. Отвечай толком. Где работала в Харькове?
— На трикотажной фабрике.
— Что делала?
— Конфеты, печенье.
— Издеваешься, да?
Возвращалась с допросов чуть живая. В камере мне давали кружку воды, которую нужно было выпить сразу, так как кружку тут же забирали. Когда давали хлеб, то воды не давали. Был, правда, один хороший охранник.
- Дочка! — как-то сказал он. — За что ж тебя, такую молоденькую? Что они с тобой делают, что ты такая немощная да измученная?
Сознайся, тебя помилуют и пойдешь себе домой. На кой тебе эта война? Да ты и не разбираешься, что это такое...
Я давно уже заметила, что общую песню в тюрьме заводил один и тот же голос. Спросила охранника:
— А кто это поет?
— Шуть.
— Кто? — не поняла я.
— Шуть. Партизан один. Его расстрелять нужно. Мутит народ. Днем вывели на прогулку. Женщины поддерживали меня, так как я была очень слаба. мимо проходили несколько парней-заключенных. Поравнявшись со мной, кто-то выкрикнул:
— Да здравствует Катюша!
Я оглянулась, но кто из парней крикнул, не поняла: все они мне улыбались. Охранник разъярился:
— Уведите Шутя!
Шуть? Снова Шуть? Кто он такой? Его приветствие прибавило мне бодрости. Обо мне знают, значит, помогут.
Сколько я ни приглядывалась к заключенным, гулявшим по двору тюрьмы, Виктора среди них не было. Сколько ни спрашивала, никто толком ответить не мог, куда его отправили.
Перекрестные допросы сводили с ума.
— Быстро называй соседей.
«Кого называть? Какие фамилии придумать, чтобы не забыть потом?»
— Дед Степан, дед Иван, баба Степаныха, баба Иваныха...
— Что плетешь? Называй близлежащие села,
«Назвать хоть одно село — значит выдать себя, навести на след». Отвечаю:
— Карла Маркса, Сталина, Ленина, XX лет Октября...
— Дура проклятая! Назови, какие улицы знаешь в Харькове?
— Хмельницкого, Д. Бедного, М. Горького, Лермонтова, Пушкина...
— Сволочь! За нос водишь?
Переводчик подбегал ко мне, прижимал к стене и тряс как грушу.
— В какой области жила до войны?
— В Харьковской.
— Какие области ее окружают, знаешь?
— Я знаю так... Харьковскую, Ростовскую, Винницкую, Рязанскую...
— Откуда они тебе известны? Там родственники живут?
— Нет. Я от людей слышала, что есть такие области.
— Дура! — кричал следователь.
— Идиотка! — терял самообладание переводчик. Меня возвращали в камеру.
Еще несколько дней допросов — и наконец:
— Все! Проклятая! — крикнул переводчик, брызжа слюной. — Больше вызывать не будем. Расстреляем! Распишись.
Рано утром раздался лязг замка. Расстрел? Нет. Меня перевели в общую камеру.
В камере сидели две молодые женщины и старушка лет восьмидесяти. Женщины обняли меня. Потом бабушка подозвала к себе. Она была очень избита и не могла подняться. Попросила, чтобы я села рядом и положила голову к ней на колени. Я сделала так. Целуя мою голову, бабушка сказала:
— Благословляю тебя, доченька, на жизнь! Я слышала, что ты беременна. Не горюй, наши люди спасут тебя.
Женщины опустились на колени рядом.
— Сестричка ты наша! — воскликнула одна. — Сколько ж у тебя вшей в голове! Как же ты терпишь-то,

Господи?
А другая заплакала.
— Бабуся, — обратилась она к бабушке, — что делать? У Кати все волосы склеились от мокриц и вшей!
— Бейте вшей. Облегчите ее головоньку... Она, бедняжка, уже и не чувствует, как они поедают ее, пьют ее кровь...
Сказала и вслепую, на ощупь, стала давить вшей в моих волосах.
— Сижу за сына, — сказала бабушка. — Сын ушел к партизанам,
А меня взяли, чтобы сказала, где он... У женщин мужья тоже партизаны.
Со дня на день я ожидала расстрела.
— Когда меня поведут на расстрел, — сказала я женщинам, — заберите мой костюм, а взамен дайте какое-нибудь платье старенькое, на выброс. Мне все равно.
Бабушка крестила меня и говорила:
— Доню (доченька)! Говорю тебе, не волнуйся, ты будешь жить. Не дадут тебе умереть.
Женщины вздыхали:
— Кто ж ее тут спасать-то будет? немцы?
— Наши люди... Они будут спасать мать.
«Добрая старушка, — думала я, — тебе хочется так думать. И мне
хочется верить, что спасут, да только тяжело верить: кругом столькс врагов!»
Я прислушивалась к ночным окликам и шагам, ожидая расстрела. но вызывали других, а не меня.
— На расстрел выводят, как и раньше, — заметила я, — но почему-то никто больше не поет...
— Шутя больше нет, — сказала одна из заключенных. — Я слышала, увезли его. Вот и кончились песни.
Хороший был парень, этот Шуть.
На третий день был обход. В камеру зашли два жандарма, пропуская вперед шефа гестапо и переводчика.
Женщины встали и помогли старушке подняться. Я же была так обессилена, что не могла пошевелиться.
Немец закричал:
— Встать!
Я не двинулась с места.
— Встать!
— Не могу... — ответила я.
— Не можешь?! — заорал немец и, подбежав ко мне, ударил сапогом в бок. — Встать!
Я застонала от боли.
— Не притворяйся! Встать!
И тут я увидела, как полуслепая, избитая старушка, которая сама еле передвигала ноги, выступила вперед.
— А ну-ка, не тронь ее! — сказала она. — Слышишь, не тронь! ты и так извел ее. посмотри на ее ноженьки, изверг проклятый!
Бабушка говорила с такой силой, с таким чувством, что немец попятился.
— Она ждет ребенка! — продолжала старушка. — Она будет матерью! У тебя, изверга, есть мать?
У старушки полились слезы, женщины тоже заплакали. Переводчик вдруг склонился ко мне и спросил:
— Это ты Катя Костюченко? Э
Я кивнула.
— От немца забеременела?
— Да, — ответила.
Переводчик повернулся к шефу и сказал:
— Эта девушка не имеет никакого отношения к фронту и военным событиям. Она глупа для всего этого.
Она полюбила немца и забеременела от него. потом решила сделать аборт, а он ее в гестапо отправил.
Шеф гестапо потер в задумчивости подбородок и направился к двери. Переводчик последовал за ним.
Переводчик был среднего роста, лет тридцати, в серой рубахе с закатанными до локтей рукавами.
У него было спокойное, сосредоточенное лицо.
Когда переводчик ушел, мы долго не могли прийти в себя. Женщины обсуждали его поступок и все время повторяли, что переводчик «наш» человек. я же не понимала, откуда он все знал и почему решил помочь.
Через несколько дней меня отправили на проверку к врачу. Тот осмотрел меня и сказал медсестре:
— Пишите. Четыре месяца беременности. Принимала яд, чтобы освободиться от беременности. сильно воспалены полость рта, придатки и яичники. Нуждается в уходе и режимном питании.
«Как этот доктор узнал о моем «неудавшемся аборте»?» — недоумевала я. Вернулась в гестапо. Мои женщины здорово переволновались, не зная, куда меня увезли.
Когда я все рассказала, бабушка привлекла меня к себе:
— Ты будешь жить, доню. Родишь. Нас не забудь. Зайди в церковь и свечку за бабушку с Гавриловки поставь, помолись обо мне.
Одна женщина принесла граммов сто хлеба:
— Съешь, Катенька. Это женщина из соседней камеры передала, когда на прогулке были. для тебя, катюша.
Во второй половине дня лязгнул замок и меня позвали:
— Костюченко, собираться!

Женщины бросились меня обнимать, говоря:
— Раз вызывают днем, будешь жить... На расстрел вызывают ночью.
— Да спасет тебя Господь!.. — перекрестила меня бабушка.
во дворе меня ожидала открытая легковая машина. возле нее стояли четыре немца с автоматами и знакомый переводчик. мне показалось, что он слегка улыбнулся, увидев меня.
— Костюченко, смертную казнь тебе заменили пожизненным заключением в концлагере.
— Спасибо! — ответила.
И в следующую минуту машина стронулась с места — в направлении лагеря-распределителя. это было в конце августа 1943 года.
Я вполне осознаю сегодня, что в тот день, когда маме отменили смертный приговор, его косвенно отменили и мне.
Меня ссадили с машины.
Передо мной в ряд стояли деревянные бараки, длинные, унылые, обнесенные колючей проволокой. Не прошла я и двух шагов, как ноги подкосились, и я оказалась на земле. от ближнего барака ко мне бросилось двое заключенных. Один из них, светловолосый, был особенно энергичен:
— Я здесь... Катюша, я здесь.
Сказал и подхватил под руку. Его приятель помогал мне подняться с другой стороны.
На ступенях, ведущих в барак, сгрудились заключенные.
— Расступитесь, товарищи, расступитесь! — говорил светловолосый, раздвигая толпу. — Это Катя Костюченко... Видите, до чего ее довели! Осторожней... Сюда, Катюша.
В бараке было душно. Воздух спертый, тяжелый. На полу, на сене вповалку лежали больные, измученные гестаповцами заключенные.
Мне указали на кучку сена, прикрытую листом бумаги.
— Вот, Катюша, — сказал светловолосый, — это мы тебе с Алексеем постель приготовили. Свежего сена положили, бумагу постелили свежую, на ней еще никто не лежал.
Я легла.
От затхлого, насыщенного человеческими испарениями воздуха меня мутило.
— Попей, — сказал светловолосый, протягивая консервную банку. — Это кислое молоко. Тебе, кроме кислого молока, ничего нельзя, ты очень слабенькая.
Когда я немного пришла в себя, светловолосый сказал:
— Не удивляйся, Катя, что мы о тебе знаем. Мне о тебе Виктор рассказал. Помнишь такого? Его вместе с тобой в Барвенково привезли.
— Конечно, помню! Что с ним? — спросила я. — Где он?
— В первую же ночь его от нас забрали. наверное, расстреляли. он только о тебе и рассказывал. как ты жандармов дурачила, как бежала. «Единственное, о чем прошу, — говорил, — Катюшу спасите. Ребенок Кати — наш ребенок, дитя нашей родины...»
Светловолосый замолчал, чувствовалось, что он взволнован. Потом он смочил платок в холодной воде и начал осторожно вытирать мое лицо.
— Вот видишь, — улыбнулся он, — его наказ мы выполнили, вырвали тебя из рук гестапо. Одно время надежду потеряли, думали, что не выйдет, но... Нас не подвели. Да, Катюша, — вдруг спохватился светловолосый, — я все говорю — мы, мы. Это Алексей, мой друг. Алексей, сидевший рядом, улыбнулся.
— А меня зовут Николай. Шуть...
— Ты Шуть? — вырвалось у меня.
— Шуть, — ответил светловолосый.
Заключенные уважали Николая, прислушивались к его мнению, а когда он читал эпиграммы на Гитлера, то даже самые слабые и немощные покатывались со смеху.
— Смех — это хорошо! Смех прибавляет сил! — говорил он.
Иногда он читал свои стихи, написанные в мирное время. Мне они нравились. Мне казалось, что нет войны. И что я с моими друзьями прыгаю в вечернюю, спокойную речку и плыву, плыву. Чудный закат отражается в воде, ива полощет свои ветви...
Алексей положил руку мне на плечо и уснул. А Николай долго не мог уснуть, заботливо поправлял мою постель.
— Как я рад, что удалось тебя спасти... — негромко говорил он. — Там, в гестапо, были наши люди, ты поняла, наверное?
— Переводчик?
— Да-да... спи, Катюша. Я хочу, чтобы ты отдохнула. Я разговариваю с тобой... Просто чтоб ты чувствовала, что я рядом. Закрой глаза и спи...
Я закрыла глаза. Голос Николая, ровный, размеренный, убаюкивал меня:
— Ты будешь жить, Катюша... Будешь жить. Вот увидишь... Вспомни меня тогда
Потом Николай стал читать стихи, и я уснула. Утром Николай и Алексей повели меня умываться.
— Умываться? — не поняла я.
— А как же! — ответил Николай. — И делать зарядку! Дух надо крепить!
для меня уже было приготовлено ведро воды в закутке между бараком и каменной стеной.

Самое трудное было мыть ноги, покрытые болячками.
После «водных процедур» почувствовала себя бодрее.
Через несколько дней во двор лагеря-распределителя въехал черный фургон. Мне и еще двенадцати заключенным велели собираться. Алексей с Николаем тоже были вызваны.
— Хорошо, что едем вместе! — сказал Шуть. — Ты еще такая слабенькая, мало ли что в дороге случиться может.
Поехали. Это была настоящая пытка — трястись в жестком фургоне во мраке, в духоте.
— Алексей, ну-ка, устроим колыбельку. Катюша, клади голову на мои колени. А ноги Алексей подержит.
Улегшись на руки товарищей, я почувствовала облегчение. Дорожные ухабы перестали встряхивать мои внутренности, как раньше. Но дышать было все трудней и трудней.
— Послушайте! — забарабанил Николай по железной перегородке. — Здесь беременная, она сознание теряет. Дайте ей глотнуть воздуху.
Никакого ответа. Машина продолжала путь.
— Эй! — закричал Николай во весь голос. — Умирает человек! Остановите машину!
Отодвинулось маленькое окошко, и охранник заглянул к нам. Увидев, что заключенные поддерживают мое безжизненное тело, охранник дал команду, и машина затормозила.
— Дыши, дыши, Катеринка! — сказал Николай, усаживая меня на зеленую травку рядом с дорогой. — дыши полной грудью!
— Дышать только беременной! — крикнул охранник. — Остальным сидеть в машине!
— Я сейчас! — крикнул Николай и бросился к женщинам, торгующим у дороги.
Не успел охранник опомниться, как Николай уже протягивал мне два недозрелых яблочка.
Снова поехали.
Некоторое время Алексей и Николай говорили о чем-то своем. И вдруг до меня дошло, что Николай дает какие-то наставления другу.
— Разве... разве ты не будешь с нами? — удивилась я.
— Нет, Катюша, — признался Николай. — Меня с вами разлучают. В Краматорске.
— Как же я буду без тебя? — сказала я. — Я не хочу без тебя! я не хочу в сталино.
— Не волнуйся, Катюша, все будет хорошо. Алексей будет с тобой.
Николай целовал мои волосы, лоб, руки:
— Поедешь в Павлодар, к моим. Расскажешь обо мне. Но я не
Умру, нет, я буду жить долго. Я еще напишу о тебе поэму. Ого-го, сколько я еще сотворю!
Комок подступал к горлу, я готова была разрыдаться.
— Краматорск! — крикнул в окошко охранник. Машина остановилась. Открылась дверь:
— Шуть! Выходи!
Николай, как будто не слыша, продолжал гладить и целовать мои волосы.
Немец торопил:
— Быстро! Быстро!
— Иду... — задумчиво сказал Николай, не двигаясь с места. Подошел еще один немец:
— Что такое?! Немедленно выходи!
Николай наконец поднялся, спрыгнул на землю. Когда дверь стали закрывать, он отодвинул рукой охранника и просунул голову в щель:
— Скажи моим, Катюша, что я принял смерть достойно, не склонив головы. Прощайте, товарищи!
Алексей, не забывай о Кате, прошу.
Николая отшвырнули прочь. Загудел двигатель.
Сквозь железные стенки до нас донесся удаляющийся крик нашего друга:
— Бейте немцев! За все наши несчастья и за наши слезы — бейте немцев!
Машина быстро набирала скорость.
Вначале нас разместили в школе, оборудованной под тюрьму, моя камера находилась в классе на втором этаже. Окна были покрыты сеткой из колючей проволоки. В углу стояла параша. На прогулку выводили во двор; специально для этого из колючей проволоки был сделан длинный коридор, как для зверей в цирке.
Нас с Алексеем по прибытии сразу же разлучили, так что я видела его только издали, да и то два или три раза, не больше.
Потом меня перевели в концентрационный лагерь г.Сталино (ныне Донецк).
Там я подружилась с девушкой по имени Аня. Аня Поддужная из ростовской области. Аня была невысокого роста, с черными кудрявыми волосами, тяжелым бюстом и очень тонкой талией. Босая. Обутых я в лагере почти не видела, все босиком.
Мало того, что я была вшива, голодна и измучена, — в лагере меня стала мучить чесотка. Безобидная поначалу, она распространилась у меня по всему телу, образовались глубокие зудящие раны. Аня достала где-то мазь, чтобы подлечить кожу. Она души во мне не чаяла.
Вечерами я пересказывала в бараке романы, которые помнила и любила. «Таис» Анатоля Франса, «Анну Каренину» и «Воскресение» Льва Толстого, «Капитанскую дочку» Пушкина. Женщинам нравилось меня слушать.

— Кать! — спрашивали. — Ты случайно не учительница? Хорошо язык подвешен...
— Нет, — отвечала за меня Аня. — Простая работница с фабрики. Она просто много читала. Муж из библиотеки приносил.
Аня не знала обо мне ровным счетом ничего, разве только то, что я ей открыла вначале. Однако каким-то глубоким женским чутьем она улавливала, что за моим рассказом о неудавшейся любви к немцу кроется что-то другое.
Однажды она шепнула мне:
— Ты их ненавидишь, я знаю... в глазах огонь, с губ готово сорваться проклятие, но ты себя сдерживаешь. Я это вижу.
Женщины стали ходатайствовать перед лагерным начальством, чтобы меня направили на рытье окопов, так как там я могла получать дополнительное питание, молоко и мясо.
— Все, Катя! — однажды сообщили мне женщины. — Завтра поедешь с нами. Мы договорились с шефом. Тебе нужно поддержать себя. ты такая слабая, худенькая. скажи, чем живет твое дитя?
Предложение ездить на окопы привлекло меня тем, что появлялась реальная возможность сбежать.
Начальство дало мне испытательный срок, не зная, справлюсь ли. Работа и в самом деле была очень тяжелая, а по моей слабости и вовсе непосильная.
Несмотря на строгий надзор, женщины оберегали меня от тяжелого труда, боясь, что я надорвусь.
они так обработали полицейского, что он даже стал отпускать меня на огороды. я уходила метров на 20—30, нарывала полные сумки картошки, свеклы, наламывала, сколько могла унести, кукурузы. Женщины были очень довольны. если на окопы приезжала большая комиссия, то меня опускали на дно самой глубокой ямы, снабжали лопатой, а начальнику лагеря указывали:
— Посмотрите, как копает! Слабенькая, но как старается! Не отдыхает совсем!
При таком усердии меня определили на окопы постоянно.
...в лагере становилось неспокойно.
— Русские наступают... — слышалось отовсюду.
Запретили собираться по вечерам и слушать рассказы, разгоняли всех по баракам. там, где мы рыли окопы, была большая заливная долина, а справа неподалеку высился кожевенный завод. иногда меня отпускали варить картошку во дворе завода. но когда конвойные менялись, меня заставляли рыть окопы наравне с другими.
— Бросай землю повыше, хоть одному в пику, — говорили подруги. — Выбирай комья потяжелей и огрей кого-нибудь из комиссии.
Орудийные залпы и налеты советских самолетов участились. в ночь бывало по два-три налета. женщины кричали:
— Хоть одну бомбочку сюда! Попугать идиотов!
Охрана стала бдительней. С трудом удавалось уговорить ее, чтобы отпускали на картошку.
— Пустите Катю! — умоляли женщины. — А то помрем с голоду! Использовав опыт с Фрицем, я приучила охрану к тому, что, как бы далеко ни уходила, всегда возвращалась.
В тот день с утра шел дождь и нас вывезли на окопы позднее. Настроение у всех было унылое. к тому же конвойный предупредил:
— Все, больше никаких огородов! Порядок есть порядок! Раздался гул недовольства. Но конвойный был непреклонен.
— Когда можно было — разрешал! — сказал он. — Я не хочу из-за ВАС ПО ШЕЕ ПОЛУЧИТЬ.
Сказал и вдруг, смягчившись, прибавил:
— Сегодня еще дам, но завтра...
я поняла, что настал час решительных действий.
Женщины снабдили меня двумя мешками, и я пошла. Нарыла полные мешки картошки. неподалеку, во дворе дома, я заметила летнюю мазаную печурку, на которой хозяйка что-то готовила. у меня сразу же созрел план.
Вернулась.
— Послушай, пан, — сказала, — ты хороший человек. Раз уж дал нам картошки набрать, дай и сварить ее. вон женщина готовит, совсем близко. я быстро обернусь, а?
Пан заколебался, но женщины не отступали:
— Сказал «а», так чего там... Отпусти сварить!
— Ладно... сегодня... последний раз, больше не просите.
Когда я подошла к хозяйке, та как раз подбрасывала уголь в печку. Я объяснила, что мне от нее нужно. Она молча налила воды в большой казан, поставила на свободную конфорку и ушла.
Вдруг позади меня послышались шаги. Я обернулась: ко мне торопилась Аня.
— Катя! — сказала она. — Я уговорила, чтоб и меня отпустили. Помочь.
Приход Ани осложнял положение.
— Я знаю, — зашептала она. — Я вижу, что ты собираешься сделать. Я хочу с тобой! Не оставляй меня!
Яне знала, что делать. как быть? Аня вцепилась в меня.
— я с тобой! — сказала она. — уж если убьют, то пусть вместе!
— Хорошо, возьми мешок картошки и иди за угол.

Аня пошла. в это время конвойный помахал нам издалека, чтоб возвращались. Аня жестом дала ему понять, что скоро вернемся. Скрылась за хатой. Я неторопливо пошла следом. А там уже обе припустили бегом. мы должны были уйти как можно дальше, пока «варилась картошка» и за нами не бросились в погоню.
Как ни странно, то, что Аня решила бежать со мной, во многом облегчило положение.
мы старались продвигаться вперед, не заходя в села, чтоб избежать встреч с людьми. Когда же это не удавалось, мы принимались разыгрывать такие ссоры, что приводили встречных в замешательство.
— Вы только посмотрите, какая у меня сестра дура! — кричала Аня. — у нас всю картошку вырыли, а она, сонная тетеря, уши развесила!
— Сама ты тетеря!
— Я тебе дам «тетеря»! — кричала Аня. — я тебе за «тетерю» все волосы повыдергаю!
Иногда обращались с просьбой:
— Вы не могли бы поменять картошку на соль и хлеб? Одна женщина, завидев нас, всплеснула руками:
— Вы-то зачем тут бродите? хотите, чтобы в германию забрали? Немцы отступают и всех на пути подбирают.
На большаке пыль столбом. Днем и ночью дорога была запружена людьми, которых немцы гнали в рабство. по обочинам дорог стояли танки, минометы, пулеметы.
Днем мы отлеживались в кукурузе, питались сырой свеклой, кукурузой. А ночью пробирались к своим, переползая дороги, минуя немецкие укрепления.
Наконец вышли в поле. Справа вздымались большие насыпи. Посреди поля то там, то здесь росли молодые деревья.
Над головой летели снаряды, грохотало справа и слева. Идти я уже не могла, совершенно ослабла. Аня чуть не силой заставляла, уговаривала идти дальше, иначе конец! и мы снова ползли, отлеживались, шли, укрывались в окопах, шли опять...
И вот настало утро. Это утро мне не забыть никогда. солнце поднималось из-за насыпей в голубоватой дымке. я услышала крик:
— Брат! Родненький!
Это Аня крикнула. и бросилась бежать.
Я увидела бойца, накрытого плащ-палаткой. он стоял у дерева. Увидев бегущую к нему Аню, боец от неожиданности крикнул:
— Ложись!
Но Аня бросилась ему на шею:
— Родненький ты мой! Как же мы настрадались! Мы из лагеря убежали, из Сталино.
Нас привели в село, первое за Макеевкой. Кругом были наши танки, машины, полные солдат. На улицах группами стояли женщины и мальчишки и что-то оживленно и радостно рассказывали бойцам.
Нас посадили за стол, налили миску жирного борща. Я потянулась за хлебом, но старый боец остановил меня и сказал:
— Катюша, доченька! Нельзя тебе это. Ты слишком долго голодала, истощена, плохо тебе будет от такой еды. Пойми, ведь не жалко...
Старик отобрал хлеб и отодвинул от меня миску с вкусно пахнувшим борщом. Я заплакала.
Мне дали несколько сухарей.
Проснулась от необъяснимого кошмара. Болела голова. Незнакомые люди хлопотали вокруг меня. Признавала одну Аню.
Первые дни у наших были днями неописуемого душевного потрясения, перелома. Я целыми днями спала. Будили, я ела и снова ложилась спать.
Я видела перед собой бойцов, их приветливые лица и не могла поверить, что все страшные мытарства кончились, что прошло время тяжких испытаний в жандармерии, гестапо, в концлагере. какое-то оцепенение охватило меня, я не могла поверить, что среди своих. Как напуганная улитка, я вся сжалась и никак не могла расслабиться.
Меня не раз спрашивали:
— Ну, рассказывай...
— Я... шла... — начинала я. и замолкала.
— Да, Катюша, ты шла и?..
Я молчала.
— Говори же!
— Я шла... с заданием, — с трудом выдавливала я из себя.
— С заданием?
— Угу...
— С каким, Катюша? С каким заданием? я не отвечала.
— Не хочешь говорить?
Да. Я не могла выдавить из себя ни слова. На меня не сердились. Понимали:
— Это от перенапряжения. От всего того, что ты перенесла. Ну, ничего, оттаешь.
Нас с Аней отправили в Макеевку, в Особый отдел МВД. Там нас допрашивал высокий, слегка сутулый майор. Рядом с ним находилась женщина — старший лейтенант.

Аня сразу рассказала, кто она, где была и что делала.
Я же по-прежнему как в рот воды набрала. какой-то груз давил мое сознание, и я молчала. Я молчала три дня. Майор не торопил, проявлял заботливое внимание. но я никак не могла избавиться от страха, что майор — немец, одетый в советскую форму. Женщина — старший лейтенант сказала:
— Ее нужно в госпиталь.
— Что ты! — засмеялся майор. — Она в норме. Просто она в шоке. это пройдет. я вижу по ней, что ей есть что сказать нам. Катя, смотри, вот мое удостоверение. Мне можно верить.
Майор протянул мне небольшую книжечку. Я внимательно изучила ее, но продолжала молчать.
Однажды майор попросил Аню отнести какие-то документы, мы пошли с ней вместе. как вдруг видим — навстречу идет полицейский из нашего лагеря, переодетый в форму лейтенанта. тот самый злодей, который ко всем придирался и толкнул меня прикладом.
Аня бросилась к нему:
— Стой, сволочь! Стой! Уже успел свою шкуру сменить? Считаешь, что все сойдет?
Переодетый полицейский оторопел.
Аня позвала троих бойцов, и они отвели полицейского в особый отдел.
Майор поблагодарил:
— Молодцы, девчата! Важную птицу разоблачили!
Аня стала рассказывать майору о случае с полицейским, который ударил меня прикладом.
Майор записывал, потом взглянул на меня и сказал:
— О! Да на тебе лица нет! Сейчас же ложись отдыхать. Когда я легла, майор заботливо прикрыл меня шинелью.
— Полицейский под строгим арестом, — сказал он. — Поверь, ни одна сволочь теперь не тронет тебя. Никогда- никогда.
я задремала. и вот — то ли во сне, то ли наяву — зазвучала моя любимая песня.
— Широка страна моя родная... — негромко звучал голос. я очнулась, открыла глаза.
В углу у пианино сидел майор и напевал мою любимую песню.
Именно она разбудила меня, привела в чувство, вернула к реальности.
Я бросилась к майору, обхватила его шею руками, и слезы брызнули из моих глаз.
— Катюша, — удивился майор, — что с тобой, дорогая девочка? Что случилось?
— Скажу... сейчас я все расскажу... кто послал, какое у меня задание... Пишите!
Прошли к столу. Сели.
Я начала с того, что зовут меня не Катя, а Галина. Галина Прокопенко. Затем изложила все, что должна была передать в штаб разведотдела армии и в штаб партизанского движения юга. Майор писал, переспрашивал фамилии тех, которые поручили задание, имена членов штаба криворожского подполья.
А рано утром на легковой армейской машине меня отправили в Златоустовку, в штаб разведотдела при генштабе РККА.
Генерал разведотдела задавал вопросы ровным, спокойным голосом. Терпеливо выслушивал ответы.
Мне поверили сразу же. Некоторые имена, которые я называла, были зарегистрированы в разведотделе 7-й армии. в их числе был и разведчик Андрей Белявский из села Широкое, который служил в разведотделе 7-й армии, а сейчас являлся членом штаба криворожскоГО подполья. Кстати, именно Андрей Белявский разрабатывал мое задание.
Я старалась быть четкой, докладывать вразумительно и кратко. тем не менее наша беседа длилась более двух часов.
Кроме генерала, в кабинете находились еще два майора. Спрашивали, кто послал, какие сведения должна была сообщить, перейдя линию фронта. Передо мной развернули большую топографическую карту Кривого Рога и попросили указать пункты немецких войск, которые были особенно прочно укреплены в городе, отметить, на каких улицах, в каких переулках, на каких линиях находятся укрепления. я сделала все необходимые пометки — прямо на карте.
Когда беседа закончилась, генерал сердечно поблагодарил меня, велел накормить куриным бульоном, тефтелями и непременно дать кислых конфет.
— Чтобы не тошнило в самолете, — сказал он.
В тот же день нас с Аней одели в теплые тужурки, дали армейские шапки, сапоги, посадили в самолет и отправили в Мариуполь, в штаб партизанского движения юга.
— Летали когда-нибудь, девчата? — спросил летчик. — Не будет писка или слез?
Майор, провожавший нас, ответил:
— Эти девчата — героини. они такое перенесли...
У-2 разбежался по улице и быстро оторвался от земли.
По мере того как мы взмывали вверх, мне становилось все хуже и хуже. Меня донимала тошнота, рвота. Генеральские конфеты не помогали. Голова стала разламываться, ныло все тело. А самолет все поднимался и поднимался. Аня прижимала меня к себе, укутывала меня, гладила по голове и плакала:
— Товарищ летчик! Пожалуйста, сделайте что-нибудь... Кате плохо. Кате совсем-совсем плохо. Слышите?
— Держитесь, девчата, скоро прилетим.

мы летели примерно полтора часа. потом самолет дал крен над городом и приземлился на зеленой поляне. к самолету подбежали служители аэродрома, армейцы. меня корчило от рвотных спазм, кружилась голова, болели ноги. мне было очень плохо. я упала на траву. Аня и летчик склонились надо мной, расстегнули ворот. Летчик дал попить воды из фляги. Кто-то дал глотнуть вина.
Постепенно пришла в себя.
Спустя полчаса мы с летчиком и Аней уже шли по широкой улице. Летчик нес пакет, который ему вручил майор.
Прибыли. Большой двор, под деревом длинный, свежеструганый стол, вокруг него скамейки. повариха штаба, статная тетя Нюра, хозяйничала во дворе.
- Голубушки, откуда вы, дорогие? — спросила.
Летчик засмеялся:
— С неба!
И скрылся в доме. Мы присели на скамейку. Вскоре летчик снова появился.
— Отошли, девчата? — сказал он и направился к тете Нюре. —
Они такие трусихи, тетя Нюра. Летим, а они кричат: «Остановись!»
Посреди ночи меня вызвали к майору Пирогову.
— Ночью, так поздно? — спросила я. Не хотелось подниматься с широкой, удобной кровати.
— Ничего, — ответили. — У Пирогова особая проверка. Поднялись по ступенькам в дом, прошли темный коридор, вошли
в комнату. Большая керосиновая лампа под абажуром освещала бумаги, и свернутые карты, в беспорядке лежавшие на столе.
Меня посадили в круг света — напротив майора Пирогова. Вместе с ним в комнате находились еще двое: капитан и старший лейтенант.
— Катя, — сказал майор, — мне доложили, что ты плохо чувствовала себя в самолете. Как сейчас? Тетя Нюра не обижает? Она у нас с огоньком, любит-любит, но и отругать может. Партизаны ее знают и ценят. Как квартира, как ребята?
Весь день, ожидая встречи с Пироговым, я провела с партизанской молодежью — совсем юными девушками и парнями, которые охотно делились рассказами о своем житье-бытье, о своих победах над глупыми фашистами.
— Мне все понравилось! — сказала я. — И ребята хорошие. И тетя Нюра!
— Ну вот и хорошо!
Поговорив о вещах, не относящихся к моему заданию, постепенно перешли к делу. Допрашивал капитан.
— Как называется ваша организация? — спросил он.
— «Родина». Штаб ее располагается в селе Александро-Дар и объединяет семь подпольных групп. мы ведем подготовку к вооруженному восстанию. Как только немцы начнут отступать, люди подполья встретят их на центральных дорогах на Николаев, на Кировоград и на Гейковку. Пулеметы, автоматы, гранаты и винтовки спрятаны во дворе Ивана Алексеевича Моисеенко. Большой склад оружия находится также за прудом в селе Александро-Дар, в овраге. Мы просим у вас десант для поддержки в период отступления немецких войск...
Капитан слушал, а майор, склонив голову, что-то чертил карандашом.
Я указала на карте, где должен был высадиться десант, сказала, к кому следует направляться после приземления.
Я вернулась в комнату, выделенную нам с Аней. долго не могла уснуть. Сердце от счастья рвалось наружу. Пройдя тысячи невзгод, я выполнила задание. сведения переданы по назначению.
Аня спала и вскрикивала во сне. Не успела я глаз сомкнуть, как слышу:
— Катя! В штаб, к майору Пирогову!
Три дня меня вызывали к майору Пирогову и спрашивали одно и то же.
На четвертый день, поздно вечером, пришел капитан. Сел рядом со мной на диван, ласково сжал мою руку и сказал:
— Галя, сегодня ночью десант отправляется в Александро-Дар. что передать товарищам, родным, мужу?
— Я хочу вернуться назад, в Кривой Рог.
— Нет. Не проси. Это совершенно невозможно. Ты беременная, слабая. Да и с парашютом вряд ли справишься.
— Справлюсь. Честное слово! Я хочу домой! Возьмите меня!
— Нет, Галя, нет. Капитан поднялся.
— Десантникам нужно кое-что уточнить, — сказал он. — Пойдем в штаб.
Позже, уже в 1944 году, когда вернулась домой, узнала, что десант, возглавляемый Петром Дремлюгой, успешно соединился с подпольщиками. Вместе они начали активные боевые действия против фашистов. Подпольщики Ястреб Иван, Деньгуб Иван, Корф Григорий и Моисеенко Иван возглавляли боевые звенья, когда началось отступление немецких войск. Основная дорога на Николаев была блокирована партизанами и десантниками. был дан успешный бой. в плен было взято много немцев, захвачены большие трофеи, добыты важные документы,
Героические действия подпольной организации и десантников всколыхнули всю округу. но наступление

наших войск неожиданно приостановилось, и партизаны оказались в капкане. На борьбу с партизанами были привлечены войска из кривого рога и широкого. Самолеты стали бомбить штольни, в которых укрывались партизаны «Родины».
Немецкие войска окружили партизан, но они не сдавались, сражаясь до последнего патрона. Сотни фашистов нашли свою могилу на подступах к штольням.
Несмотря на длительную осаду штолен, группе партизан удалось вырваться из окружения, и они рассеялись по тайным квартирам. однако нашелся предатель, который выдал адреса, где скрывались партизанские руководители.
Семьдесят фашистских солдат сопровождали одиннадцать безоружных подпольщиков — на глазах у родственников и односельчан.
Партизан привели к старым штольням и расстреляли, сбрасывая в глубокий шурф.
— Да здравствует Родина! Смерть немецким оккупантам! За нас отомстят! — выкрикнул перед смертью Иван Беденок (Илья Нилов).
Я находилась в штабе партизанского движения юга до конца октября 1943 года. Затем меня отправили в МВД Днепропетровской области. МВД в свою очередь направило в эвакогруппу Кривого Рога, которая двигалась вслед за наступлением наших войск и находилась в г.Пятихатки.
21 января 1944 года в г.Пятихатки, где стояла линия обороны, под
Грохот ужасных бомбардировок и обстрелов родила сына и дала ему имя — Родина...
Галина Прокопенко, 21 июня 1964 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Мама решила написать воспоминания о переходе через линию фронта по просьбе друзей. Один из них — младший брат Ивана Беденка — был особенно настойчив. Я уже учился во ВГИКе и помню, как мама написала мне, что чувствует недомогание, но что времени на врачей нет.
— Зачем ты вообще за это взялась? — звонил я ей из Москвы. — Одно расстройство.
— Ты ведь знаешь, он Собирает о брате материалы. Ему нужно.
— Ему нужно! А ты пишешь и плачешь... Что за недомогание? Что болит?
— Да не болит. Просто... не знаю, шишка какая-то под грудью.
— Шишка? Ты что, с ума сошла? Сейчас же иди к врачу!
— Да, да, я пойду... Я почти закончила.
— Мама! Немедленно бросай эту писанину. Слышишь?
Когда спустя два месяца я приехал в Днепропетровск, мама все еще дописывала последние страницы. Под грудью у нее за это время вызрела большущая, красная, точно полированная, опухоль. Раковая опухоль. Поставившая последнюю точку на всей ее недолгой жизни.
Смещаются плоскости в переплетении судеб. Если в маминых тетрадях героиней рассказа была она, а ее будущий ребенок существовал лишь как беспокойство, как знак, как предчувствие, то теперь — в моих воспоминаниях — сама она невольно отодвигается на задний план.
И все же при желании можно уловить некую пунктирную линию, прерывистую, как дыхание, и пульсирующую, как кровь; эта пунктирная линия — свидетельство отчаянных попыток матери найти свое женское счастье.
До пяти лет я жил у бабушки, в Скалеватке, в небольшой хате-мазанке. Маму видел очень редко, она учительствовала где-то очень далеко, так как в ближайших селах школ не было.
Первое впечатление детства: я вцепляюсь в кукурузный початок, повисаю на нем всем телом, пока он с хрустом не отваливается.
Как я узнал потом, это было в голодное время. Меня, четырехлетнего, отправляли приворовывать в колхозное поле. Единственного кормильца семьи, дедушку Антона, по наговору соседки посадили за решетку, так что в доме оставалась одна бабушка с детьми и внуком. Воровской технике меня обучила тетя Маруся, которой было тогда одиннадцать лет, она была моим лучшим другом, моей матерью и моим наставником.
Часто вспоминаю, как мы ходили с Марусей за околицу собирать кизяки, которыми бабушка растапливала печку, и при этом распевали нашу любимую песню:
Ах, мама, чаю, чаю, чаю! А после чаю дай воды! Ах, я за миленьким скучаю, Так приведи его сюды!
Изо всех сил я старался перекричать Марусю. И вдруг она смолкла и показала рукой куда-то вдаль. По дороге шла мама. Я бросился навстречу.
— Стой, мама! — кричал я. — Слышишь, стой! Подожди меня!
Всякий раз, вспоминая это, я невольно улыбаюсь: ну и дурачок этот мальчик — зачем останавливать маму, которая идет навстречу? Лишь недавно до меня дошло, почему я кричал «стой». Я хотел, чтобы радость встречи досталась мне первому.
Как-то я нашел на чердаке хаты рассохшуюся деревянную люльку, в которой провел первые месяцы жизни. Потрогал ржавые цепи, которыми люлька крепилась к потолочной балке. Мне стало интересно, кто меня качал, как и чем меня баловали взрослые. По рассказам бабушки, никто особенно мной не занимался.
— Заверну, бывало, хлебную корочку в тряпицу, — рассказывала бабушка, — суну тебе в рот, и пошла в колхоз.

Люлька однажды сорвалась. С той поры на лбу у меня остался небольшой шрам. Люльку после этого случая закинули на чердак, и я обрел свободу ползать по земляному полу.
Когда говорят «сопливое детство», это относится ко мне самым непосредственным образом. Мой нос всегда был грязным, да и все лицо грязное, как картошка. Небольшой огород был для меня миром, полным чудес. Весь день я мог копаться в земле, забавляясь муравьями, божьими коровками, мохнатыми гусеницами. Мне всегда хотелось организовать из насекомых большую, дружную семью. Но божья коровка всегда куда-то улетала, а гусениц одолевали муравьи. Я уговаривал их, рыл для них уютные домики под сенью раскидистых лопухов, но жучки, червячки и стрекозы разбегались, расползались и улетали. Приходилось начинать все сначала.
Проголодавшись, я выдергивал морковку и — грязную — тут же отправлял в рот. Вкус родной земли с тех пор мне хорошо знаком.
Рядом с уборной, которая представляла собой глубокую яму, отгороженную циновкой, росло небольшое абрикосовое дерево, щедро плодоносящее в конце лета. Отмахиваясь от назойливых мух и пчел, облюбовавших это местечко, я усаживался под деревом и лакомился пахучими абрикосами, заглатывая иногда и косточки.
Бабушка тоже подбирала обмякшие плоды, разлепляла их надвое и раскладывала на противне сушить. Когда абрикосы темнели и съеживались, она уносила их на чердак.
Чердак — это еще один мир, завораживавший меня. Старые вещи, опутанные вековой паутиной, напоминали древние захоронения, а в самом дальнем и темном углу чердака наша кошка прятала новорожденных котят. Прятала, потому что бабушка их топила.
Однажды, желая опередить бабушку, я втайне спустил котят на землю. И, сговорившись с моим другом Колькой, согласившимся разместить эвакуированных котят у себя в сарае, я поместил всех пятерых в самодельную детскую коляску с деревянными колесами. Как только бабушка полезла на чердак, я стремглав покатил коляску со двора. Но колеса были такими кривыми, что котят разметало по пути, а один — черненький с белой грудкой — попал под колеса и на моих глазах умер. Я схватил мертвого котенка на руки и, рыдая,
побежал к бабушке, оставив остальных валяться в дорожной пыли.
— Бабушка! Бабушка! — кричал я. — Я его нечаянно переехал!
— Не плачь, — утешала меня бабушка. — Я все равно бы его утопила. Где остальные?
— Нет! Нет! Не дам!
Я отнес оставшихся котят в Колькин сарай, но на следующий день кто-то их оттуда выкрал. Думаю, воды Ингульца — стараниями Колькиной или моей бабушки — унесли котят в рай. У Ингульца был один живописный изгиб, образующий тихую заводь, называемую «раем». Вода там была кристально чистой и отражала голубое небо.
— Как хорошо! — говорила бабушка, любуясь заводью. — Настоящий рай!
Я уверен, что этот рай приютил и моих несчастных котят.
Колька был моим верным другом. Самой большой забавой для нас было волочить друг Друга по пыли. Один садился в жестяное корыто, а другой впрягался, как лошадь, и тянул. От вздымавшейся пыли физиономии делались такими грязными, что к вечеру нас можно было принять за шахтеров-близнецов.
К вечеру...
Тихие, безмятежные сельские вечера... Закрою глаза и вижу, как возвращается с пастбища наша корова Машка. Вот она останавливается у калитки и мычит. Бабушка со вздохом поднимается с дверной приступки и, зажав в руке лозинку, загоняет Машку во двор. Я остаюсь сидеть, созерцая опускающиеся сумерки. Если бы кому-нибудь пришло в голову сделать стереофоническую запись сельского вечера, я бы заплатил за нее большие деньги. Мычанье коров, цикады, щелчки пастушьего кнута, поскрипывание ворот, собачий лай — эта пасторальная идиллия действует на меня лучше всякой валерианы. Но это не всё. Есть еще запахи.
Мои дядья привезли целую арбу свежескошенного сена и раскидали по двору для просушки. Я хожу босыми ногами по мягкому, пахучему ковру. Собрать бы этот травяной дух и загнать в бутылку. А потом, посреди лютой зимы, откупорить!
А запах парного молока? Или выпеченного хлеба? А вкус? Как воссоздать на бумаге похрустывание крепкой хлебной корочки и горячее, слегка влажное дыхание разломленного каравая, только что вынутого из печи?
Но и это не всё.
Есть нечто, забравшееся в подсознание. Это чувство покоя, умиротворения, уверенность, что с тобой ничего не случится.
Все семейство в сборе. Поужинав, дядья (одному девятнадцать, другому двадцать один) выходят во двор — размять кости. Тем временем бабушка и тетя Нюся принимаются готовить во дворе общую постель — раскладывают одеяла, простыни и подушки поверх сена, разморенного за день и бьющего в нос густым, настоенным запахом полевых трав. На правах ребенка я пользуюсь всеми привилегиями и первым забираюсь под одеяло. Постепенно укладываются все: бабушка, две ее дочери и два сына. Я лежу посредине, надежно защищенный с двух сторон взрослыми. Дядья и тети о чем-то беседуют, а я, уставившись в звездное небо, просто лежу.
Бабушка была верующей и часто заводила разговор о Боге.

— Нельзя делать плохое. Господь все видит. Украдешь или обманешь, думаешь, сделал тихонько-тихонько, никто не узнает, ан нет: Богу все известно.
— Бог когда-нибудь спит, бабуль? — спрашиваю.
— Никогда.
— А где он? Почему его не видно?
— Потому что люди слепые.
— А раньше ты говорила, что Бог на небе...
— На небе, на небе, где ж еще?
— Значит, летчики его видят.
— Может, и видят... — уклончиво отвечает бабушка и, зевнув, крестит рот.
— Я хочу быть летчиком.
— Вырастешь — будешь. Спи.
— Я тогда прилечу к тебе и сброшу посылку. А, бабуль? Вот обрадуешься...
Я поворачиваю голову к бабушке, но она уже спит.
Когда мне было полтора года, бабушка впервые отвела меня в ближайшую церковь, километрах в семи от Скалеватки. Имени Родина в святках, естественно, не было, поэтому меня окрестили Георгием.
Бабушка водила меня в церковь регулярно. Дорога была дальняя и занимала не менее двух часов, но мне всегда нравились эти далекие походы. Прямо за нашей хатой, крайней в селе, открывались чудесные холмистые горизонты. Сначала мы шли по большой дороге, затем сворачивали на тропу, зигзагами спускавшуюся к Ингульцу, какое-то время шли вдоль реки, находили мелководье и переходили речку вброд. Потом отдыхали у тихой (райской) заводи, под цветущими кустами паслена. Отдохнув, шли дальше. Бабушка ходила в церковь в своей самой нарядной одежде: в черной юбке, серой кофточке и белом платочке.
По другую сторону Ингульца совсем не райский пейзаж, криворожский. Добыча железной руды велась в Кривом Роге открытым способом, поэтому город существовал как придаток к унылым карьерам, по сторонам которых громоздились отвалы пустой руды. Земля то и дело содрогалась от мощных взрывов.
— Они уже у Ингульца взрывают, — как-то заметила бабушка. — Так и до Скалеватки доберутся.
— А зачем они взрывают, бабуль? — спрашиваю.
— Раздробляют породу. Потом экскаваторы понаедут, самосвалы. Да...
Бабушка вздыхает и останавливается. Я тоже останавливаюсь.
— Иди вперед, — говорит бабушка и слегка приподнимает длинную юбку. — Не смотри на меня.
Я иду дальше, невольно прислушиваясь к слабому звуку струйки, падающей на каменистую тропинку. Бабушка меня нагоняет, просит прибавить шаг. Я знаю: еще немного — и мы на месте.
В пять лет мама увезла меня с собой. Целый год я прожил с нею в каком-то незнакомом, большом и скучном селе, где мама работала учительницей. Однажды вечером мама решила куда-то пойти.
— Я приду поздно, — сказала она. — Съешь яблоко — и спать.
— Я не хочу один! — вскричал я. — Я боюсь!
— Закройся изнутри на крючок. Постучу — откроешь.
— А что, если это будешь не ты?
— Кто ж еще? Злой волк? — засмеялась мама и поцеловала меня. Она не раз рассказывала мне сказку о Красной Шапочке. — Красная Шапочка, сынок, не успела предупредить бабушку. А я тебе дам сигнал.
— Как?
— Дай ножку.
Мама достала бечевку, привязала один конец к моему большому пальцу, другой конец унесла за дверь. Вернулась и сказала:
— Тсс... Я спрятала конец веревки в таком месте, что никто не найдет. Дерну с улицы за палец, знай — это мама.
Наступила ночь, полная страхов.
Фитиль керосиновой лампы обгорел и стал потрескивать и мигать, отбрасывая на неровную стену причудливые тени. Ветер со скрипом раскачивал деревья и стучал в окно сухой веткой, точно ведьма клюкой. На чердаке послышались вкрадчивые шаги. Донесся чей-то слабый стон.
Яблоки хранились под кроватью, прямо на полу. Но мне страшно было даже подумать, чтобы заглянуть туда. Поэтому я перевернулся на живот, осторожно выпростал руку из-под простыни и потянулся за яблоком. И тут произошло нечто странное. Потревоженные яблоки стали медленно выкатываться на середину комнаты. Я обмер. Теперь я знал, где притаился убийца. Он спрятался под моей кроватью. Да, он там. Я слышу его потаенное дыхание.
Один страх сменялся другим, еще более страшным. То был настоящий водопад страхов. Наконец мое бедное воображение притомилось, и я уснул.
Ночью мама дернула за веревочку, я встал, отпер дверь и снова лег. Как ни в чем не бывало. Никаких страхов. Мама о чем-то меня спросила, но я не ответил, не хотелось прерывать сон.
Вскоре я узнал, что мы переезжаем в большой город.
Мне было все равно. Я не знал других городов, кроме Кривого Рога. Мне казалось, что город — это большой карьер, по которому ездят самосвалы. Перед отъездом меня завезли к бабушке, попрощаться.

Бабушка то и дело тискала меня и утирала щеки платочком. Тринадцатилетняя Маруся с серьезным видом взялась просвещать меня.
— Дывысь сюды, дурный хлопче! — сказала она, раскрывая передо мной книжку с картинками. — Оце город. Ба-чишь, скилькы кругом людэй. А цэ -- транвай.
Должен сказать, что в нашей семье все говорили по-украински. Потом, уже перебравшись в Днепропетровск, сначала мама, а потом и я стали понемногу осваивать русский. Конечно, путая и смешивая слова.
Я схватил книжку с картинками и побежал к своему другу Кольке, показать, куда я еду.
— Вот здесь я буду жить! — гордо заявил я. Неважно, что на картинках была Москва, а не Днепропетровск.
— Где-где? — Колька напряг зрение. — Покажи! Я ткнул пальцем в многоэтажный дом на углу.
— Ух ты! — поразился Колька. — А это кто?
Перед «моим» домом, на перекрестке, стоял какой-то военный в белом кителе с палкой в руке и останавливал движение.
— Это? — Я не знал, что сказать. — Это мой... отец.
— Иди ты! — прошептал Колька. — Он же погиб.
— Тута он до войны.
— А-а-а...
Колька был настоящий друг и верил мне безоговорочно.
Потом мы пошли с ним на колхозный баштан, выбрали арбуз с сухим хвостиком, свернули ему голову, спустились с арбузом в овражек и там благополучно съели.
У Кольки был острый нож-финка. Он его метал в каждое попадавшееся на пути дерево. А потом предложил:
— Можно имя вырезать.
— Как?
Он обнял какое-то деревце и стал царапать острием ножа.
Ни он ни я еще не умели читать, но я поверил, что Колька и правда нацарапал свое имя.
Как-то, будучи первоклассником, я приехал на каникулы к бабушке и не преминул последовать примеру друга, вырезав на осинке, растущей у каменной изгороди, свое полное имя: РОДИНА.
Не знаю, как получилось, но культа отца в доме не было. Ни его фотографий, ни писем, ни воспоминаний — ничего. Погиб и погиб. Но как погиб? Геройской ли смертью, от случайной ли пули?
Одно время мне казалось, что я его видел, когда был совсем-совсем маленьким. Я сидел в деревянной коляске, той самой, которая впоследствии переехала моего любимого котенка, а отец зашел в хату с большущей рыбиной в руке. Но когда я спросил у бабушки, было ли такое, она только пожала плечами.
Потом «вспомнилось» еще кое-что: будто я сижу у бабушки на коленях, а напротив меня, за столом, — мать и отец. Перед ними на сковородке лежит жареная рыба.
Образ погибшего отца окутывался тайной.
Как-то мама сказала, что отец погиб вместе с остальными партизанами. Но сказала это мимоходом, вскользь. Когда я стал допытываться, что и как, она перевела разговор на что-то другое.
Со временем интерес к памяти отца выветрился. Нет отца, ну и ладно. Не у меня одного.
Сколько я себя помню, у нас всегда были проблемы с деньгами. В большом же городе недостаток денег чувствовался острее.
В Днепропетровске, куда мы переехали в 1949 году, мама устроилась в городской пионерский лагерь пионервожатой и получала мизерную зарплату. Мы едва сводили концы с концами. Сняли угол у чужих людей. За небольшую сумму нам предоставили убогий ночлег. Не комнату, а кровать в дальнем углу.
— С десяти вечера до семи утра, — предупредили нас. — Не вздумайте приходить раньше. И чтобы после семи вас не было. Понятно?
— Конечно, — согласилась мама. — С десяти вечера до семи утра. Спасибо!
Не зажигая света, мы пробирались между спящими к своей скрипучей кровати, а утром чуть свет убирались вон.
— Мама, — спросил я, — а что, эти люди все время спят? Мама рассмеялась:
— Нет, конечно. Просто мы приходим — они спят, и уходим — они спят. Но днем там кипит жизнь. У них большая семья.
— Я заметил, что большая: на полу, у батареи лежат. У двери двое. За шкафом тоже.
— Да, их девять человек. В одной комнате.
— Девять? Они наши родственники?
— Нет.
— А зачем тогда они нас впустили?
— Пожалели. Да и деньги нужны. Попробуй-ка накормить такую ораву.
К сентябрю 1950 года в районе Нижнего поселка была открыта средняя школа № 34. Трехэтажное, с огромными окнами здание школы было построено пленными немцами и располагалось между автозаводом (так именовали секретный военный завод) и гигантским оврагом. Мама получила в новой школе постоянную работу. Она преподавала украинский язык и литературу, а также была старшей пионервожатой. Это была самая счастливая пора ее жизни. Она любила детей и умела не просто ладить с ними, но и пробуждать их фантазию и энтузиазм. В то время страна гордилась своими героями — папанинцами,

полярными летчиками, полярными станциями. Мама провозгласила лозунг: «Отличникам учебы — Северный полюс!» — и зажгла сердца подростков. Резко поднялась успеваемость, изменилось поведение. Пионерская комната, в которой раньше, кроме горна и барабана, ничего не было, преобразилась в станцию «Северный полюс 34». Даже лед появился — ненастоящий, правда, но очень похожий. Мама договорилась со стекольным заводом, и школе выделили такое количество «голубых льдин», что не только подоконники оледенели, но даже столы и книжные полки.

Я проводил в пионерской комнате, то есть на Северном полюсе, целые дни. Листал книжки о Севере. Разглядывал глобус. Дул в горн и стучал на барабане. Но не учился.

В ноябре 1950 года завуч школы Надежда Гавриловна Кравченко остановила маму в коридоре и спросила:

— Ваш сын знает азбуку?

— Да, и считает до ста.

— Пускай идет в класс.

— Но ведь ему еще нет семи...

— Я разрешаю. Это лучше, чем байдыки бить в пионерской комнате.

— Спасибо, Надежда Гавриловна.

Так в шесть лет я стал учеником первого класса.

Конечно, были небольшие проблемы с именем. Имя Родина звучит, что говорить, но все же немного нелепо. Кто-то из маминых учеников спросил:

— Галина Антоновна, а какое уменьшительное будет от «Ролина»?

— Уменьшительное? — не поняла мама. — Нет у Родины уменьшительного.

— Нет, я про вашего сына.

— Родина... так и будет Родина.

— А когда в футбол играет?

— Ну и что?

— Неудобно кричать: «Родина, Родина! Пасуй мне!» К разговору подключились другие ученики.

— Можно называть его Радик, — предложила одна девочка. — Ему пойдет. Помните, в «Молодой гвардии» был Радик Юркин, помните?

Мама уступила. С тех пор меня стали называть не Родина, а Радик.

И все же маме нравилось имя Родина. В день моего шестнадцатилетия она подарила мне томик Стефана Цвейга с дарственной надписью: «Сыну моему, носящему гордое имя Родина, в день рождения — с любовью».

Счастье мамы длилось недолго. В 1951 году, в двадцать девять лет, у нее нашли туберкулез легких и категорически запретили общение с детьми. Она вынуждена была оставить дневную школу и устроиться в вечернюю, для взрослых. Большего удара, чем этот, она еще не получала. Ее любовь к детям была страстной, всепоглощающей. Но болезнь оказалась сильнее. Никогда больше мама не вернулась в класс. Призвание жизни так и осталось нереализованным. Ученики скучали по ней. Даже спустя тридцать лет, когда я приезжал в Днепропетровск на традиционный сбор, взрослые «дети» вспоминали школьный «Северный полюс» и Галину Антоновну, энергичную, худенькую учительницу, перетряхнувшую всю школу.

Я был примерным учеником, получал пятерки и четверки. Но я не был таким раскованным, как другие. Еще бы, сын учительницы!

— Радик! — одергивали меня. — Ты что это разбегался? Прекрати сейчас же, пока маме не сказали.

Нет, я не боялся наказания. Мама не была со мной строга. Я не хотел видеть ее плачущей. Не знаю почему, но глаза у нее всегда были на мокром месте. Впрочем, сегодня, задним числом, я понимаю, что терзало ее душу. Но тогда меня это раздражало.

Все кругом знали, что мы бедные.

К моему несчастью, бабушка когда-то научила маму кроить домашние тапочки. Так вот, мама достала где-то кусок брезента и вручную сшила мне примитивные, ужасного вида чуни... не знаю, как их еще можно назвать.

Однажды в класс вошла завуч школы Надежда Гавриловна с коробкой в руке и сказала:

— Дети! Как вы знаете, прошло шесть лет, как мы очистили Родину от фашистской нечисти. Страна восстанавливает разрушенные фабрики и заводы, строит новые дома...

Мы, ученики 2 класса «А», слушали Надежду Гавриловну, что называется, вполуха, заинтригованные таинственной коробкой. И вот, после долгой торжественной преамбулы, завуч перешла к разговору о все еще не изжитых трудностях, которые испытывают семьи, потерявшие на войне отцов. Она указала на меня и сказала:

— Среди таких нуждающихся — ваш одноклассник Радик Нахапетов. Отец его погиб, мама тяжело больна, жить им негде, кушать не на что. Вы, наверное, заметили, в какой неудобной и холодной обуви ходит Радик. А ведь зима на носу.

Весь класс стал искать глазами мои ноги. Я подтянул их под сиденье, готовый провалиться сквозь землю от стыда.

— Так вот, — продолжала завуч, — за отличные успехи и поведение в первой четверти администрация школы награждает Радика Нахапетова ботинками. Не стесняйся, Радик, подойди ко мне.

Надежда Гавриловна раскрыла коробку, вынимая оттуда пару черных ботинок.
Мои уши горели огнем. Я не мог тронуться с места.
— Иди же! — еще раз позвала она. Я оставался сидеть.
Надежда Гавриловна подошла ко мне:
— Носи на здоровье и учись хорошо! Передавай привет маме!
Положила ботинки на парту и ушла.
Неожиданно у меня появился второй папа. Куда бы мы ни шли — в кино ли, в парк или в столовую, нас сопровождал какой-то дядя, которого мама называла Петр Степанович. Он был учителем математики, всегда ходил с непокрытой головой и хромал на левую ногу. И еще у него были голубые глаза.
Вначале он показался мне злым, но мама объяснила, что Петр Степанович в детстве перенес много насмешек из-за своей хромоты, но добрее человека, чем он, мама еще не знала. Может быть, к маме он и был добр, но мне никогда не улыбался.
На какое-то время, с помощью Петра Степановича, мы стали жить получше: ночную коечку в чужом углу сменили на крохотный сарай. Это было уже что-то! Мы не знали, правда, как будем зимовать в этом сарае, но зато у сарая была настоящая дверь, и она запиралась.
Новый папа то и дело поучал меня. Я прятался за мамину юбку и смотрел букой. Но постепенно привык к его замечаниям и даже старался их выполнять. Возможно, Петр Степанович намеревался сделать из меня настоящего мужчину. Я помню, что он давал мне глотнуть пива, когда пил сам. Как бы там ни было, спустя год я стал называть Петра Степановича папой.
Туберкулез легких подтачивал здоровье мамы, она еще больше похудела и стала похожа на скелет. Теперь ей не разрешали преподавать даже в вечерней школе, боясь, что туберкулезная палочка может остаться на кусочке мела, или на тетрадке, или в воздухе. Между тем мало кого беспокоило здоровье сына, который постоянно находился рядом с больной женщиной.
И вот маму отвезли в больницу. Она оставалась там долго, нескончаемо долго. Петр Степанович куда-то уехал, и я остался в сарае один.
Появилась завуч школы.
— Радик, — сказала в Надежда Гавриловна. — Твоя мама очень больна. Очень больна, понимаешь?
Я кивнул.
— Ты предоставлен самому себе. Школу это беспокоит, понимаешь?
Я снова кивнул.
— Нам ничего не остается, как отправить тебя в детский дом. Ненадолго. До тех пор, пока мама не поправится'
Мне было все равно. Я уже привык к тому, что мама не встает с кровати и мне из-за этого самому надо стирать трусы и рубашку.
— Надежда Гавриловна, — сказал я. — Мама умрет. Я слышал, одна бабушка сказала, что мама умрет, потому что у нее кожа стала серая, как земля.
— Это не так! — сказала Надежда Гавриловна. — Мама непременно поправится. Ты должен... должен верить в это.
— Угу.
Мне хотелось попасть в детский дом, в новую атмосферу. Мне надоело проводить дни в больнице, где я обязан был декламировать стихи, развлекая больных. Раз детский дом «детский», значит, там хорошо!
Впоследствии я узнал, что в дополнение к туберкулезу у мамы тогда была и внематочная беременность. Новый папа хотел ребенка. Но куда Петр Степанович уехал и почему — оставалось тайной. Может, он обиделся на маму? Может, разлюбил? Не знаю. Да это меня и не заботило. Даже лучше, что его нет: меньше придирок.
Шел 1953 год.
В 1971 году, студентом режиссерского факультета, я снял свой первый короткометражный фильм. Он назывался «Помнишь?». В нем рассказывалась история мальчика, только что принятого в детский дом и проведшего там свою первую ночь. Незабываемую ночь.
Меня определили в детский дом, расположенный в центре Новомосковска, недалеко от реки Самары (приток Днепра). Когда-то до войны мама училась там в педагогическом училище.
Была зима.
В Новомосковск, находившийся в пяти часах езды от Днепропетровска, меня доставил незнакомый мне человек, чей-то родитель. Сдал с рук на руки и удалился.
Ночная дежурная, снабдив меня кальсонами и маечкой, проводила в палату и показала кровать. Дети, а их в палате было около тридцати, притворились спящими, но, как только дежурная ушла, закидали меня подушками и, вырвав из рук фибровый чемоданчик, вытряхнули содержимое наружу.
Я не знал, что делать.
Когда дети немного поостыли, я подобрал с пола свой скарб и лег с ним в кровать.
Проснулся оттого, что горели ноги. Самым натуральным образом горели: между пальцами торчали горящие клочки бумаги, и я, стараясь сбить огонь, «крутил велосипед», доставляя окружающим несказанную радость.
Но этого было мало. Разгулявшись, мальчишки стали задирать кверху зады и, поднося к ним горящие

спички, звучно пердеть. В разных концах палаты вспыхивали живые факелы. Хохот стоял невообразимый. Особо выделялся конопатый мальчишка лет тринадцати, видимо, лидер группы. Его факел был как настоящий огнемет. Когда стрельба поутихла, лидер подбежал ко мне, выдернул из-под подушки мои новенькие кальсоны и крикнул:
— Я возьму твои, а ты — мои...
— ...его — обоссанные, — уточнил кто-то. Лидер тут же съездил ему по шее.
— Я тебя за «обоссанные» самого обоссу, хочешь?
— Иди ты!
Я сказал конопатому лидеру:
— Бери кальсоны. Я вообще их не ошу.
— Молоток! Правильно делаешь! — одобрительно отозвался мальчик. — А носки у тебя какие?
— А?
— Носки какие, говорю, — теплые, толстые?
— Да. Мне их тетечка выдала.
— Зер гуд! Гони!
— Хорошо, ладно...
Утром, когда собирался в школу, я обнаружил еще и потерю рукавичек. Словом, оказался налегке в самый разгар зимы. Даже в школе, которая отапливалась, меня колотило от холода.
Я застудил почки.
В духовом оркестре мне поручили играть на альте. Играть надо было всего одну вещь: «Похоронный марш». Больше мы ничего не умели. После похорон бедным сироткам, то есть нам, давали печенья и конфет. Между тем участвовать в медленной и долгой процессии было для меня настоящим испытанием, так как я очень боялся описаться.
В детском доме я научился многому — курить, драться и воровать.
Воровали мы так. Зайдя в булочную-кондитерскую, один из нас принимался отвлекать продавца:
— Нет, не ту булку... нет, левее, нет, ниже...
А другой тем временем выгребал из-под весов все, что там скопилось: конфеты, сушки, печенье.
Мы были дети, а потому с жадностью набрасывались на добычу прямо у двери магазина. Некоторые продавцы покрикивали на нас, другие делали вид, что не видят. А одна женщина—с дрожащим подбородком — сама наложила нам в кулек сладких обломков и сказала:
— Вы за все уже заплатили, ребятки. Ступайте. Ей было нас жалко.
Курили мы вовсю. «Бычки» подбирали в парке, у мужского туалета. Прохожий, зайдя в невысокую кабинку, снимал штаны, садился на корточки и принимался просматривать газету. А мы терпеливо ждали. Затем он выплевывал окурок и, подтершись газетой, шествовал дальше. Мы же, как воробьи на крошки, набрасывались на прикусанный окурок, чтобы высосать из него остатки дыма.
Я не думал о маме. Предпочитал не думать. Я отбрасывал мысли о ней, считая, что это делает меня маменькиным сынком, размазней и соплей. Я жалел лишь о том, что у меня нет шрама на лице и ловко подвешенного языка. Чтобы добиться признания, стал заучивать отборную матерщину и буквально заставлял себя бросаться в драку, со временем освоив такой жестокий прием, как битье коленом в сопатку. У меня появился петушиный азарт, и синяки украсили тело. Кроме того, я еще мог плевать дальше других и часами отбивать ляндрочку (подбрасывать ногой небольшую свинцовую пуговичку с мехом).
В июле неожиданно приехала мама.
Я вывернулся из ее объятий и убежал за кочегарку, чтобы ребята не видели.
— Сыночек, — сказала мама, — ты не рад, что я приехала? Я промолчал.
Мама стала приглаживать мои растрепавшиеся волосы.
— Ты рад, сыночек, я знаю, ты рад, — говорила она. — Просто ты отвык от меня. Восемь месяцев — это большой срок.
Я никак не мог взять в толк, почему мама не умерла. Ведь у нее уже было серое, как земля, лицо? И все кругом говорили, что мама умрет, и жалели меня. Наверное, и Петр Степанович убежал, потому что побоялся увидеть маму мертвой. А она взяла и не умерла.
— Мне лучше, — сказала мама. — Мне посоветовали пить алоэ с медом. И врачи такие хорошие!
Потом мама стала вспоминать, как я декламировал поэму Тараса Шевченко «Наймычка» и как все в палате плакали, слушая меня.
— Сказали, что ты настоящий артист!
Я знал «Наймычку» наизусть, на украинском языке. Мне самому нравилась грустная история о бедной матери, подкинувшей младенца чужим людям. Но сейчас это было от меня так далеко!
— Я тебя скоро заберу, — вздохнув, сказала мама. — Ты знаешь, Надежда Гавриловна ходатайствует перед автозаводом, чтобы нам выделили комнату. Представляешь, сыночек, какое счастье, если у нас будет своя комната?!
Внутри меня что-то дрогнуло. «Своя комната! Своя комната! — забилось сердце. — Да, я хочу жить в своей-своей комнате!»
Мама забрала меня из новомосковского детского дома в конце 1954 года.
У нас появился постоянный адрес.

В квартире жила еще одна семья — общий коридор, общая кухня и общая туалетная комната.
К моему приезду мама постаралась создать в нашем тесном уголке уют. Посреди квадратной комнаты (3 х 3) красовался большой деревянный вазон с цветком, который назывался почему-то розой (этот цветок украшал нашу комнату десять лет и ни разу ничем не оправдал своего названия). Слева от окна стоял хромоногий стол, покрытый чистым листом ватмана. Справа, вплотную к столу, примыкал каркас кровати, лишенной пружинной сетки. В ближнем углу на полу горой были сложены книги — мамина любовь и гордость (несмотря на нужду, мама собирала библиотеку). Чтобы мухи не загадили книги, мама прикрыла их чистой, отсиненной марлей. На окне висели такие же иссиня-чистые занавески.
Я был рад своей комнате, но... но где же вторая кровать?
— Где я буду спать? — спросил я.
— Здесь, со мной, — просто ответила мама. — Головами в разные стороны. Валетом.
Я надулся.
— Это пока, сына. С первой же зарплаты мы купим тебе
кушетку. Хорошо?
— Ладно, — буркнул я и, подойдя к кровати, присел на краешек. Одеяло соскользнуло на пол и открыло уникальную самодельную конструкцию, заменявшую панцирную сетку. Недостающие пружины в ней были заменены туго скрученными шелковыми чулками.
— Представляешь, выбросили такую кровать на металлолом! — радовалась мама. — Ребята принесли. Ничего, что пружин нет. Я достала старые чулки, натянула, перетянула, чтобы дыр в кровати не было. Не провалимся.
Сказав это, мама, из баловства, с силой откинулась на кровать.
— Видишь? — засмеялась она. — Хоть бы что!
Я засмеялся тоже и тоже прыгнул на кровать, рядом с ней. Мама вдруг обняла меня и сказала:
— Все теперь будет хорошо!
Мне показалось, что на глазах у нее блеснули слезы.
— Тебя взяли в 34-ю? — спросил я.
— Нет, в школу мне пока нельзя. Но я устроилась воспитателем в рабочее общежитие, на 85 рублей в месяц. Это больше, чем я получала там!
Вдруг с улицы на наш подоконник влезла серая кошка.
— Кто это?
— Это наша Мурка! — сказала мама. — Умная. Погуляла и вернулась.
Мама открыла форточку и впустила Мурку. Ласковую, пушистую Мурку!
Началась новая жизнь.
Днем я ходил в школу, а вечером, предоставленный самому себе, делал что заблагорассудится. Мама до поздней ночи пропадала в своем общежитии, и мне это здорово подходило. Следуя примеру Мурки, я стал гулякой и возвращался домой лишь для того, чтобы перекусить или отлить. Ну не лафа ли?
Мама не знала, что со мной делать.
«Дорогая Надежда Гавриловна! — писала она завучу школы (я нашел это письмо много лет спустя). — Обращаюсь к Вам не только как к давнему другу и замечательному педагогу. Я обращаюсь к Вам как к матери. Я не знаю, как быть с моим Радиком. Он стал очень дерзким и непослушным. Уроки делает из-под палки и без конца рвется на улицу. Я видела его в дурной компании и опасаюсь, как бы он окончательно не сбился с пути. Стыдно признаться, но Радик научился плохим словам и совсем забыл хорошие...»
Читая этот материнский вопль, я пытался вспомнить, что я такого натворил. В сравнении с детским домом — Ничего. Не дрался, не воровал, не матерился (хотя, может, у меня нечаянно и вырывались словечки). Но раз мама била тревогу, значит, было что-то, что угрожало моему будущему.
— Ты помнишь Дмитрия Филипповича? — как-то спросила
она.
— Нет.
— Ну как же? Высокий такой, худой, похож на Жерара Филипа? Мы одно время жили в их сарайчике? Неужели не помнишь?
— Сказал не помню, значит, не помню!
— Он артист театра Шевченко.
— Ну и что?
— Он пригласил нас на спектакль.
— На спектакль? — недовольно поморщился я.
Мне не хотелось чинно сидеть в зале в то время, как мои друзья, вцепившись в трос, будут весело взлетать над оврагом. Там была настоящая жизнь, а театр — это какая-то глупость и выдумка.
Я увильнул от спектакля, сославшись на то, что задали много уроков.
Спустя какое-то время мама стала незаметно подкидывать мне книги о море, о дальних странах. О парусах и морских сражениях. Это был разумный педагогический прием. Я стал зачитываться Станюковичем и Джеком Лондоном. Увлекшись морем, но находясь вдали от него, я записался в судостроительный кружок. Через год, на областных соревнованиях по I моделированию, выиграл почетное 2-е место. Мама повеселела. Улица перестала ее пугать, так как все свободное время я теперь только и делал, что клеил яхты и эсминцы.

Мечты так увлекли меня, что я написал письмо маршалу Жукову, чтобы меня приняли в Нахимовское училище. Я мечтал о дальних плаваниях, хотел стать адмиралом и ждал ответа с нетерпением. И ответ пришел: «Поступай, Родина, в Нахимовское училище! В добрый путь!» Да только брали-то в Нахимовское после четвертого класса, а я уже заканчивал пятый. Учиться в пятом классе второй год мне никак не хотелось. Опоздал так опоздал. Уплыла моя мечта — в дальние просторы.

С той поры не могу без волнения читать строки Лермонтова:

Белеет парус одинокой В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?..

Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой... А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!

Мне всегда нравилось рисовать.

В те годы мы писали фиолетовыми чернилами — макали перо в чернильницу и подсушивали написанное промокашками, хорошо впитывающими кляксы. Так вот, все мои промокашки были использованы не по назначению, я на них постоянно рисовал. Все, что взбредет в голову. Шарж на учителя, глаз лошади, тонкий девичий стан, Сталина — Ленина...

Мама, угадав мое новое призвание, тут же купила альбом для рисования.

Однажды, вернувшись из школы домой, я увидел на столе свои рисунки.

— Зачем ты их вынула из коробки?

— В Днепропетровск приехали знаменитые художники из Москвы, и я подумала, что...

Я сгреб рисунки и спрятал их за спину.

— Не дам! Я знаю, что ты хочешь сделать! Показать им?

— Я уже показала, — улыбнулась мама. — Сегодня утром. Они похвалили.

— Что-о-о? — закричал я. — Зачем ты это сделала! Кто тебе дал право — без моего разрешения? Уйди! Я не хочу тебя видеть!

Я был возмущен своеволием мамы.

' — Извини, сына, — стала оправдываться она. — Они завтра уезжают, а я хотела посоветоваться...

— Как ты могла?!

Мне было стыдно многих рисунков, и если бы я знал, что

их выставят на обозрение, постарался бы нарисовать получше. А так — позор! Стыд!

— Здесь одно барахло! — бурчал я. — Надо было хоть из коробки взять, под столом, — там хорошие!

— Я и взяла из коробки!

— Да? — удивился я. — Какие? Где? Я не вижу!

После тщательной ревизии рисунков я пришел к выводу, что половину из них можно было выбросить.

— Что им тут могло понравиться? — недоверчиво поинтересовался я.

— Все понравилось. Они с удовольствием приняли бы тебя в школу.

— В какую школу?

— Ну, в эту... при Академии художеств.

— Правда? В Москве?

— Да.

— А сколько дорога стоит? — спросил я и сам же себе ответил: — Дорого...

Мама вздохнула:

— Да. Все упирается в деньги.

Примерно такой же финал ожидал меня, когда я захотел учиться играть на скрипке.

— Я бы так мечтала! — сказала мама. — Только у кого просить денег?

Не знаю почему, но звук скрипки всегда производил на меня завораживающее впечатление. У нас была пластинка с красивой скрипичной музыкой, я мог слушать ее бесконечно. Интересно, как долго можно находиться под гипнозом? Минуту, две, час?

Я околдован пеньем скрипки до сего дня.

И все-таки я нашел себя.

В тринадцать лет у меня началась мутация голоса и прорезался басок.

Примерно за две недели до Нового, 1958 года ко мне подошла Лида П., которая мне очень нравилась, и сказала:

— Мы готовим новогоднее представление. У нас есть все звери, но нет медведя. Хочешь быть медведем?

— Не-а, — отмахнулся я.

— Почему?

Я стеснялся выступать перед публикой. Но стоило ли признаваться?

— Не хочу, — сказал я.

— Жалко. Играли бы вместе. Там у зайчика с медведем дружба.

Лида сказала это так проникновенно, что внутри меня что-то дрогнуло.

— После каждого выступления, — добавила Лида, — мы будем получать подарки. Ну, знаешь, конфеты, орешки...

Я невольно сглотнул слюну. Мое голодное воображение нарисовало целую гору конфет, ведь каникулы длятся долго. Я заколебался.

— Ну чего ты такой? — ласково пожурила Лида и положила свою мягкую ручку на мою. — Будь медведем.
— Ладно, — сказал я.
Я надел шкуру, натянул маску и стал по-медвежьи рычать и бегать по сцене за очаровательным зайчиком. На первом спектакле, перед пятью сотнями школьников, я рычал с таким напором, что чуть было не потерял сознание — от духоты и избытка волнения,
Два года подряд я играл медведя на школьной сцене, получая подарки и набираясь смелости. И в результате осмелел настолько, что записался во взрослый драматический кружок при Дворце культуры. Оказалось, что руководителем кружка был тот самый Дмитрий Филиппович Брозинский, который приглашал меня и маму на свой спектакль и в сарайчике которого мы одно время жили.
Это было сущее везение. Дмитрий Филиппович обладал даром распознавать талант. Мы любили его. Он раздавал роли по какому-то странному принципу, как бы наоборот. Застенчивая девушка должна была играть вредную тещу, веселый паренек — печального странника, красавица — Бабу Ягу и т. д. Этим Дмитрий Филиппович хотел растормошить нас, зарядить интересом и энергией. Конечно, не просто было осваивать неподдающийся текст, но именно поэтому репетиции и стали такими необходимыми и желанными.
Мне, пятнадцатилетнему, поручили роль старца. Трагическую роль. Готовясь к спектаклю, я стал присматриваться ко всем старикам на улице, в трамвае, в кино. Я старался копировать их. И от репетиции к репетиции голос мой становился все более дребезжащим, спина сгибалась, ноги слабели и подкашивались. А когда я приклеил седую бороду и «потушил» взгляд (как бывает у стариков), то меня даже мать родная не узнала...
Успех был ошеломляющим. Зал аплодировал, друзья обнимали. А в сторонке, за кулисами, стоял Дмитрий Филиппович и пристально на меня смотрел. Я запомнил этот странный, как бы отсутствующий взгляд. О чем он думал в тот момент? Заглядывал ли в будущее или сожалел о прошлом? Кто знает!
Впрочем, сегодня, спустя много лет, мне кажется, я разгадал тайну этого взгляда. Строгий Дмитрий Филиппович, стоявший за кулисами, хотел, чтобы я запомнил: у всякого успеха есть две стороны — признание зрителя и признание учителя. Они не всегда совпадают.
Летом 1959 года я впервые увидел настоящих звезд кино.
Живьем.
Популярные артисты выступали на городском стадионе, а мы, участники художественной самодеятельности, были у администрации на побегушках. Нам с Женей Безруковым здорово повезло: мы оказались у главного выхода на сцену и видели знаменитостей так близко, что даже могли их потрогать. Приветливая Марина Ладынина. Такая же красивая, как на экране. Такая же смелая. Она ловко впрыгнула в открытую коляску, хлестнула лошадь и помчалась по беговой дорожке. Над стадионом зазвучал такой знакомый, такой волнующий голос:
Каким ты был, таким остался, Орел степной, казак лихой...
Стадион рукоплескал, узнав любимую песню из «Кубанских казаков», а мой друг Женя уже толкал меня локтем в бок:
— Смотри, вон Бондарчук! Бондарчук, смотри! Ух ты!
Сергей Бондарчук! Шевченко! Отелло! С пышной копной волнистых волос, загорелый и очень серьезный. Пока Сергей Федорович беседовал с кем-то, я подошел к нему со спины и вытянулся в струнку, чтобы сравниться ростом. Великий артист был слегка выше меня, и Женя издалека показал мне, насколько выше:
— На чуть-чуть...
Не знаю почему, но это «чуть-чуть» окрылило меня. Мне казалось, что стоит немного подрасти — и я добьюсь успеха.
В те годы взошла звезда Владимира Трошина. Его мягкий, проникновенный голос невозможно было забыть, «Подмосковные вечера» были у всех на слуху. Трошин готовился к выступлению, нервно потирая руки. Его окружили служащие стадиона, оглядывая своего кумира с ног до головы.
— Трошин! — сказал один из поклонников. — Мы тебя любим. Спой чего-нибудь!
Трошин деликатно отказался:
— Извините, но мне скоро выходить...
— Ну хоть немного! «Не слышны в саду-у-у...» Ну спой!
— Уважь!
— Нет. Извините, пожалуйста.
Один из поклонников повернулся к другому и сказал — так, чтобы Трошин слышал:
— Чего ты его просишь? Он же без микрофона не может.
— А-а-а... — нарочито громко произнес другой. -- Теперь понятно. Все говорят: Трошин, Трошин, а он безголосый.
— Давай покажем, как надо петь! — съехидничал третий. В это время над стадионом разнеслось объявление:
— Заслуженный артист РСФСР, артист Московского Художественного театра Владимир Трошин!
И Трошин запел.
— Здорово поет! — сказал я.
— Очень здорово! — согласился мой друг.

А те трое, что приставали к Трошину, посмеивались:
— Любой дурак с микрофоном споет! Подумаешь, Трошин! Уже тогда я понял, что у поклонников обидчивое сердце.
В одну секунду их любовь может превратиться в ненависть.
Ни с одним из выступавших мне так и не удалось поговорить. Собирался, но не хватило духу. Да и что сказать? Черкасову, Скобцевой, Крючкову? Сказать, что я видел все их фильмы? Что ж тут удивительного — все видели. Сказать, что хочу быть артистом? А кто же не хочет! Может, поговорить о тонкостях игры? Глупость, никто не станет слушать белиберду перед выходом на сцену. В общем, весь вечер я крутился рядом с гигантами, заглядывал им в глаза, но не смог выдавить из себя ни слова.
На следующий день в нашем дворце проводилась творческая встреча с Борисом Андреевым. Огромного роста, с мощным, трубным голосом, смешной и доверчивый, Борис Андреев всегда мне нравился. Особенно в «Двух бойцах».
Шла встреча. На экране показывали фрагмент из «Большой семьи» Хейфица. Андреев в перерыве не уходил, а смотрел на экран из-за кулис. Мы, артисты-кружковцы, ошивались рядом.
Вдруг Андреев положил на мое плечо тяжелую, горячую руку.
— Нравится? — спросил.
— Д-д-да... — промямлил я в ответ.
— А как учишься?
— А?
— Двойки-тройки? — спросил Андреев.
— Нет. Я в самодеятельности... — невпопад брякнул я.
— В самом деятельности? — засмеялся Андреев. — А школу побоку?
— Нет.
Андреев потрепал меня по затылку и сказал:
— Шучу.
Мои друзья потом допытывались, о чем он со мной говорил, и я рассказал — в деталях и красках, басовитым голосом, стараясь передать его специфическую манеру говорить. Все смеялись.
Потом я рассказал об этой встрече самому Андрееву. Но не сразу, а ровно через 25 лет, когда снимал его в фильме «На край света». Понятно, Андреев меня не вспомнил. Лишь поинтересовался:
— Трезвый был?
— Кто? — спросил я.
— Да я, кто ж еще? — рассмеялся актер.
— Конечно, трезвый!
— Молодец! — похвалил себя Андреев.
Андреев был не только замечательный артист, но и очень популярный. А у популярности, как известно, есть подводные рифы. Петр Алейников, Валентина Серова, Сергей Гурзо, Николай Рыбников, Владимир Дружников, Валентин Зубков, Изольда Извицкая... Сколько их, талантливых, неповторимых, которые стали жертвами собственной славы и собственной слабости. Бесконечные застолья, сердечные тосты — все это легко может вскружить голову и сбить с пути. Некоторым, и Андрееву в их числе, удалось выжить. В буквальном смысле — выжить. Ведь одно время Борис Федорович закладывал так крепко, что срывал съемки и концерты, неделями не выходя из запоя. Но в конце концов он смог преодолеть свою слабость и в последние годы работал без сбоев. И работал великолепно!
Но бывало, что артист, справившись с болезнью, все же терял профессиональные навыки. Так было с Зубковым.
После фильма «Трое вышли из леса» о Валентине Зубкове стали говорить взахлеб, пророчили ему большое будущее. Но он спился в самом начале карьеры. Шли годы, о Зубкове стали забывать. Но я о нем помнил и предложил небольшую роль в фильме «С тобой и без тебя».
В фильме есть такая сцена. Издалека катится телега. В ней сидит Зубков с ружьем и сельский участковый (Иван Косых). Они подъезжают к хутору. Из дома выходит Марина Неёлова, а за ней Юозас Будрайтис (по фильму муж и жена). Зубков должен соскочить с телеги, достать из кармана листок бумаги, протянуть его Неёловой и сказать: «Вот ордер на обыск!» Затем, повернувшись к милиционеру, добавить: «Приступайте!» Так написано в сценарии.
Начинаем снимать.
Едет телега, подъезжает к дому. На крыльце показываются Неёлова и Будрайтис, Зубков соскакивает с телеги, протягивает вперед ружье и говорит:
— Вот ордер на обыск!
— Стоп, стоп! — останавливаю я съемку. — Валентин, покажи им сначал ордер, а потом уже берись за ружье, ладно?
Зубков соглашается.
— Дубль номер два! Поехали!
Зубков спрыгивает с телеги и, секунду помешкав, вместо бумажки снова хватается за ружье.
— Вот ордер на обыск! — строго говорит Зубков. Снова останавливаю съемку. Отвожу Зубкова в сторонку.
— Валя, тебе дали ордер? — спрашиваю.

— Дали.
— Где он?
— У меня.
— Покажи.
Зубков достает из бокового кармана свернутый листок бумаги.
— Здорово! — говорю я. — Это то, что нужно! Ты понял? Спокойно достаешь из кармана ордер и суешь его в нос Неёловой. Понял?
Зубков согласно кивает и занимает исходную позицию.
Снова включаем камеру.
И снова тот же затор: ордер так и остается лежать в зубковском кармане.
— Валя, — решаю я, — возьми ордер в руку, сунь в карман и держи там, пока не подъедешь, ладно? Подъедешь, вынешь руку с ордером — и дело сделано, ладно?
От волнения ли, от излишнего ли старания, но и в следующем дубле Зубков делает то же самое: хватается за ружье вместо бумажки.
Нервозность передается группе.
— Дубль черты... чертыхар... тьфу ты... че-ты-хар-над-ца-тый! — кричит ассистент. — Поехали!
Въезжает во двор хутора телега, выходят на крыльцо Неёлова и Будрайтис, Зубков спрыгивает на землю, вынимает долгожданный листок...
«Ура!» — мысленно кричу я. А Зубков говорит:
— Вот ордер на ваш арест!
Арест? Откуда взялся арест? Речь идет об обыске! Марина не выдерживает, закрывает лицо передником и начинает хохотать.
— Марина! — возмущаюсь я, хотя впору возмутиться Зубковым. Но жалко его.
— Валя, — обнимаю я Зубкова. — Молодчина! Оговорку можно переозвучить.
К концу десятого класса у меня не оставалось никаких сомнений относительно выбора профессии. С того дня, как я увидел живых кинозвезд, мне стало казаться, что я тоже смогу когда-нибудь добиться признания.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Единственным институтом, готовившим киноартистов, был Всесоюзный государственный институт кинематографии. В Москве находились еще и театральные учебные заведения, но они были театральные, так что меня больше тянуло во ВГИК, который заканчивали Бондарчук, Мордюкова, Рыбников...
Мама не спорила. Чтобы занять денег, ей пришлось обойти всех своих знакомых и друзей, и к июлю 1960 года она радостно протянула мне конверт:
— Двести рублей. Я думаю, хватит.
Экзамены предположительно должны были продлиться две недели. Затянулись же они на целый месяц и шесть дней. Сергей Герасимов, главный экзаменатор, задерживался на съемках, а он вместе с Тамарой Макаровой должен был утверждать нас на последнем туре. Первые же два они доверили рядовым преподавателям, из которых я помню лишь одного, симпатичного молодого человека по имени Юрий Ягодинский.
Атмосфера вступительных экзаменов известна всем, поэтому не буду долго на этом останавливаться, скажу лишь, что, сидя в коридоре и ожидая вызова, я был уверен, что провалюсь. Эта уверенность была вызвана тем, что вокруг оживленно, раскованно и весело (в отличие от меня) сновали красавцы и красавицы — с таким торжествующим видом, что можно было смело утверждать: мне, тихому, застенчивому провинциалу, в институте просто не хватит места.
К экзаменам по мастерству актера я подготовил все, что требовалось: монолог, басню, стихотворение, прозу. Но на первом же туре обнаружил, что лучше всего слушателями воспринимается отрывок из «Детства» Горького, в котором дед обучает маленького Алешу азбуке. Моя способность изображать стариков смешила, удивляла и в результате благополучно дотянула меня до последнего, третьего — герасимовского — тура. Абитуриентам, отобранным Герасимовым, оставалось после этого сдать лишь общеобразовательные предметы.
Мой дед из Горького рассмешил и Сергея Аполлинарьевича. Он подозвал меня к столу и спросил:
— Мне сказали, что ты у нас самый юный. Сколько тебе лет?
Мне было шестнадцать, но я так растерялся, что сказал:
— Пятнадцать!
— Пятнадцать? — удивились все.
— Фу ты! — спохватился я. — Что я говорю? Мне уже шестнадцать.
Герасимов благодушно улыбнулся:
— Да, ты много старше, чем мы предполагали. Комиссия покатилась со смеху. Рассмеялся и я. Вернувшись из Москвы, я открыл дверь нашей комнаты.
Мамы дома не было. Я нашел ее у трамвайной остановки.
— Как же ты похудел! — вырвалось у нее. — Почему телеграмму-то не послал? Я бы встретила.
— Денег не было.
— Понятно... Ну как? — осторожно спросила мама. Я вздохнул:

— Провалился... на последнем туре. Мама обняла меня и сказала:
— Не огорчайся, сына. Я уже переговорила с руководством завода. Поработаешь токарем, а потом решим, что делать дальше.
Идя домой, мы говорили о чем угодно, но только не о моем провале в институт. Мама рассказывала, как дела у нее на работе, кого из моих одноклассников она видела.
Мама зашла в комнату первая. Я задержался у порога.
— Ну что, мамочка! — громко объявил я. — Встречай будущего артиста!
— Поступил?! — мама всплеснула руками. — Правда? А зачем же ты... Вот притвора! А я-то и правда подумала...
Я думаю, мама раскусила мою игру сразу. Я был чрезмерно возбужден, лицо горело, я бегал по поселку, ища ее, — наверняка не для того, чтобы огорчить. Мама просто решила подыграть мне, так сказать, усилить радостный эффект.
Она была на седьмом небе от счастья.
Сергей Аполлинарьевич набирал курс не для себя: у него уже был курс (Губенко, Болотова, Никоненко). Он подбирал студентов для Юлия Райзмана, который летом был занят съемками.
Когда нас, студентов первого курса, собрали вместе, я был очень удивлен, обнаружив, что среди нас нет ни красавцев, ни красавиц. Наш курс состоял из семнадцати подростков — провинциального вида, неброской наружности, невысокого роста и небогатого достатка. Возможно, престижному, элитарному институту, каким был ВГИК, партийные органы вменили в обязанность подбирать людей из народа, ничем не приметных, но и ничем не испорченных. Из Москвы была зачислена лишь скромная Наташа Величко, выделявшаяся своим музыкальным образованием. Я был самым молодым на курсе, самому «старому» же было 23 года.
До того как начались регулярные занятия в институте, всех первокурсников отправили на картошку в Подмосковье. Мы дружно расположились в пустом коровнике, отделившись от женского пола лишь неким подобием ширмы из одеял. В коровнике нас было человек шестьдесят. Художники, режиссеры, актеры. Весь день мы копали картошку, а вечером собирались в группы: кто-то играл на гитаре, кто-то рассказывал байки, а кто искал любви. Я был там, где пели. От любовных приключений меня отделяло целых десять месяцев...
Завершив трудовой семестр и заработав по мешку картошки на брата, мы вернулись в Москву в городок Моссовета, в тогдашнее общежитие. Общежитие было четырехэтажное, на каждом этаже по две кухни, два туалета. В комнате по четыре человека. Душевые кабинки располагались в подвале. Наша стипендия была 22 рубля, из них полтора изымали за общежитие. Выжить на 20 рублей в месяц можно было лишь при большом желании. Основная еда — картошка, молоко и хлеб. Но скидывались и на водку.
Актерские занятия проводились в большой комнате, называемой мастерской. Мастерскую украшал большой рояль. А в разных концах — то там, то здесь — стояли обшитые мешковиной кубы. Вдоль стены лепились стулья для студентов, посредине — кресла для преподавателей.
Юлий Яковлевич Райзман, крупнейший кинорежиссер, сделавший «Машеньку», «Коммуниста», «А если это любовь?», считался, как я уже говорил, мастером нашего курса, однако трудности прохождения его последнего фильма сильно подкосили здоровье и он, отсиживаясь в Болшево, в институте почти не появлялся. Настоящую работу с нами проводил Анатолий Григорьевич Шишков, старший преподаватель, тот самый преподаватель, Учитель с большой буквы, которому я обязан тем, что умею.
Анатолий Григорьевич Шишков, или, как его ласково называли во МХАТе, дядя Толя, был замечательный артист, но при этом еще и превосходный педагог, внедрявший в наше сырое сознание основы системы Станиславского. Ему было шестьдесят, он знал великих мхатовцев лично. Кедров, Яншин, Грибов, Тарасова, Ливанов-старший были не только его партнерами, но и друзьями. Благодаря «дяде Толе» мы ходили во МХАТ как к себе домой. Особенно мне нравились «Плоды просвещения» Толстого с нашим учителем в роли буфетчика Яшки.
Рояль, стоявший посреди мастерской, радовал меня, и,| когда в классе никого не было, я садился и начинал подбирать мелодию. Кто-то обратил внимание на мою страсть к музыке и предложил свою помощь. Я с трудом ухватывал нотную грамоту, но пальцы осваивали клавиши легко. Как только я разбирал по нотам сложный пассаж, дальше проблем не было. Кроме того, мне нравилось сочинять музыку. Она, конечно, была наивной, но как-то, услышав мое музицирование, один документалист похвалил меня и даже попросил написать музыку для его фильма. Это был фильм о слепых школьниках. Я поехал на съемки, подружился с ребятами и сочинил музыку, которую режиссер с удовольствием включил в фильм.
Во ВГИКе той поры можно было четко отслоить две категории студентов. Одна представляла собой элиту — туда входили дети известных родителей. Другая — колхозно-пролетарская.
К элитарной группе тех лет относились Андрей Тарковский; и Андрон Михалков-Кончаловский, ко второй — Василий Шукшин и Николай Губенко. Конечно, со временем все они стали гордостью нашего искусства и не разделялись на дворян и плебеев, но в те годы Василий Шукшин ходил на занятия в сапогах и военной гимнастерке, а Кончаловский — в американских джинсах. Шукшин пил горькую и хлебал пустые щи, а; Кончаловский играл Брамса и освежал лицо французским одеколоном.
Были в институте и такие, которые, имея утонченный, изысканный вкус, не видели для себя в тогдашнем советском искусстве никакой перспективы. Они были полны неизбывной грусти, любили полумрак и тихую

музыку, создавали — даже в шумном вгиковском общежитии — атмосферу рафинированной, хрупкой ностальгии по чему-то — то ли бывшему давно, то ли не существовавшему вовсе.
Последний бал давали во дворце,
Уже носились слуги,
И камергер бледнел в лице...
Владимир Китайский, кинорежиссер и поэт, был одним из самых ярких представителей вгиковского декадентства. В глаза бросалась его странная, как будто летящая походка. Он не успевал ступить на землю, как тут же приподнимался на носки и толкал себя вперед, словно боясь обжечься. К нему тянулись те, кто искал глубины в грубой, бездуховной жизни. Долгие вечера они просиживали у Китайского, не сводя глаз с горящих свечей и попивая дешевое вино.
В этом городе умников
Вас, конечно, не встретят,
В этом городе сумерки
Не вечернего цвета.
Что ни вечер, там празднуют
Именины иль смерть.
Да не минут соблазны вас
В незабвенной Москве.
А вернетесь вы к луковицам,
Тракторам и чернильницам,
Там однажды аукнется,
В сердце трижды откликнется.
Володя повесился на дереве недалеко от железнодорожной станции.
Спустя год в общежитии, в комнате напротив, повесился и двадцатитрехлетний Юрий Ягодинский — тот самый, из отборочной комиссии.
В отличие от нашей тесной, четырехместной комнаты в комнате напротив жило всего двое: Юрий Ягодинский и режиссер-дипломник Виктор Архангельский. С Виктором мы быстро нашли общий язык: он великолепно играл на скрипке, поэтому я частенько заглядывал к «старикам» попеть (Архангельский сочинял прекрасные мелодии).
Я помню, как после просмотра фильма Висконти «Рокко и его братья» с Юрием Александровичем случилась истерика. Он рухнул на кровать и, уткнувшись в подушку, зарыдал.
— Я... не могу! — вскрикивал Юрий. — Не могу больше... Рокко прав... Человеческого правосудия нет!
Незадолго до рокового дня Юрий Александрович (я величал его так, поскольку он был моим преподавателем) приобрел красивые ботинки на микропористой резине. Похваляясь ими, он почему-то странно хихикал. Этот его как бы слегка кашляющий смех я потом долго вспоминал, не понимая, зачем человеку новая обувь, раз он решил покончить с собой. Куда он собирался в ней идти? Может быть, этот вопрос смешил и его самого?
После потери друга Виктор долго не мог прийти в себя. О чем бы мы ни говорили, он невольно возвращался к Юрию, которого мог бы спасти.
— Не могу поверить, что так вышло... Я с ним накануне поругался.
— Из-за чего?
— Он дымил как паровоз. Сигарета за сигаретой. Невозможно было дышать. И он мне сказал: не нравится - убирайся. И я ушел. А когда вернулся... часов около восьми утра... он сидел, прижавшись к спинке кровати. Я снял ремень с его шеи, и он упал к моим ногам, громко вздохнув. Я даже подумал, что он жив. Он повесился в пять утра...
Ягодинский был из Горького, поэтому решили похоронить его там. Трое друзей, обмотав труп полиэтиленом, посадили его на заднее сиденье, как будто везли пассажира. Виктор сел рядом, обнял застывшее тело, чтобы оно не сползло на пол, и «Москвич» с Юрием Ягодинским покатил в Горький. К маме и папе.
Занятия в институте были разнообразными. Кроме актерского мастерства, нам преподавали сценическую речь, сценическое движение, танец, пантомиму, вокал, верховую езду, а также весь набор общеобразовательных предметов, включая и историю КПСС (Шишков умышленно говорил «КСПС», выражая этим свое пренебрежение). И еще историю искусств, историю кино (родного и зарубежного), историю театра, историю зарубежной и советской литературы.
Наш день был загружен настолько, что после репетиций мы возвращались в общежитие глубокой ночью. В просмотровых залах института постоянно демонстрировались классические ленты, и мы часто срывались со скучных лекций на «Судьбу солдата в Америке», или на «Табачную дорогу», или на «Гражданина Кейна». Кино было моей любовью с детства и любимо до сих пор — так же горячо и так же самозабвенно. Чарли Чаплин был моим кумиром, а его «Огни большого города» и «Новые времена» и сегодня остаются моими самыми любимыми фильмами. Всегда, когда я смотрю Чаплина, я как бы заряжаюсь свежей энергией и готов горы своротить. Мне казалось, что Чаплин так же действует и на других. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что Чаплин даже у моих собственных детей вызывает лишь снисходительную и вежливую, чтобы не обидеть папу, улыбку. Сегодня широкоформатный «Титаник» с долбистереозвучанием

покоряет молодые сердца, оставляя меня совершенно равнодушным. Если уж на то пошло, мне дороже простота «Касабланки» и «Судьбы человека», нежели супермиллионные затраты на компьютерные фокусы. Это не значит, что я противник нового, я рад удивляться, но я хочу также восторга и наслаждения, какого не получаю от всех этих монстров, терминаторов, небывалых взрывов, кораблекрушений и космических катастроф.

Несмотря на занятость, я учился хорошо. Преподавателям нравились моя серьезность и уважение к их предметам. Такое же серьезное, уважительное отношение было ко мне самому — со стороны сокурсников. Многие ребята все чаще и чаще стали обращаться ко мне с просьбой, чтобы я посидел у них на репетиции и сказал, если что не так. Я с удовольствием это делал, не отдавая себе отчета в том, что режиссура станет моей второй профессией.

Когда я говорю о серьезности, это не значит, что все, что я играл, было сугубо драматическим, неулыбчивым, мрачным.

Я умел смешить, но не комикуя нарочно. Когда артист кривляется, преувеличивает, бывает тошно, но не смешно.

В 1961 году Марлен Хуциев пригласил меня сыграть студента в прологе фильма «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»). Съемки заняли всего один день, но Марлен Мартынович до сих пор уверен, что именно он «открыл» меня. Символически — да, это была моя первая киносъемка, но практически разглядеть на экране моего студента можно лишь при очень-очень большом желании. К тому же в титрах я значился как «Р. Нагопятов», попробуй-ка разыщи такого.

Кстати, Нагопятов звучит совсем даже неплохо. Нагая пята. Не ахиллесова ли?

На одном из наших актерских экзаменов присутствовал Василий Шукшин. На следующий день со студии Горького раздался звонок:

— Василий Макарович без проб утвердил вас на роль инженера Гены в фильме «Живет такой парень». Вам надо явиться на студию, познакомиться с группой, сделать фото, примерить костюм.

Фотографировал меня главный оператор фильма Валерий Гинзбург.

— Смотрите в камеру! — сказал он. Я посмотрел. Щелк.

Гинзбург подвинул камеру еще ближе. Щелк.

— Так, еще разок! Смотрите, пожалуйста, на меня. Прекрасно!

Щелк. Щелк.

Через пару дней меня вызывает Шукшин и спрашивает:

— Ты что, косой, что ли? Я смутился.

— Ну-ка, посмотри сюда, — попросил Шукшин. — А теперь сюда.

Волнуясь, я стал водить взглядом из стороны в сторону.

— Так, — крикнул кому-то Шукшин. — Позовите-ка Гинзбурга.

Пока искали Гинзбурга, Шукшин протянул мне несколько фотографий с моей физиономией. Я не узнал себя. Я определенно страдал косоглазием.

Меня прошиб пот: сейчас меня забракуют. Моя карьера закончена. У меня природный дефект.

Шукшин рассмеялся:

— Ну и напугал же меня Гинзбург. Прибегает и говорит: артист-то наш косит! И вручает мне эти снимки. А кто виноват? Наверное, камеру близко к носу поставил! Вот смотри на мой палец. — (У Шукшина были очень своеобразные пальцы: с утолщенной последней фалангой и блестящим, похожим на виноград закругленным ногтем.) Шукшин стал приближать палец к моей переносице. — Смотри, смотри... Ну конечно же, ёшь-твою-вошь! Тут любой закосит! Иди на примерку костюма, всё в порядке.

Роль инженера Гены была моим первым и настоящим боевым крещением.

Шел 1963 год. Мне было девятнадцать.

В те дни я знал о Шукшине не много. Видел в «Двух Федорах», прочитал написанный им сценарий «Живет такой парень» и слышал от моей сокурсницы Лиды Александровой, игравшей в фильме главную роль, что Шукшин влюблен в нее и замучил своей ревностью.

Лида была русская красавица. Статная, с большими голубыми глазами и очень своенравная. Несколько раз она пряталась от разбушевавшегося Васи в нашей комнате.

— Опять? — смеялись мы. — С ножом?

— Нет! — задыхаясь, отвечала Лида. — Но он и кулаком пришибить может.

Отдышавшись, Лида делилась подробностями:

— Увидел меня с Джабаром, затолкал в комнату и давай гонять. Осточертело! Пьяный черт!

— Лида, — сказал я, — ты же сама его мучаешь.

— Интересно, кто кого мучает! Вы не знаете, а защищаете. Когда Лида ушла, кто-то из ребят сказал, что Шукшин по пьянке так ее однажды отлупил, что она после этого рожать никогда не сможет.

— Вот она и мстит, играет на нервах.

— Да она сука. С неграми таскается. Я б ей тоже по морде съездил.

Не думаю, что все, что болтали ребята, правда. Но напряжение между Лидой Александровой и Шукшиным определенно было.

В те годы Василий Макарович выпивал и частенько бывал резок и груб. На одной из репетиций он был мрачнее обычного. Лида, виновница его настроения, поправляла грим, демонстративно изогнув перед

режиссером свой стан. Мы же с Куравлевым репетировали. Скоро мы заметили, что Шукшин смотрит не на нас, а на выпирающий зад Лиды. Вдруг ни с того ни с сего Шукшин заскрежетал зубами, глаза его сузились, желваки бешено заиграли. Мы остановились, думая, что между любовниками разгорается скандал. Но Шукшин, не отрывая взгляда от соблазнительных женских форм, накинулся не на Лиду, а на нас с Леней:
— Леня! Твою мать! Ты что остановился?
— Ты же не смотришь, Василий Макарыч, — сказал Леня.
— Не твое дело, играй!
Мы продолжили сцену.
Шукшин любил Куравлева, ко мне же относился с некоторой настороженностью. Я был чужак. Непьющий, тихий, — поди узнай, что у такого на уме. Когда мы были в экспедиции, Василий Макарович не раз приглашал нас к себе. Конечно, ставил на стол бутылку. Я выпивал пару рюмок, и все. Остальные пили. Болтали. А я весь вечер молчал. Это вполне можно было принять за снобизм. Между тем все объяснялось просто: мне всегда интереснее слушать других, чем себя. Вплоть до сегодняшнего дня я не утратил стеснительности.
Мне нравилось, когда Шукшин объяснял, вернее, показывал сцену. Это была сама жизнь, оригинал, так сказать, после которого наше исполнение, даже хорошее, становилось не более чем копией. Он мог виртуозно переключаться с одного персонажа на другой — без заминки и паузы, что свидетельствовало о том, что он «видит» фильм. Его показ был для артистов то же, что камертон для певца.
Здесь уместно сравнить два подхода к работе с актером.
Первый метод заключается в том, что исполнителю подробно объясняют смысл и значение сцены. Актера вовлекают в философские рассуждения, говорят с ним языком теории, схоластики. Иногда это приятно, потому что ты чувствуешь себя образованным, умным человеком. Но в этом случае артист перегружается ненужной информацией и в результате не знает, как ему все-таки играть.
— Твой герой, — объясняет режиссер-теоретик, — как бы стоитпропастью и не знает, сорвется он туда или же, не дожидаясь падения, ему лучше прыгнуть в пропасть самому.
Перед героем никакой пропасти нет, это иносказание. Он ждет поезда, сидит и курит, пуская колечки. В ответ на философскую задачу артист в лучшем случае поперхнется дымом, но передать условное балансирование «над пропастью» не сможет.
Второй метод более практичный. Режиссер знает, какую эмоцию должна вызвать сцена, но не теоретизирует по этому поводу, а дает актеру простую задачу.
— Подойди к самому краю перрона, — говорит он. — Мимо проносится поезд. Закрой глаза...
Встречный ветер бьет в лицо. Все сильней и сильней стучат колеса. Герой медленно прикрывает глаза... Тревога охватывает зрителя: а не бросится ли этот человек под поезд?
Результат сцены — в эмоциональном отношении — не уступит так называемому балансированию над пропастью, но задача перед актером при этом стоит более понятная и выполнимая.
Шукшин не любил загадок и никогда не напускал туману, поэтому актеры в его фильмах достигали больших высот. Ясная позиция и четкие требования не только создавали мост понимания между ним и актерами, но и прибавляли последним сил.
Играя свою первую большую роль, я решил на практике испробовать свои актерские принципы.
Принцип первый: на съемочной площадке герой должен жить полной эмоциональной жизнью, независимо от того, видит его камера или нет. Прерывистость создает фальшь.
Принцип второй: интерес к персонажу должен расти от кадра к кадру, а это значит, что раскрывать образ следует постепенно. В жизни ведь редко кто открывается в первую секунду.
Принцип третий: уходи от камеры и не проси крупных планов. Если игра интересна, режиссер тебя заметит.
Принцип четвертый: живи на экране по законам жизни, не подыгрывай зрителю.
Принцип пятый: не впадай в ординарное. Главная роль — это бег на длинную дистанцию, поэтому будь изобретателен. Если при отходе поезда все начнут махать рукой, не смешивайся с остальными.
Принцип шестой: не копируй режиссера, старайся понять, чего он добивается.
Эти принципы сформировались за три года обучения во ВГИКе и полностью совпадают с моим собственным характером.
Независимо от того, запомнился зрителям или нет ревнивый московский инженер Гена, я убедился в эффективности названных выше принципов именно на этом фильме.
Еще в институте я подружился с режиссером Эльёром Ишмухамедовым. Вместе с ним мы работали над инсценировкой рассказа Чехова «На пути». Роль неудачника, желающего произвести на женщину сильное впечатление, стала одной из моих дипломных работ.
У нас с Эльёром было общее увлечение — фильмы Феллини. Я даже в шутку прозвал Эльёра «Эльёрини». И вот дружба, начатая в стенах института, переросла в творческий союз. Эльёр пригласил меня сняться в роли Тимура в фильме «Нежность». Мне понравился сценарий Оделыии Агишева — свежий, трогательный, нежный, как и рассказ Барбю-са «Нежность», использованный в одной из сцен фильма.
Никогда не забуду открытие для себя республики Узбекистан. Уникальная средневековая архитектура, добродушие людей, жаркое солнце, плов и зеленый чай до сих пор вызывают у меня ностальгические чувства. Но более всего мне памятна атмосфера съемок.
Я читал когда-то, что Жанна Моро была недовольна съемками у Антониони (в фильме «Ночь»). Постоянное

напряжение, идущее от режиссера, сковывало ее инициативу и утомляло. «То ли дело съемки у Трюффо! — вздыхала она, вспоминая «Жюль и Джим». — Все было так легко, так непринужденно, по-дружески!»
«Нежность» для меня была то же, что «Жюль и Джим» для Жанны Моро, — не столько работа, сколько сама жизнь. По-дружески легко и непринужденно снимался и наш скромный узбекский фильм. Все мы были практически неразлучны, поэтому случайно оброненное слово, жест или наблюдение наматывались на ус, перемалывались в общей творческой лаборатории и находили свое место в фильме. Единение было полное, и свобода — исключительная. Никогда больше у меня не было такой беспечной и такой стимулирующей творчество жизни, как в тот год — год благословенной «Нежности»!
До этого я сыграл в кино три главные роли. Я бы хотел посмотреть эти фильмы сегодня, хотя знаю, что с годами премьерный восторг, как правило, уступает место критическому разбору и можно здорово разочароваться.
Вернемся, однако, к 1964 году, последнему году обучения во ВГИКе.
Юлий Райзман, номинально оставаясь мастером курса, так и не нашел времени, чтобы заниматься нами всерьез. Анатолий Григорьевич Шишков, Александр Александрович Бендер, Эмилия Кирилловна Кравченко — вот имена моих учителей по актерскому мастерству. Все они прекрасные педагоги. И все же их имена были недостаточно крупными в кинематографе, чтобы помочь нам пробиться. Поэтому актерская кафедра уговорила Сергея Герасимова и Тамару Макарову возглавить руководство курсом.
Сознание того, что нас опекают самые влиятельные вгиковские мастера, воодушевило нас, мы были на подъеме. И все же я не ожидал большого будущего. Ко мне подошел декан актерского факультета Ким Арташесович Тавризян и сказал:
— Талант — это еще не всё! У нас все талантливы. Закончишь институт, можешь преподавать. Я тебя официально приглашаю.
— Но я хочу сниматься!
— Если позовут, отпустим. Но я бы особенно на это не рассчитывал. У тебя не русский тип. А итальянские фильмы у нас пока не снимают.
Я ходил потерянный: меня не привлекала педагогическая деятельность. Уж лучше вместо этого пойти учиться в консерваторию, как советовали мои преподаватели музыки.
— Нахапетов! — услышал я позади себя.
Я оглянулся. По лестнице поднимался художник студии им. М. Горького Борис Дуленков, которого я хорошо знал по фильму «Первый снег» (я играл там главную роль).
— Здравствуйте, Борис Дмитриевич! — поздоровался я. Дуленков с озабоченным видом отвел меня в сторону и, ничего не объясняя, откинул с моего лба волосы. Прищурил глаза.
— Ну что ж, лоб как лоб, — сказал он.
— Что? — не понял я.
Дуленков неопределенно развел руками и пошел прочь.
Я догнал его.
— Борис Дмитриевич, что с моим лбом?
— Пока ничего... ничего не могу сказать. Подождем — увидим.
Через час меня разыскал ассистент режиссера Марка Донского и сказал:
— Завтра мы ждем вас на студии.
Прежде чем перейти к рассказу о самой трудной и необычной роли, хотел бы поделиться с вами историей не столь значительной, но забавной.
Гордое имя Родина, которое я носил благодаря эмоциональному порыву матери, у многих вызывало недоумение. Помните, в школе мне дали имя Радик? Радик-то Радик, но, когда выдавали паспорт, понадобилось свидетельство о рождении, и на поверхность снова выплыло это «Родина».
Из окошка выглянул милиционер и оглядел меня с ног до головы.
— Ты что, девочка, что ли? — спросил он.
— Нет.
— А ты знаешь, что слово «Родина» женского рода?
— Знаю...
— Зна-аю... — передразнил меня милиционер. — Понапридумают! Паспорт — это серьезный документ.
Сказал и написал «Родин».
— Надо, чтобы было грамотно! — торжественно воскликнул милиционер и вручил мне паспорт с новым именем.
Спустя три года, по завершении съемок «Первого снега», редактор фильма утверждал титры, обнаружил, что в имени главного артиста допущена опечатка (ведь нет же такого имени — Родин?), и сделал исправление, вставил пропущенную букву. Теперь было совсем уже грамотно: «Роди-о-н».
Так я стал Родионом.

ВАЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
— Это займет пару часов, не больше, — продолжал ассистент.
— А что я там буду делать?

— У вас будет проба грима. Разве Дуленков вам ничего не объяснил?
— Нет, — сказал я. — Он только потрогал мой лоб.
— Донскому пришло в голову попробовать вас на роль Ленина.
— На роль кого? — У меня учащенно забилось сердце. — Но ведь я совсем не похож на Ленина.
— Если честно, мы тоже так считаем, но... Разумеется, я немедленно пошел на студию.
Я не испытывал особого почтения к образу Ленина (на память приходили дежурные, плоские фильмы), но какой артист откажется от портретного грима? От эксперимента со своим лицом? От фотографии, которую можно потом показать друзьям, маме? Так что мне захотелось сделать грим и фото. О том, чтобы сниматься, и мыслей не было.
Говорят, искусство требует жертв. Это правда. В первый же день мне сбрили волосы («освободили площадку» для парика), удалили брови (слишком низко растут), на десну под верхней губой положили гуммоз, в нос вставили пробки, на веки наклеили вату — словом, мучили целых десять часов. Но фото в тот день так и не сделали.
— Не похож! — заявила Валентина Пустовалова, художник-гример.
— Хорошо еще, что для пробы голову не отрезали, — мрачно пошутил я.
— Приходите завтра! Продолжим.
Я стал ходить на грим ежедневно, как на работу (бесплатную). Но и через две недели я не превратился в Ленина.
Правда, все кругом говорили, что я стал «прямо как он». Но сам я так не считал. Чем больше я вглядывался в ленинские черты на фотографиях, тем больше находил различий.
Между тем актерские пробы прошли успешно, и я был утвержден на роль юного (16), молодого (25) и зрелого (47) Владимира Ильича Ленина в фильмах Марка Донского «Сердце матери» и «Верность матери». Мне кажется, что мне помогла моя способность играть возраст. В девятнадцать я легко мог прикинуться стариком. Это было явное преимущество перед теми, кто мог играть лишь самого себя.
Не буду рассказывать о том, как снимали эти фильмы, остановлюсь лишь на нескольких ключевых моментах.
Сыграть Ленина с ходу, с налету нельзя. Необходима серьезная подготовительная работа, изучение документов, воспоминаний, хроники тех лет. До начала съемок я ездил в Музей Ленина, в Институт марксизма-ленинизма, встречался со старыми большевиками, знавшими Ленина, рылся в книгах. Свои заметки я заносил в толстую общую тетрадь. Это был очень интересный и полезный процесс. Играть современников — одно, историческую же личность — совсем другое. Один и тот же факт (и поведение человека тоже) можно трактовать по-разному, но, если воспоминания правдивы, они держат твою игру под контролем. Повышается ответственность.
Я открыл для себя нового Ленина. Не скульптурного, не плакатного, а живого. Я исписал целую тетрадь своими соображениями. Но мои заметки так и остались невостребованными. Донской обещал посидеть со мной на досуге, но дни бежали за днями, одна сцена следовала за другой, а никому до моих записей дела не было. Поэтому новый Ленин «метался» внутри меня, не находя себе места на экране. Донской строил образ соответственно сценарию и известным клише, и там не было места расчесыванию тела в кровь, злобе и зависти — всем тем мелким ленинским черточкам и качествам, которые будоражили мое воображение. Донской, как известно, художник эмоциональный, поэтому акцентировал свое внимание на трогательной судьбе Марии Николаевны — матери шестерых детей.
При такой концепции образ Ленина, конечно, получался вполне хрестоматийным.
Со свойственным мне упрямством я пытался усложнить образ, добавляя, где возможно, черты, редкие для киноленинианы, такие, как обидчивость, резкость, эгоизм Ленина, но монтажные ножницы отсекли сомнительные достоинства вождя и благополучно довели картину до Государственной премии.
Нельзя не отдать должное таланту Донского, который, создавая фильм в условиях партийного надзора, сумел прославить скорее мать гения, чем его самого. Некоторые моменты в фильме волнуют и остаются в памяти.
Чтобы легче было представить изыски тогдашней цензуры, приведу небольшой пример.
Во время съемок на площадке находилась группа, снимавшая документальный фильм о Марке Донском. Глазок камеры заглядывал и в гримерную комнату, и в монтажную, и в павильон — всюду. Фильм назывался «Здравствуйте, Марк Семенович!» и был вполне заурядной документальной лентой. Фильм показывали по Центральному телевидению. Михаил Андреевич Суслов, тогдашний идеолог КПСС, включил телевизор где-то посредине и сначала не понял, что происходит, а когда понял, страшно разгневался.
— Что это вы показываете? — спросил он руководство Госкомитета по телевидению и радиовещанию. — Какой-то старый еврей похлопывает Ленина по плечу и указывает: «Пойдешь туда, скажешь сюда, а потом вернешься и сядешь!» Что это такое?
— Это без меня... Я даже не знаю, что это... Это по первой программе? — старался выкрутиться председатель Госкомитета.
— Куда вас занесло? — продолжал Суслов. — Показывать, как Ленину наклеивают усы, бороду, как промокают лысину? Вы что, думаете, вам сойдет? Это профанация! Это безобразие!
Фильм прервали на половине. В ту же ночь полетело все руководство ТВ, ответственное за выпуск «Марка Семеновича». Новому начальству впредь категорически запрещено было показывать на экране работу

скульпторов, создающих образ Ильича (чтоб народ не видел, как сверлят ленинскую ноздрю), работу художников, малюющих щеки вождя, создавать сомнительные документальные фильмы, разглаголь-ствовать о Ленине. Всесоюзное общество «Знание» вообще прекратило выступления артистов, игравших Ленина (чтобы они не толковали о гриме или, что еще хуже, о «неизвестном» Ленине).
— Нельзя разрушать магию образа! — на разные голоса галдели правоверные. — Когда народ смотрит фильм о Ленине, он должен верить, что перед ним живой Владимир Ильич! Народу незачем знать о наклейках, париках и искусственных усах. А тех, кто распростраНяет вымыслы о любовной связи Ленина с Инессой Арманд, или о его наследственном сифилисе, или о еврейском происхождении (с материнской стороны), — тех следует в тюрьму сажать! .
Марк Семенович не ожидал такого поворота событий. В фильме была отражена руководящая роль режиссера на съемочной площадке — ничего больше. Обычная, если разобраться, вещь: режиссер репетирует, дает указания актеру. Но Марк Семенович не учел, кому он дает указания. Если бы я не был загримирован — другое дело. Но поучать Ленина? Командовать им?
Марк Семенович так был напуган происходящим, что даже захворал. Но его не тронули. Обошлось. Хотя во времена не столь отдаленные он мог бы здорово поплатиться за бесцеремонное отношение к вождю.
Марк Донской был забавным человеком. В первый же день знакомства он показал мне несколько монографий о себе.
— Они пишут, что я великий! — скромно произнес Донской. — Последний из оставшихся в живых!
Одна из монографий, французская, называлась «Маленький еврей из Одессы».
— Французы меня любят, — сказал Марк Семенович. — А американцы — так те вообще открыли второй фронт после «Радуги». Выходили из кинотеатра — и прямо на фронт. Ты знаешь, конечно, о моей переписке с Рузвельтом?
— Я слышал, — кивнул я. Хотя знал, что никакой переписки не было, известна лишь короткая телеграмма^ сообщающая, что «Радугу» Донского показывали американским солдатам.
— Когда будет время, расскажу. Очень интересная переписка.
Донской легко отвлекался на разговор о себе, но не любил
задерживаться на других именах. Великим, после Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко, разумеется, был лишь он один.
— Кого у вас там, во ВГИКе, изучают? Пырьева, наверное?
— Нет, Марк Семенович. Показывали ваши «Детство», «Радугу», «Сельскую учительницу».
— Ты знаешь, что итальянский неореализм начался с «Детства»?
— Конечно!
— Росселини это сказал, — продолжал Донской, — да и все неореалисты так считают.
Мне захотелось польстить старику, и я соврал:
— Я где-то читал, что Ингмар Бергман тоже вас любит.
— Где это ты читал, Каздалевский? Теперь пишут только про Юткевича да про Герасимова. Но это правда. В прошлом году я летал в Стокгольм. Бергман встретил меня у трапа самолета, обнял и сказал, что он многому научился на моих фильмах. «Деточка, — сказал я ему, — я ведь тоже у тебя многому научился!»
Несмотря на то что Донской был Героем Социалистического Труда, лауреатом Сталинских премий и народным артистом СССР, многие из наших кинодеятелей относились к нему без должного уважения, снисходительно, некоторые даже считали его «городским сумасшедшим». Донской не обижался, и я до сих пор не знаю, чем объяснить его необычное поведение: врожденной сумасшедшинкой или же продуманной игрой в гения человека неординарного и непредсказуемого.
Донской дружил с композитором Никитой Богословским. Однажды после съемок он заехал к Богословскому поужинать.
— Как идут съемки? — спросил композитор.
— Плохо! — сказал Донской и с отчаяньем опустил голову в стоявшую перед ним тарелку с супом. Ирина Борисовна бросилась обтирать лицо мужа, точно он был грудное дитя.
Как-то мы ехали в «Красной стреле». Сбросив рубашку и оставшись в одной лишь майке, Донской выскочил в коридорный проход и стал прыгать там и делать боксерские выпады, как на ринге.
— Я был чемпионом! — кричал он. — В весе мухи! Я могу и молодому скулу свернуть. Ну-ка!
— Маркуша! — позвала мужа Ирина Борисовна. — Иди в купе.
Марк Семенович в свои шестьдесят семь был в прекрасной физической форме.
Что же касается творческой формы, то это особый рассказ.
Смело могу утверждать, что именно Донской заразил меня новой профессией. Работая с ним, я за два года открыл «кухню» режиссуры и увлекся ее возможностями.
— Фильм рождается трижды, — не раз говорил Донской. — Первый раз, когда пишется сценарий. Второй — во время съемок. И третий — в монтажной комнате.
Я мог убедиться в том, что это так, на одной из первых же сцен.
«Узнав о казни старшего брата, — говорилось в сценарии, — Володя со слезами на глазах побежал к Волге, на откос, где не раз бывал с Сашей, и долго стоял там и плакал».
Для бумаги этого было вполне достаточно. Но съемки требовали большего.
Прибыли на откос. Приготовились снимать. Погода — загляденье! Сказка! Но Донской, глядя на

безоблачное небо, отменил съемку и распустил группу.
— Марк Семенович! — возмутился Рималис, директор фильма. — Надо снимать! За баржу ведь платим. Тратим деньги!
— Уйди, не приставай!
Я тоже подошел к Донскому:
— Марк Семенович, я с пяти утра на гриме. Почему отменили?
— Ты тоже, как вижу, дурак! — взрывается Донской. — Я не буду снимать без облаков.
— В сценарии про это ничего нет.
— А в фильме будет! Ты что думал? Достаточно выдавить из тебя слезу — и сцена готова? Надо, чтобы не только ты, Каздалевский, но и зритель прочувствовал момент. Послушай: ты стоишь над обрывом, спиной к нам. Ветер треплет твои волосы. И низко-низко, прямо над головой, несутся мрачные тучи. Тучи сделают свое дело, будь уверен!
Обидевшись, отхожу от сумасбродного режиссера. Через два дня на горизонте наконец появились облачка, оператор затемнил их фильтром, я вышел на косогор и заплакал.
Только когда я увидел эту сцену на экране, я понял Донского. Он добивался соответствия внутреннего состояния героя и окружающей его природы. То был трагический момент не только для Володи Ульянова, но и для всей России. Вид безрадостных волжских далей, реки, по которой уныло тянулась баржа, давал иное измерение, иной масштаб событий, какого не было бы при ясной, солнечной погоде.
В монтажной, где Донской в третий раз принимал роды (после сценария и съемок), царило крайнее возбуждение. Донской то и дело вскакивал из-за стола, расхаживал по коридору, обвешанный кусками пленки, напевал или делал боксерские выпады, потом так же внезапно возвращался и давал указания монтажеру. Мне было интересно проводить время в монтажной и наблюдать, как склеиваются разрозненные куски пленки и рождается что-то новое и неожиданное.
— Я еще поставлю ветер, — потирая руки, говорил Донской, — добавлю арестантскую песню, ее подхватит оркестр — и ты увидишь, какая это будет сцена! Режиссер должен не только видеть будущий фильм, но и слышать его, понимаешь, Каздалевский?
К «Каздалевскому» я привык: Донской применял эту фамилию ко всем. Это было у него вместо «дуралей».
— Слышать фильм? — переспросил я. — Как это?
— Завтра мы снимаем обыск в квартире Ульяновых. Так вот, я придумал, что из комнаты все время доносятся диссонирующие звуки: Трринь... Бо-ом... Тум-тум... Весь эпизод эти звуки будут бить по нервам, пока не откроется, в чем дело: ведется тщательный досмотр пианино. Неприятный процесс обыска подчеркивается неприятным, раздражающим звуком. Понимаешь теперь?
— Да, понимаю... — сказал я и вдруг вспомнил о другом. — Марк Семенович, а какой дубль вы взяли из вчерашней сцены?
— Третий.
— Почему третий? — расстроился я. — Я же лучше сыграл в первом!
— В первом? Сейчас посмотрим.
Я был уверен, что Донской сравнит дубли на экране. Но Донской сдернул с себя одну из пленок и, растягивая ее на груди, стал отмерять метры, как мерили в старые времена мануфактуру.
— ...три, четыре. Четыре метра. Теперь посмотрим третий дубль. — Донской размашистым жестом дважды откинул руку с пленкой. — Два метра. Третий дубль вдвое короче, значит — лучше. Несомненно!
Я готов был треснуть Донского по его глупой башке: неужели достоинства кадра лишь в его длине?
Но со временем я понял, что, кроме игры артиста, в фильме есть такие важные вещи, как ритм, темп, что паузы могут утомлять, что в конце третьей четверти фильма нужен неожиданный поворот, сюрприз, встряска, иначе публика может уснуть. Талант артиста — это хорошо, но далеко, далеко не все.
Иногда Донской бывал груб. Так было во время одной из сцен, когда я оговорился и прервал съемку.
— Кто сказал «стоп»?! — заорал Донской.
— Я сказал. Я забыл текст, — объяснил я.
— Забыл текст — продолжай махать руками. Потом озвучим!
— Как это? Я не марионетка, Марк Семенович.
— Не марионетка? Так слушай, что тебе говорят! Мне важно показать Ленина возбужденным.
Я возмутился:
— Я не буду махать руками!
Сказав это, я хлопнул дверью и ушел со съемок. Ирина Борисовна побежала следом:
— Не обижайся на Донского. Он знает, что делает.
— Я тоже знаю.
— Да, но только то, что относится к твоей роли. А Донской режиссер. Понимаешь разницу? Когда он снимал «Детство», роль бабушки играла Массалитинова.
— Знаю...
— Она была великая актриса. На сцене. В кино же снималась впервые. Никакого уважения к кинокамере. Так вот, Донской ей говорит: «Когда вы произносите монолог, не уходите дальше этой линии». А она отвечает: «Не указывай мне, милок, как играть. Я уж пятьдесят лет на сцене!» И стала иг-
рать, забыв о разметке на полу. Донской промолчал. А потом пригласил ее посмотреть отснятый материал.

Массалитинова увидела на экране только свое плечо. Вся ее великолепная игра осталась за кадром. «А где ж я? — удивилась актриса. — Нельзя экран подвинуть? Я во-он там, за печкой...»
Ирина Борисовна была чудесный человек и умела сглаживать углы. К концу второго года работы я стал лучше понимать Донского, меньше ершился и больше слушал.
Продолжая рассказ о творческих приемах Донского, должен особо отметить его заботу о переходах между сценами.
— Я уверен, что Райзману скучно сидеть в монтажной, — рассуждал Донской. — Его режиссура сводится к простому сюжетному изложению. Форма его не интересует. Закончилась одна сцена, начинается другая. Он склеивает кадры, но, помимо этого, не извлекает ничего. Он актерский режиссер...
В моем понимании игра артистов у Райзмана была на голову выше, чем у Донского. Но что-то в его рассуждениях показалось мне интересным.
— Сравни сам, — продолжал Донской. — У меня в «Фоме Гордееве» есть один переход. Помнишь, отец легонько подталкивает сына и говорит: «Иди!»? Мальчик выходит из кадра, а в следующем кадре он входит, уже тридцатилетний. Что придумал бы Райзман? Райзман написал бы: «Прошло 20 лет», и все. А я нашел переход. Что лучше, Каздалевский?
Трудно сказать. Можно и так, можно и по-другому. Но в версии Донского меня подкупала ее кинематографичность, выразительность. К тому времени я уже начал ухватывать, что язык кино — это особый язык, не поддающийся описанию, многозначный и емкий. В нем сходятся, сливаются разновеликие элементы: сюжет, игра артистов, место съемки, движение камеры, монтаж, музыка и многое другое.
Когда я увлекался рисованием, я часто проводил время с художниками, наблюдая, как они работают. Более загадочного и мистического процесса, нежели работа живописца, трудно найти. Каждое действие художника, каждый мазок, каждый миг его творчества рождает во мне массу вопросов.
Художник выдавливает на палитру краски (сколько, какие именно?). Перед художником — натянутый холст (какого раз-
мера?). Художник выбирает кисточку (какую и почему?), начинает смешивать краски (какие и для чего?). Кладет первый мазок (вверху ли холста, справа ли, внизу?). Вопросы множатся, а ответов нет. Но вот художник объясняет свои действия — почему, что и как, и ты начинаешь понимать. Ну что ж, кажется, теперь всё ясно. Бери палитру в руки и начинай творить. Берешь, смешиваешь краски и...
И вот тут-то тебе открывается, что есть еще одна тайна, самая глубокая и непостижимая: это тайна творчества. Профессиональные навыки у всех одни и те же. Краски одни и те же, кисти те же. Но почему-то один художник становится великим, а другой посредственностью. Почему?
Ты можешь слушать лекции, иметь тонкий вкус, быть близким другом Сальвадора Дали или Пикассо, но при этом никогда не подняться на их уровень. Точно так же, как безденежье, голод и отрезанное ухо не могут сделать тебя Ван Гогом.
В любой области художник руководствуется интуицией. Именно интуиция совершает прорыв в неизвестное, нащупывая некую истину. Когда я читаю лермонтовские строки «Выхожу один я на дорогу...», то не могу сдержать слез, горло перехватывает и я не понимаю, что со мной. То же необъяснимое волнение охватывает меня и от поэзии Ахматовой. Сколько бы я ни читал Уитмена, Лермонтова или Ахматову, меня волнуют не слова, а нечто иное, что-то, что прячется за ними. Меня потрясает тот самый «ржавый веночек», который таится в глубине зрачка и говорит мне о старости, давней любви, запоздавших почестях.
Донской большей частью полагался на свою интуицию. Он не додумывал до конца, а бросался туда, где, ему казалось, заложена скрытая суть вещей.
— У человека есть два локатора, — любил говорить Донской. — Один локатор здесь (Донской ударял себя по лбу), а другой — здесь (его рука ложилась на сердце). Оба эти локатора важны, но художник в первую очередь должен слушать свое сердце. Без эмоций нет фильма. Нужно уметь гневаться и ненавидеть, но и сочувствовать, не стесняясь слез.
Донской относился ко мне как к своему приемному сыну и, когда узнал о смерти моей мамы, бросил все свои дела и приехал на похороны. Этого я не забуду никогда.
В тот год я снимался в фильме «Пароль не нужен» по Юлиану Семенову. Играл разведчика Исаева.
— Ты когда улетаешь? — спросила меня ассистент режиссера.
Мы находились в экспедиции во Владивостоке.
— Почему ты спрашиваешь? — насторожился я.
— Тебе пришла телеграмма.
— Телеграмма? Из больницы?
— Радик, — ассистент понизила голос, — телеграмма лежит у Натана. Только это между нами, ладно?
Я бросился к директору фильма Натану Гофману.
— Ей плохо? — спросил я.
— Кому плохо? — Гофман сделал удивленное лицо. — Вы о чем?
— Я слышал, у вас лежит телеграмма. Мама умирает? Да? Что там написано?
Гофман вздохнул:
— Ах, вы об этой телеграмме? Я вообще-то точно не знаю...
Он знал точно и определенно: мне следовало лететь в Москву. «Родион, — сообщалось в телеграмме, — мама при смерти. Немедленно вылетайте». Гофман знал телеграмму назубок, но какому директору хочется

ломать съемочный график?
То был конец октября 1966 года. Из-за непогоды самолет задержали сначала в Хабаровске, затем в Свердловске. Так что вместо одиннадцати часов я летел в Москву двое суток.
Небритый, осунувшийся, я бежал по коридорам больницы, еще не зная, застану ли маму живой.
Она была без сознания.
— Мама, — прошептал я, — я прилетел. Я здесь. Слышишь?
Никакого ответа.
— Она слышит вас, — сказала медсестра. — У нее просто не осталось сил...
— Мама... мамочка... все теперь будет хорошо... я с тобой. Слышишь?
Я сжимал пылающую, опухшую руку мамы и не знал, что делать.
Последний год мама жила у меня, на проспекте Мира. Я показывал ее докторам-светилам, возил к знахарям и целителям, поил серебряной водой, заваривал чай из чаги, давал мумиё и корешки элеутерококка. Но болезнь прогрессировала, и ничто уже не могло ее спасти. Я держал маму за руку, шептал какие-то слова, приблизившись к бескровному лицу, но мама угасала с каждой секундой. Она уходила от меня.
Я провел у постели мамы четырнадцать часов, боясь пропустить последний миг ее жизни.
— Я сделаю укол, — сказала медсестра, — чтобы она очнулась. Пусть хоть напоследок увидит вас. Вообще-то нам не разрешают, но...
Медсестра сделала укол. Через минуту мама разлепила веки. Скосила взгляд в мою сторону. Шевельнула губами, стараясь что-то сказать.
— Мамочка... что?.. Что ты сказала?
Я смог различить лишь два коротких звука, два коротких, одинаковых звука. Что это было? Что она хотела сказать? И вдруг меня пронзило.
— «Мама»? — переспросил я. — Ты позвала маму? Да? Уголки ее губ слегка дрогнули.
Дыхание стало прерывистым.
С последним дыханием мама повернула голову ко мне. На лице ее застыл горький, тяжкий и безмерный УКОР!
Все было кончено.
До сих пор я не знаю, кого она так горько упрекала перед смертью. Меня ли за то, что я летел к ней так долго? Или же сердилась на свою маму, совершенно забывшую о ней? (Как объяснила мне потом бабушка, она не приезжала потому, что нянчила внуков.) Или же укор этот относился ко всей маминой жизни — такой короткой и такой несправедливой?
Мама умерла 30 октября в половине третьего ночи. Ей было сорок четыре года.
Утром пошел снег, первый снег в этом году. Я возвращался из больницы пешком. Снег падал крупными пушистыми хлопьями и расстилался передо мной нежным и чистым ковром. По мере приближения к дому я стал испытывать чувство некоторого облегчения и даже бодрости. Мне показалось это странным.

Впрочем, мне было двадцать два. Я еще ничего не сделал из того, о чем мечтал: не сыграл Гамлета и Обломова, не вкусил супружеской жизни, не был в Соединенных Штатах, не управлял яхтой и не играл в гольф. Я был еще новичком в мире.
«Что ж, — рассуждал я, оставляя на снегу следы, — смерть мамы — это свершившийся факт. Но разве смерть ставит точку на всем, что человек делает, о чем мечтает и на что надеется? Разве дети не становятся продолжением жизни?»
Мне припомнилось, каким счастьем для больной мамы было то, что я играл Ленина. Она была обессилена химиотерапией и облучением, и врачи отмерили ей «от силы три месяца», а она продержалась целый год — для того только, чтобы дождаться выхода фильма на экран. Моим талантом она гордилась. С каждой новой ролью, с каждой моей наградой мама как бы поднималась к заветной вершине. «А если это так, — думал я, — то смерти нет, не надо отчаиваться. Надо продолжать работать. А если потребуется, то и учиться дальше.
Учиться? — спросил я себя. — Ты вздумал снова учиться?»
Мне вдруг пришло в голову, что есть более высокая ступень, на которую следует подняться.
— А почему бы и нет?
Я глотнул свежего воздуха и прибавил шаг.
Над Яузой занимался рассвет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
К тому времени я уже был увлечен режиссурой — новой и в моем понимании более совершенной профессией, нежели актерская. Вот как я рассуждал тогда.
Актер, даже великий актер, как он ни старайся, все же ограничен рамками своей внешности. Перевоплощение — это прекрасно, но в кино мало кто заботится о профессиональном росте артиста и не дает ролей «наоборот». Если режиссеру нужен актер типа Бориса Андреева, он и приглашает такого, а не просит Иннокентия Смоктуновского прикинуться Андреевым.
Кроме того, я мечтал ставить свои фильмы, а не играть в чужих. Это не значит, что, став режиссером, я

хотел быть «сам себе командир» и играть в своих же фильмах. Мне было достаточно предложений от других режиссеров. Просто я стал ощущать недостаточность актерской миссии: в кино актер отвечает за часть, но не за целое.
И еще я любил фантазировать, а режиссура — это большей частью фантазия, она требует развитого воображения, позволяющего увидеть фильм еще до съемок.
В общем, я решил снова учиться. И поступил во ВГИК на режиссерский факультет, в мастерскую Игоря Таланкина.
Однако, прежде чем окончательно проститься с актерской профессией, расскажу немного о своем актерском житье-бытье.
Актер, как известно, притворщик. Не испытывая радости, он может притвориться счастливым человеком. А выиграв в лотерею целое состояние, заставляет себя страдать. Такова профессия. Но несмотря на искусственность эмоций, образ, созданный хорошим актером, остается в памяти как живой и неподдельный. И тогда зрителю кажется, что персонаж и артист — это одно лицо. Я помню, как реагировали случайные прохожие, встретив на улице озабоченного Сергея Мартинсона: они смеялись, не задумываясь, что творится у артиста в душе.
Инерция сыгранных ролей велика. Играешь негодяев — на тебя и в жизни смотрят как на подозрительную личность. Играешь положительных героев — к тебе и за кадром относятся с почтением. Часто бывало, что артист удачно перебарывал или оспаривал свое амплуа (Евгений Леонов, Станислав Любшин, Юрий Никулин), но бывали и осечки, когда зритель, несмотря на старания артиста, не хотел видеть его в новом качестве. Так случилось с Петром Алейниковым в роли Пушкина.
Признание публики — что может быть дороже? Но у популярности, как известно, есть и свои минусы. Однажды ночью меня разбудил звонок и грубый мужской голос спросил:
— Светка у тебя?
— Какая Светка? — не понял я. — Вы куда звоните?
— Позови ее!
— Вы ошиблись номером, — сказал я и повесил трубку. Тут же звонок.
— Ты что, сука, трубку бросаешь?! Позови Светку, я сказал!
— Послушайте...
— Я знаю, она у тебя. Я сейчас приеду и обоим вам глотки перережу! Понял, артист?!
— Я не знаю, о чем вы говорите! — сказал я. Никакой Светланы у меня не было.
— Ну хорошо, сука, я еду!
Этот парень угрожал мне несколько ночей подряд. Пришлось вооружиться ножом и поджидать его у двери. Оказалось, он недавно вышел из тюрьмы и девушка по имени Света была для него и впрямь светом в окошке. К счастью, рецидивист не знал моего точного адреса. Он рычал в трубку, плевал, рвал телефонный провод на куски, но Света к нему не возвращалась. Осторожно выведав у парня телефон этой неверной особы, я позвонил ей.
— Вы знаете такого-то? — спросил я у нее.
— Знаю. А вы кто такой? Я назвался.
— Не может быть! Правда? — захихикала Света.
— Ваш приятель думает, что вы со мной спите.
— Он сумасшедший. Не обращайте внимания! — хохотала она. — Послушайте, а вы не шутите? Вы правда Нахапетов?
— Да.
— Вот здорово! Я никак не могла отшить этого дурака. И сказала, что у меня уже кто-то есть. А он: «Кто такой? Кто такой?» А я недавно видела «Влюбленных», вот и влепила ему. Он после этого шесть раз фильм посмотрел. Ревнует страшно!
— Он грозит меня зарезать!
— Да, он такой, он может! — надрывалась от смеха Света. Я повесил трубку.
Вообще ночи на проспекте Мира были беспокойные. Девочкам с междугородной телефонной станции стал известен мой телефон. Глубокой ночью от нечего делать они стали названивать мне. Из трубки доносились их смешки, прерывистое дыхание, потом почти всегда одно и то же:
— А что вы сейчас делаете? »
— Сплю! — резко отвечал я и швырял трубку на рычаг.
— Зачем вы повесили трубку? Давайте поговорим.
— Я хочу спать.
— А мы хотим... — они приглушали голос, — мы хотим с вами побаловаться. В кровати. Можно?
— Я вот сейчас позвоню вашей главной...
Письма от поклонниц приходили в огромном количестве. Фотографии, признания в любви, клятвы. Убежден, что подобные письма получают все актеры, которые играют героев в фильмах о любви. У меня был целый набор таких: «Нежность», «Влюбленные», «Поздняя любовь», «Прости нас, первая любовь», «Раба любви», «Сужу тебя любовью». Можно подумать, что я ни о чем, кроме любви, не думаю и всегда готов к новым приключениям.
Быть известным, конечно, приятно, но популярность — это еще и жизнь на виду. А это подчас раздражает.

В ресторане:
— Вы не могли бы подойти к нашему столу?
— Извините, я ужинаю...
— Проникнитесь. У моей жены день рождения. Бокал шампанского — и вы свободны.
— Я не пью.
— Да будет вам. За столом:
— До дна, до дна!
— Еще рюмочку!
— Еще разок!
В метро:
— Ты уверена, что это он?
— Точно, тебе говорю!
— Я думала, он высокий. Фу... В церкви:
— Это вы?
— Я.
— Я вас не узнала: вы так потолстели. В компании:
— Хорошо зарабатываете?
— Неплохо.
— «Жигули» в день?
— Нет, конечно...
— А если меньше, на кой черт это тогда надо? В собственном доме:
— Кто такая?
— Не знаю.
— Не знаешь? А почему она глаз с тебя не сводит?
— Наверное, живого артиста не видела.
— Ври больше!
Конечно, известному человеку легче жить, нежели неизвестному. Позвонишь — ответят, постучишь — отворят. Артисты народ неглупый: они извлекают некоторую пользу из своей популярности.
С инспектором ГАИ:
— Нарушаете!
— Извините. Со съемок еду.
— Со съемок? То-то, я смотрю, знакомое лицо.
— Я такой-то.
— Ух ты! А я только недавно ваш фильм видел! В магазине:
— Всё, граждане, очередь не занимайте, больше нету.
— Извините, не узнаёте меня?
— Лена! Лен! Смотри, тут артист! Вам что надо?
— А вот то самое, что кончилось.
— Конечно! Лена, отпусти ему. На студии:
— За роль вам причитается пятьдесят тысяч.
— Всего? До свиданья.
— Подождите, куда вы? Сколько же вы хотите?
Подобных сцен множество. Однако, вспоминая былое, я все же никак не могу ответить определенно: благополучно ли я прошел так называемое испытание «огнем, водой и медными трубами»? Житейские трудности, травмы и потери закалили мою душу, несомненно. Но вот испытание медными трубами, прославляющими и возвеличивающими, — не очерствили ли они мое сердце, не затуманили ли взор, не сбили ли с пути? Это еще вопрос.
С ранних лет я знал, что известность артиста недолговечна. Артист — не Толстой и не Мопассан. Не Моцарт и не Чайковский. Он — лицедей. Его помнят, пока идут спектакли с его участием или фильмы. С годами образ его стирается в памяти, с трудом припоминаешь его роли, а потом и вовсе забываешь. Даже на моем веку некоторые славные имена канули в Лету. Увы! Артист — это бабочка, завораживающая тебя великолепной расцветкой. Любуйся ею, пока она жива.
Так рассуждая, я и приплыл к незнакомым берегам, к границам новой профессии. В режиссуре я еще не знал славы и вполне мог оказаться последним среди последних. Я был никто. Возможно, что именно эта трезвая самооценка и уберегла меня от упоения собой и своими ярко-пестрыми крылышками.
Нужно было начинать все сначала.
Отучившись два года и сняв две учебные работы, я решил, что могу уже снять полнометражный фильм. Но какой? После года скитаний с повестью Радия Кушнеровича «Большак» и обиваний студийных порогов я зацепился на «Мосфильме».
Там мне предложили сценарий под названием «Степанида Базырина», который рассказывал о веселой девушке Стеше и одиноком хуторянине Федоре, об их необычной любви (Федор умыкнул девушку). Интимная история на фоне раскулачивания зажиточных хуторян.
Надо сказать, что именно любовный аспект истории привлек меня. Я давно уже задумывался над тем, что

случается, когда любовь связывает очень разных людей: богатого и бедную, старого и молодую, урода и красавицу и т. д.
Еще в детстве я был свидетелем непонятной драмы в маминой семье. Мамин дядя, Игнат Алексеевич Моисеенко (Игнат Простой), был писателем, дружил с Михаилом Светловым и подавал большие надежды. Но вот он встретил деревенскую красавицу, влюбился в нее, уехал в деревню, народил с ней много детей и полностью забросил литературную деятельность.
— Несчастный Игнат! — вздыхала моя бабушка (его сестра).
— Несчастный Игнат Алексеевич! — горевали бывшие друзья.
— Несчастный дядя! — жалела мама.
Мне было семь лет, и, слыша все эти сочувственные вздохи, я представлял себе убитого горем «несчастного» дедушку, худого как скелет, из которого красавица «выпила все соки».
Каково же было мое удивление, когда я увидел дедушку Игната улыбающимся и довольным жизнью. Я гостил у дедушки все лето, постоянно видел его светящееся счастьем лицо и не понимал, почему его все так жалели. Я спросил потом у мамы:
— Почему ты говоришь, что он несчастный?
— Да потому, что он потерял себя.
— Как это?
— Он опустился до ее уровня. Даже читать перестал. Для талантливого, образованного человека, каким он был, это большой шаг назад.
— А почему тогда он все время улыбается?
— Не знаю. Счастлив, наверное, вот и улыбается. До человека не все доходит сразу.
«Степанида Базырина» легла на мою душу легко и просто, как будто это была история о моем несчастном дедушке. К парадоксу «счастливого несчастного человека» можно относиться по-разному: можно выбросить одно из определений или поменять их местами, а можно забраться внутрь истории и снять об этом фильм. Я пришел к убеждению, что последнее имеет больше смысла, и снял фильм, который назывался «С тобой и без тебя» («Степанида Базырина»).
Снимать чисто деревенскую историю мне, городскому человеку, было скучно, поэтому я утвердил на главные роли «неподходящих» городских актеров — Марину Неёлову и Юозаса Будрайтиса. Если литовец Будрайтис, которого я знал по совместной работе в фильме «Это сладкое слово — свобода!», в какой-то мере мог проникнуться хуторской темой (в Литве много хуторов), то ленинградка Неёлова была далека от нашей истории, как южная птичка колибри от северных березок. Но фокус именно в том и заключался, что с Неёловой и Будрайтисом мне стало интересно фантазировать, фильм переставал быть для меня чисто социальной драмой о коллективизации.
Хрупкая, небольшого роста Неёлова в роли Стеши казалась мне более оригинальным решением, нежели краснощекие ядреные бабенки (по сценарию Стеша была сродни кустодиев-ским красавицам). Актерская манера молодой артистки была чрезвычайно современной («Монолог» Авербаха) и очень мне нравилась.
Юлий Райзман, бывший художественным руководителем объединения, увидев пробы с Неёловой, страшно возмутился.
— Послушайте, — сжав тонкие, как лезвия, губы, сказал Юлий Яковлевич, — эта ваша актриса плоха. Поверьте моему вкусу. Никто такую умыкать не станет. У актрисы должны быть изящные губы и маленький рот, а у этой Неёловой — губищи, неприятно смотреть.
— Я знаю, вы мастер подбирать актрис на главные роли, — сказал я, — но это мой фильм. И я настаиваю на кандидатуре, которая мне нравится.
— Она может вам нравиться в жизни, это ваше дело, но у экрана свои законы.
— Я настаиваю на Неёловой.
— А я не утверждаю. Категорически. Снимайте кого-то другого.
— Я буду снимать, кого хочу.
— Послушайте, Родион, — едва сдерживаясь, сказал Райзман, — я руководитель объединения!
— А я — режиссер.
— Безобразие! — закричал Райзман. — Вы считаете, что вам никто не нужен? Ни редактор, ни худрук, ни художественный совет?!
— Да, мне никто не нужен.
Райзман резко встал, отшвырнул кресло и вышел из своего кабинета, хлопнув дверью.
Наступила долгая пауза. В кабинете остались сотрудники Райзмана, редакторы объединения и часть моей съемочной группы.
Оглядев растерянных помощников, я вздохнул:
— Ну что ж, пойдемте работать.
Признаться, я и сам не ожидал, что восстану против столь высокого авторитета. Но моя горячность объяснялась тем, что, потеряв Неёлову, я вынужден был бы снимать чужой фильм, фильм, который претил моему вкусу. Я не мог себе этого позволить. Мне следовало утвердить себя в качестве режиссера — хорошего режиссера, поэтому подчиняться чужой воле, особенно в выборе основных исполнителей, казалось недопустимым.

Пришло время рассказать о моем самом дорогом и верном друге на «Мосфильме», редакторе Нине Николаевне Глаголевой (не путать с Верой Глаголевой, однофамилицей). Средних лет симпатичная женщина, очень энергичная и умная, она понравилась мне сразу. Ее комсомольское прошлое оставило в ней задор молодости и энтузиазм — качества, напоминавшие мне маму. Будучи главным редактором объединения, Нина Николаевна стала редактором фильма «С тобой и без тебя».
Под конец своей карьеры Глаголева заняла должность заместителя главного редактора студии, но оставалась при этом моим другом, добрым и чутким наставником. За что бы я ни брался, первым человеком, к которому я шел за советом, была она. У нас бывали разногласия и непонимание, но они всегда мирно разрешались. Если ей не удавалось убедить, она умела уступать и не давила больше.
— Я покажу пробы Сизову! — сказала Глаголева после моего скандала с Райзманом. — Он поймет нас правильно.
Глаголева полностью поддерживала кандидатуру Неёловой, но спорить с худруком не решалась. Она считала, что лучше обойти Райзмана и попросить поддержки у высокой инстанции (Сизов был директором «Мосфильма»).
Через час Нина Николаевна вернулась и радостно сообщила:
— Родик! Снимай свою Неёлову. Сизов утвердил.
— Правда? Как это было?
— Поначалу хмурился, а когда закончился просмотр, то спросил: «Ну и что за вопрос?» Я сказала, что у Райзмана серьезные возражения. Он считает, что такая хрупкая, субтильная девушка, как Неёлова, не может вести большое хозяйство. Про губы и большой рот я, конечно, не сказала. «Почему не может? — мрачно возразил Сизов. — Моя мать была маленькая и худая, а выходила четверых детей в голодные годы». Представляешь, как здорово, что Сизову она понравилась?
— Повезло, что у него мама была щупленькая, а то бы...
— Мы, Родик, будем показывать отснятый материал прямо Сизову, раз Юлий Яковлевич отмахнулся.
Райзман не отмахнулся, он потребовал первый же отснятый материал. Потом посмотрел следующую сцену с Неёловой, и еще одну. А потом остановил меня в коридоре «Мосфильма» и извинился.
— Я был не прав с Неёловой. Она у вас хорошо играет. Зайдите ко мне, поговорим.
Я был тронут. Авторитет Райзмана в моем понимании только выиграл оттого, что он признал свою ошибку. Убежденность в собственной непререкаемости говорит об омертвении души, о старости. А Райзман, хоть и был «по паспорту» пожилым человеком, в старика не превратился. После этого инцидента мы подружились с Юлием Яковлевичем, и я сделал в его объединении еще два фильма.
Неёлова и правда великолепно играла. Секрет ее успеха заключался в том, что она жила на экране. Ни фальши, ни равнодушия в ее игре не было.
Маленькая Неёлова была намного ниже Будрайтиса (едва доходила ему до плеча), но, обладая огромной природной энергией и талантом, крутила Будрайтисом, как хотела. Будрайтис же деликатно уступал ей, играя этакого застенчивого увальня. Прекрасный дуэт! Неёлова находила литовского артиста забавным, и мне доставляло удовольствие провоцировать их обоих перед камерой.
Вот обозленный Будрайтис хватает вожжи и замахивается на жену. А я вместо команды «Бей!» говорю:
— Обними ее!
Это неожиданно. Мы так не договаривались. Я готовил Будрайтиса к тому, чтобы он хлестнул жену вожжами. Но обнять? Будрайтис замирает, замахнувшись. Я вижу, как внутри артиста что-то переворачивается, как будто он затормозил на полном ходу. Как раз то, что нужно! Растерянный вид артиста соответствует состоянию героя, потерявшего разум, но вовремя спохватившегося.
Не успевает Будрайтис осмыслить ситуацию, как я даю команду Неёловой:
— Убегай.
Неёлова срывается с места и выбегает из кадра, хотя у нее еще был текст.
Я доволен. В недоигранности я вижу живость процесса. Ведь и в реальной жизни все текуче, переливается из одного в
другое. Нет ведь ни занавеса, ни аплодисментов. Не успеваешь порой и фразу-то договорить, глядь — а человека уже нет.
Другая сцена: Будрайтис, насильно умыкнувший Неёлову на свой хутор, подступает к ней, готовясь признаться в любви.
— Влепи ему пощечину! — выкрикиваю. Этого не было в сценарии, не было и на репетиции.
Не задумываясь, как и следует артисту, Неёлова смазывает Будрайтиса по щеке. И — в испуге прикрывает лицо рукой, потом, подняв глаза, смущенно улыбается. Будрайтис, справившись с шоком, приступает к своему любовному монологу.
Конечно, артисты репетируют, учат текст, но кое-какие сюрпризы я приберегаю для съемок. Мне всегда нравилось импровизировать. Импровизация хороша, но возможна она лишь тогда, когда актер полностью отдается роли, когда для него не существует команды «стоп» и он еще весь в образе. С такими актерами, как Будрайтис и Неёлова, импровизация плодотворна, и я часто продлевал кадр, с тем чтобы выудить нечто неожиданное, незапрограммированное, свежее.
Профессионализм — великая вещь. Он ведь не только в постоянной готовности к съемкам, в заучивании текста, в ограничениях, пунктуальности и так далее. Он еще и в способности артиста приспосабливаться к

трудным обстоятельствам съемок, не снижая при этом качества игры. Вот небольшой пример.
Декорация избы была выстроена так, что окна в ней оказались ниже обычного (мы собирались снимать дом лишь снаружи). Когда же решили снимать внутри, получилось нелепо. Пришлось просить Неёлову и Будрайтиса сыграть всю сцену на коленях (зритель, конечно, этого не знал). Непросто было артистам передвигаться на коленях по неровному полу, да еще как бы пританцовывая и веселясь, но ведь сыграли, даже и виду не подав, как им неудобно и больно (Будрайтис занозил ногу).
И еще пример. Была у нас сцена, когда обнаженные муж и жена (Будрайтис и Неёлова) парились в крохотной баньке. Неёлова наотрез отказалась. Пришлось найти замену. Начали снимать. Неёлова придирчиво наблюдала за дублершей и была недовольна. Дублерша действовала веником вяло, но при этом выставляла вперед свои маленькие груди (у Неёловой бюст внушительней).
— Уберите ее! — не выдержала Неёлова. — Я сама!
Сказала и начала раздеваться.
И еще. Снимали сцену прощанья. Неёлова должна была обнять Будрайтиса и страстно разодрать на нем рубашку. План был крупный, и Неёловой следовало коротко остричь ногти.
— Марина, — сказал я ей, — ты понимаешь ведь, голодные годы, деревня...
— Понимаю, — ответила она, — маникюра не будет. Давайте снимать.
И она продемонстрировала мне, как это будет выглядеть: стала обнимать Будрайтиса, подогнув фаланги пальцев, кулачками. Выглядело забавно и трогательно.
— Кто видел маникюр? — спросила она.
— Никто, — засмеялся я, — никто не видел.
Взял в руки ножницы и насильно остриг Неёловой ногти. Для порядка.
Фильм «С тобой и без тебя» отправили на международный кинофестиваль в Западный Берлин. Это был первый советский фильм, направленный туда — вне конкурса. Мы (я и еще пять наших ведущих кинокритиков) поехали в Берлин в качестве наблюдателей. До 1974 года советское киноруководство не признавало Берлинский фестиваль из чисто политических соображений.
Дирекции фестиваля фильм так понравился, что нас попросили включить его в конкурсную программу, пообещав один из главных призов. Георгий Капралов (газета «Правда»), возглавлявший нашу делегацию, позвонил в Госкино. Ответ руководства был категоричный: «Нет! Никакого конкурса!»
Показали вне конкурса. Зал был полон, и реакция на фильм была превосходная. Я сидел в зале счастливый. Известный киновед и критик Ростислав Юренев, сидевший рядом, крепко сжал мою руку и сказал: «Фильм хороший. Второй раз он воспринимается много лучше! Молодец!» В прессе отметили своеобразие режиссерского стиля и актерскую игру. Режиссерский дебют состоялся.
В Брюсселе фильм был удостоен престижной премии «Золотая фемина». На Всемирном кинофоруме в Белграде Неёлова получила приз за женскую роль. Фильм торжественно открыл Фестиваль фестивалей в Сан-Франциско.
«С тобой и без тебя» — история несчастного счастливого человека — стала жить своей жизнью.
Я — своей.
Впервые я поцеловал девушку, когда учился на втором курсе института. Мне было семнадцать лет. По теперешним временам меня сочли бы сильно заторможенным. Я влюбился в эту девушку по уши. Ей было шестнадцать, и она казалась мне пределом совершенства. Я забыл о репетициях, о рояле и друзьях и носился за ней как тень. Влюбленность парализовала мою волю. Я ничего не хотел, кроме поцелуев, и сделался глупым как пень. В отличие от меня она училась в непрестижном московском училище (типа мукомольно-элеваторного), но обращалась со мной как высший по званию — властно и капризно. Я думаю, она не блистала умом, но то, что она оказалась первой девушкой в моей жизни, наделило ее романтическим ореолом и массой великих достоинств. Сегодня я не могу вспомнить даже ее имени, и всякий раз, когда вижу бродячих собак, гуськом следующих за какой-нибудь неказистой сучкой, с иронией вспоминаю свою глубокую привязанность к той, что была лучше других лишь потому, что оказалась рядом.
Под лампой вспыхнет чистый лист, Невестой белой обрядится. Приворожит тебя батист Никем не тронутой страницы.
Ты будешь первым. Тень руки...
На этом мой стихотворный опыт обрывается: я уехал к Шукшину на съемки и образ первой избранницы выветрился из моего сердца. Остались в памяти лишь эти пять строчек. Что до девушки... Ее место заняла другая. Затем третья. Я быстро нагонял упущенное и обретал опыт.
Шли годы.
И вот, после фильма «С тобой и без тебя», я приступил к новой работе. На моем столе появился сценарий под названием «На край света» (по пьесе Виктора Розова «В дороге»). Там рассказывалось об обозленном мальчишке, который бежал из дома, и все ему было нипочем, пока он не встретил девушку. В общем, это был фильм о все той же преображающей силе любви.
Розовская история тронула меня очень сильно. В кульминационный момент, когда паренек пишет девушке письмо, наде-
ясь, что оно поможет ей выздороветь, я не мог сдержать слез. Когда говорят о катарсисе, очищении, омовении души слезами, это как раз тот самый случай. Розов — замечательный драматург, он так ловко закручивает пружину повествования, что кажется, он хватает тебя за шиворот и тащит к финалу. Конфликт

истории, заключенный в неприятии молодым человеком житейской мудрости взрослых, был чрезвычайно острым. О драматических последствиях этой остроты еще пойдет речь.
Но пока — о любви.
Образ девушки-сироты, бросившейся спасать своего сводного брата, был очень важным, ключевым для фильма. Ассистенты, как положено, искали школьницу с наивными и чистыми глазами, я же мечтал о большем. Мне хотелось, чтобы героиня была наделена некоей тайной. И не только потому, что она не знала своих настоящих родителей и имени, данного ей при рождении. Меня заботил механизм воздействия одного человека на другого. Все ясно, если перед тобой красавица. Или большой авторитет. Или когда к горлу приставлен нож. Но как поверить в разительную перемену подростка, если перед ним не красавица и не мудрец? Как нелепая и смешная девчонка смогла растопить холодное сердце героя? Это был вопрос.
В тот далекий 1974 год я чувствовал себя вполне зрелым художником. И, уж конечно, зрелым мужчиной. Мне казалось, я знал жизнь. Но вот объяснить, что же мне все-таки нужно, было ох как трудно! Какая такая тайна?
— Вы лучше скажите, — говорили ассистенты, — какая девушка вам нужна: высокая или маленькая, полная или худая, блондинка или брюнетка, — и мы вам такую найдем.
— Это трудно объяснить... — пожимал я плечами. Но однажды сказал:
— Ну, вот, к примеру, эта девушка. В ней что-то есть. По коридору студии шла девушка в зеленом комбинезоне.
Что-то французское было в ее прическе. Ассистенты бросились вслед за девушкой.
— Хотите сниматься? — остановили они ее. ' — Нет, — равнодушно ответила девушка.
— Как нет?
— А так — нет.
— А что вы тогда на «Мосфильме» делаете?
- Подруга пригласила. На просмотр. А что?
— Зайдите к нам.
— Зачем? — недоверчиво спросила девушка.
— Вы что, с луны свалились? Хотите быть актрисой?
— Нет.
— Нет?!
— Нет, — уверенно повторила девушка. — Я не хочу быть актрисой. Я мастер спорта по стрельбе из лука.
Мосфильмовские ассистенты — народ настойчивый: им удалось-таки уговорить юную спортсменку прийти на фотопробы. Однако на фотографиях девушка выглядела иначе, чем в жизни.
— Нет, не то, — сказал я и забросил неудачные снимки в дальний ящик стола.
Признаться, я обратил внимание на спортсменку много раньше, чем указал на нее своим помощникам. Девушка, видимо, частенько бывала у своей подруги, потому что я видел ее на студии несколько раз. Интерес к девушке был неопределенный, смутный, и я еще не знал его природы. Мне вдруг показалось, что именно в этой девушке и скрывается та самая тайна, которую я ищу. Но фотопробы охладили мой интерес, лишний раз убедив, что я и сам не знаю, чего хочу. Имени девушки я не спрашивал. Спортсменка и спортсменка.
Тем временем шли кинопробы. На экране один артист сменялся другим, не доставляя мне радости. Но вот, наконец, появился серьезный кандидат на роль парнишки. Подобрали ему и партнершу. И вдруг осечка: накануне кинопроб партнерша заболела. Что делать?
— Может, вызвать вместо нее Глаголеву? — спросил меня второй режиссер.
— Кого-кого? — не понял я.
— Веру Глаголеву.
— Кто такая? Родственница Глаголевой? (Н. Н- Глаголева была моим редактором).
— Нет, — ответил второй режиссер, — просто однофамилица. Помните, она еще на просмотр к подруге приходила? В зеленом комбинезончике?
— А-а-а, — вздохнул я, — спортсменка? Не надо. Не вызывайте. Обойдемся без партнерши.
Но, подумав, сказал:
— Впрочем, пусть подыграет. Лучше, чем мне напрягаться.
Повторяю, в тот день я делал ставку на артиста, а не на артистку, и мне было все равно, кто будет подыгрывать главному герою, лишь бы не я.
Так Вера Глаголева впервые появилась перед камерой.
Не задумываясь, я поставил ее спиной к объективу, вручил листочек с текстом и сказал:
— Просто читай вслух. Ты не в кадре.
Я во все глаза глядел на будущего героя, надеясь увидеть что-то интересное. Но по непонятной причине парнишка зажался. Движения его стали скованными, голос охрип. Я был в отчаянии. Между тем, пока я занимался героем, Вера выучила свой текст и стала «подбрасывать» его с такой естественностью и легкостью, как будто он сию минуту рождался в ее голове. Я похвалил Веру и ввел ее в кадр — сначала бочком, а затем лицом к камере. Раскованность Веры объяснялась тем, что она мечтала о спортивной карьере, а не о кинематографической. Ей было наплевать.
Я задержал на девушке взгляд. А ведь она интереснее, чем я вначале думал. И попросил ее сыграть еще одну

сцену. Она сыграла.
— Хорошо. А если еще одну?
— Пожалуйста, — согласилась она.
— Неплохо. А что, если я тебе дам сейчас самую трудную сцену?
— Давайте.
Я рассмеялся. Мне нравилась ее уверенность, но уверенность еще не талант. Сцена была и в самом деле очень трудная. Я включил камеру, совершенно не рассчитывая на успех.
Но как только отняли хлопушку от лица актрисы, я понял, что сцена получится. На глазах у Веры были слезы. Горькие детские слезы. Что было удивительно, так это то, что, плача, Вера старалась улыбаться. Странный и трогательный эффект.
— У меня тоже так бывает, — говорила она. — Становится грустно-грустно. И кажется, никто тебе не нужен...
Когда она произнесла это «грустно-грустно», я вдруг почувствовал, что сердце мое сжалось и затрепетало. «Какой момент! — подумал я. — Я даже не подозревал. Если эта девчонка будет и в фильме так же играть, мы в полном порядке».
Я побежал к редактору.
— Нина Николаевна! — сказал я. — Все. У нас есть Сима (героиня). И знаете кто?
— Кто?
— Глаголева!
Нина Николаевна Глаголева улыбнулась:
— Ну что ж, фамилия мне нравится. А как у нее с талантом? Я потянул Нину Николаевну в зрительный зал. После просмотра и моих восторженных восклицаний по поводу юной Глаголевой Нина Николаевна хитро прищурилась и сказала:
— Мне нравится твой энтузиазм. Уж не влюбился ли ты?
— Она то, что нужно! — горячо продолжал я. — Забавная, правда? И физически развитая. Представляете, как заработает сцена у реки? Девочка плавает лучше, чем герой, поэтому он, в отместку, ерничает и подтрунивает над ней. Представляете?
— Да, Родик, представляю...
Я думаю, Нина Николаевна хорошо представляла себе не только сцену у реки, но и то, что ожидало меня, одинокого тридцатилетнего режиссера, очарованного юной актрисой. Она оказалась права. Я влюбился.
На истории, которая называлась «На край света», лежало табу, запрет. Десять лет до того, как я принялся за работу, режиссер Михаил Калатозов («Верные друзья», «Летят журавли», «Неотправленное письмо») попытался перевести розовскую пьесу на экран. Сценарий назывался тогда «А, б, в, г, д...», но Калатозову не дали его снять. Партийное руководство не могло допустить появления на экране дерзких и своевольных подростков, все подвергавших сомнению.
Но странным образом мне удалось пробить пьесу В. Розова. Видимо, сказались успех моей первой картины и относительное цензурное затишье после аксеновских «Звездных мальчиков», так раздражавших партийных идеологов. Тем не менее гроза надвигалась, а я, влюбленный и беспечный, не замечал этого. Творчески я был в прекрасной форме, фантазия работала великолепно, и душа была на подъеме. Я был убежден, что делаю свой лучший фильм.
Каждая сцена, которую играла Вера, доставляла мне наслаждение. Я смеялся, как будто это была комедия, а если наступал трогательный момент, готов был проливать слезы. Любовь к Вере обострила все органы чувств и сделала меня по-настоящему счастливым — пожалуй, впервые в жизни.
Меня умиляло в ней все: и мальчишеский азарт, когда она играла в футбол, и неуменье врать, и забавные гримасы, и сонливость на пути на съемку, и, конечно же, ее почтительное «вы» в разговоре со мной. Кстати, она избавилась от этого «выканья» лишь спустя год, когда, как у Пушкина, «пустое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила...».
Она плавала, как дельфин. И когда группа отправлялась на обед, я бросался в Днепр и, выбиваясь из сил, старался ее догнать (мы снимали в Черкассах).
У лучников, натягивающих тугую тетиву, тренированная рука, поэтому я не раз мерялся с Верой силой. Она охотно сжимала своими длинными пальцами мою короткопалую руку и изо всех сил старалась меня перебороть.
Ее молодость заражала. Я был полон сил и готов к бою.
Прошло три месяца.
Доверие ко мне со стороны «Мосфильма» дало возможность благополучно довести съемки до конца. Правда, Николаю Трофимовичу Сизову не понравился исполнитель роли Пальчикова Саша Феклистов, и он настоял на замене его более «положительным» Андреем Ростоцким. Пришлось пойти на эту жертву, иначе «Мосфильм» не дал бы мне завершить и смонтировать фильм так, как я хотел.
Нина Николаевна Глаголева, как опытный лоцман, смогла вывести фильм на последнюю прямую.
И вот первый разряд грозы.
Посреди просмотра в зале Госкино зажегся свет и мрачный зам. Ермаша Борис Павлёнок вышел из зала. Наступила мертвая тишина. Комитетские чиновники, потупив головы, разбрелись по своим кабинетам, не

проронив ни слова. Глаголева пошла разузнавать, что случилось.
— Фильм не принимают, — сказала она, вернувшись. — Павлёнок рвет и мечет. Говорит, что такая молодежь, как у Нахапетова, нам не нужна. Один из редакторов заявил, что герой — фашист. Другая сказала, что боится за своего сына-подростка. Фильм направлен против родителей. В общем, все в один голос говорят, что ты сделал что-то ужасное, недопустимое и вредное. — Глаголева перевела дух и закончила: — Надо подключать Сизова.
Сизов, в прошлом генерал милиции, выслушав нас, тут же связался по телефону с председателем Госкино СССР.
— Филипп, — по-приятельски обратился он к Ермашу, — чем там твои недовольны? Фильм хороший...
На другом конце провода с Сизовым не согласились, более того — стали «выдавать» ему за крамольное произведение. Директор студии на наших глазах заметно скисал. Не возражая больше, повесил трубку.
— Ермаш сам смотрел фильм, — глядя себе под ноги, буркнул Сизов. — Надо переделывать. Что-то они там видят...
Розов, находившийся в кабинете, вставил:
— Померещилось.
— Что? — исподлобья взглянул на драматурга Сизов.
— В журнале «Нива», — усмехнулся Виктор Сергеевич, — была когда-то такая иллюстрация: бежит девочка по темному лесу, а к ней вместо веток тянутся когти, вместо корней — страшные паучьи лапы, всякие чудовища. Под картинкой надпись: «Померещилось». Так и в Госкино. Они напуганы. Вот им и мерещится всякая чертовщина...
— Ладно, Виктор, — сказал Сизов. — Мы тебя уважаем, но шуткой тут не отделаешься. Фильм надо поправлять.
— Николай Трофимович, — вступил в разговор я, — у нас уже негатив смонтирован. Я не оставил ни одного кадрика лишнего.
— Да, — добавила Глаголева, — Родик старался.
— Вы слышали, что я сказал? — повысил голос Сизов. — Набросайте мне список поправок и сокращений, чтобы я мог утвердить их в Госкино. Понятно?
— Да, — вздохнул Розов, — пустячок: просто срежьте все розы. Куст ведь останется.
— Не ершись, Виктор, — поморщился Сизов. — Это тебе не театр.
— Да, театр лучше! — бросил уже на ходу Розов и первым вышел из кабинета.
— Не согласится Нахапетов, — строго взглянул на меня Сизов, — попросим кого-то другого.
— Нет-нет, — испугалась Глаголева. — Мы лучше сделаем сами. Правда, Родик?
Конечно, уж если что-то менять, то лучше самому. Чужой станет угождать и вырежет из фильма много больше.
Мы пошли на уступки, стараясь сделать их минимальными и малозаметными. Конечно, этого было недостаточно, и Госкомитет трижды возвращал фильм на студию. Сердце обливалось кровью, когда и без того урезанные кадры приходилось подрезать еще и еще. Тексты переозвучивались, сцены менялись местами, смещались акценты, добавлялась музыка, но фильм оставался таким же колючим и неприемлемым для руководства, как и вначале. Павлёнок был неумолим.
Я пошел к Ермашу.
— Привет, — поздоровался Ермаш. — Ты что здесь делаешь?
— Я к вам.
— Прошу. Только ненадолго.
Зайдя в кабинет, Ермаш сбросил пиджак и взглянул на часы.
— Японцы подарили, — он постучал ногтем по циферблату, — а как с ними обращаться — хрен разберешь. Сколько на твоих?
— Девять.
— Ну, выкладывай, что у тебя?
— Мы сделали поправки, о которых условились. Но я, Филипп Тимофеевич, прошу оставить сцену у церкви.
— С нищенкой? Почему? — Ермаш отхлебнул горячего чая.
— Да потому, что надо показать его опустившимся на самое дно, где даже нищенка имеет кусок хлеба, а он — Нет
— Не поможешь ли чем, сынок? — спрашивает старуха.
— Бабка, — говорит Володя, — я и сам голодный как собакА
Старуха вынимает из грязной торбы пирожок. Спустя минуту Володя подбегает к Симе и протягивает ей пирожок, который дала ему нищенка.
-— Откуда? — радостно удивляется девочка.
— Бог послал! — говорит Володя, указывая на небо. Сима пытается разломить пирожок, но он твердый как камень.
— Зубы можно сломать, — говорит Сима». Вот и вся сцена.
Ермаш допил чай и вздохнул:
— Ладно, можешь оставить. Но о другом не проси. Убрал, где он издевается над Горьким?

— Да.
— Убрал, где дерзит дяде?
— Да.
— Убрал, где он говорит о размножении?
— Все как договорились.
— Ну что ж, привози, посмотрим.
Ермаш дружелюбно пожал мне руку и выпроводил за дверь. Несмотря на сделанные поправки, фильм все же не приняли
— Не понимаю... — сказал Сизов. — Что их там так цепляет?
— Они в Володе видят врага, — объяснил Розов. — Их личного врага. Он подвергает сомнению их азбучные истины. В следующий раз я поеду на приемку фильма.
Розов поехал.
— Можно мне? — сказал Розов после просмотра.
— Ну? — насторожился В. Богомолов (не писатель, главный редактор Госкино).
— Мы согласны, фильм раздражает. Но кого раздражает? Нас с вами, то есть взрослых людей. Но ведь фильм адресован не чиновникам, а молодежи. А молодежь именно так себя и ведет, задиристо и максималистски. Не верите? У меня есть предложение. Давайте соберем молодежь, школьников, студентов и покажем им фильм. Посмотрим реакцию и тогда сделаем заключение: правдив фильм или нет.
Предложение Розова показалось наивным и неконструктивным, и фильм завернули обратно. С «рекомендацией»: «Пример использования в кино театральной пьесы, в частности драматургии В. С. Розова, оказался неплодотворным и вредным. Впредь следует избегать сомнительных пьес».
В те годы мы знали, что единственно возможный конфликт, допустимый в кино, — это конфликт хорошего с прекрасным. Настоящий же конфликт, в частности конфликт детей и отцов, бесил начальство, как красное полотнище быка.
Мои режиссерские заботы нейтрализовались актерской занятостью. Так, заканчивая свой дипломный фильм «Вино из одуванчиков» (по Р. Бредбери), я снялся у Витаутаса Жалакявичуса в фильме «Это сладкое слово — свобода!». Несмотря на главный приз Московского международного фестиваля, от этого «революционного» фильма в памяти у меня осталось лишь то, что я съездил в Южное полушарие да порвал коленную связку.
Так же между делом я сыграл режиссера в фильме Юрия Ильенко «Мечтать и жить».
Играть режиссера оказалось значительно легче, нежели быть им. Актерство — после режиссерских хлопот — казалось пустячным делом.
Иногда съемки у какого-нибудь приличного режиссера были для меня своего рода режиссерской практикой. Было чему поучиться и у Глеба Панфилова («Валентина»), и у Семена Арановича («Торпедоносцы»), и у Сергея Овчарова («Оно»). Но вернемся к тяжелым временам.
В самый разгар переделок и поправок по фильму «На край света» режиссер Никита Михалков пригласил меня попробоваться на роль Потоцкого в его «Рабе любви».
Я был удивлен, ведь фильм уже полным ходом снимался, и я знал, что режиссером там был не Никита, а Рустам Хамда-мов. Нина Николаевна разъяснила, что фильм остановлен Сизовым — по причине нарушения производственного графика и творческого непослушания Хамдамова. Режиссера заменили Михалковым.
Мне довелось посмотреть несколько эпизодов недоснятой версии Хамдамова. Трудно сказать, какой получился бы фильм, но материал был интересный. И все же я не сомневался, что Михалков сделает «Рабу любви» лучше.
Незадолго до этого в одном из зарубежных интервью меня спросили, в ком я вижу надежду нового кино, и я, не задумываясь, назвал имя Михалкова, сделавшего тогда свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Меня подкупали в нем кипучая творческая энергия и умелое владение языком кино.
Итак, Михалков предложил мне главную мужскую роль. Романтическую и эффектную.
— Ну, так согласен? — спросил Никита.
— Что ты имеешь в виду? — переспросил я. — Согласен ли я попробоваться или согласен сыграть?
— То есть? — не понял Никита.
— От этой роли ты, наверное, и сам бы не отказался, а? Никита на секунду замер, а потом рассмеялся:
— Нет, милый, ошибаешься. Я наметил себе другую роль.
Как потом признался Никита, я попал в самую точку: он и правда приберегал роль Потоцкого для себя. Но, дав мне обещание, своему слову оказался верен. Он сыграл в «Рабе любви» небольшую роль большевика.
Никита мне нравился. Доброжелательный и энергичный, он был прямой противоположностью мне. Я был издерган своей несчастной картиной, недоверчив, скрытен и туп. Но чем больше времени я проводил на съемках «Рабы любви», тем теплей становилось на душе.
В Одессу — в киноэкспедицию — я поехал с Верой. Наши отношения тогда были в самом разгаре. Я не мог расстаться с ней не то что на день — на минуту. По дороге в Одессу Никита пригласил нас в свое купе. ТАня, жена Никиты, накрыла стол. Все было очень вкусно. Удобно расположившись, мы скоротали вечер. Под конец мы с Никитой принялись болтать о кино, и я набрался так, что Вера чуть ли не насильно уволокла меня спать. Контакт с режиссером был налажен.
Накануне съемок мы всегда репетировали. Я помню цирковую гостиницу напротив колхозного рынка, где

мы жили, и большой номер режиссера в конце третьего этажа. Мы собирались там дружной актерской компанией: Лена Соловей, Саша Калягин, Олег Басилашвили и я. Мы репетировали будущие сцены — многократно и придирчиво. Тон всему задавал Никита. Он умел увлекать своими идеями и был на редкость изобретателен. Рядом с Никитой всегда находился его верный друг художник-постановщик Александр Адабашьян. Когда репетиция подходила к концу, Никита вызывал еще и оператора Павла Лебешева, чтобы показать ему готовую сцену. Договорившись, как будем снимать, мы расходились по своим номерам.

Мы гуляли с Верой по Одессе. Бродили по тихим ночным улочкам, спускались по потемкинской лестнице, выходили к морю. Иногда Вера готовила — благо в нашей гостинице была кухня. Сладкий и нежный вкус ее сырников я помню до сих нор.

Мы мечтали о будущей жизни, о ее поступлении во ВГИК. Вера очень своеобразно читала А. Блока.

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море...

В ее чтении было странное, как будто сумеречное блуждание интонаций и декадентский излом рук. Невероятно! Как могла она, современная девушка, столь точно уловить стиль и время?

— Ты поступишь, не сомневайся.

— Было бы здорово!

— Да, но... — сердце мое вдруг забилось тревожно, — ты все время будешь пропадать в институте. Репетиции, молодые ребята... Мы будем встречаться урывками, все реже и реже, пока и вовсе не расстанемся. Ты готова расстаться со мной?

Вера бросилась мне на шею:

— Нет, Радинька, нет, я не хочу идти в институт. Я не хочу, правда.

Я был тронут.

Однако, трезво поразмыслив, я снова принимался готовить Веру к экзаменам. Просто чтобы у нее был диплом и никто не тыкал в нее пальцем.

Честно говори, я и сегодня убежден, что институт не сделал бы Веру актрисой. Потому что ею она уже была. Вера нуждалась в тренинге, в практике. Но не в азах. Не в студенческой скамье. От природы она обладала легкостью игры, которая иным дается многолетним трудом.

Кроме того, я, ее первый учитель, намерен помогать ей. Ведь мы всегда будем вместе.

Вера грустно улыбнулась:

— Всегда?

— Всегда, — повторил я.

И, обняв ее, повторил еще раз:

— Всегда.

И в самом деле, почему бы нет? Более преданного, более чистого человека, чем Вера, я еще не встречал. Чего я жду? Что я вообще ищу в женщине?

Вера задумчиво смотрела на морской прибой.

— Ты бы согласилась стать моей женой? — спросил я.

— Да, — сказала она, витая где-то далеко, в своих мыслях. Но вдруг до нее дошло. Она повернула ко мне голову и сказала:

— Конечно!

Она произнесла это с такой неподдельной радостью, что мне сделалось стыдно, что я не предложил ей этого раньше.

Фильм «На край света», искромсанный до неузнаваемости, прежде плавно текущий, а теперь двигавшийся вперед рывками, наконец-то вышел на экран. Молодежи он понравился. Реакция на фильм была столь бурной, что половина слов, следовавших за какой-нибудь острой репликой, заглушалась смехом.

Фильм показывался широко. Мы с Верой не поленились объездить все московские кинотеатры, где шел наш многострадальный фильм, и на фоне гигантских рисованных афиш я снял Веру — в память о ее дебюте.

На международном кинофестивале в польском городе Люблине фильм был удостоен Гран-при. Об этом фестивале я никогда раньше не слышал, но больного, как известно, и доброе слово лечит. Поляки назвали наш фильм лучшим в 1975 году.

Советская критика на наш «шедевр» была резко отрицательной. Замечательный Лев Аннинский, который отнесся к фильму «С тобой и без тебя» с почтительным вниманием, на этот раз разразился сокрушающей статьей в «Советском экране». Другие критики, помельче, тоже принялись покусывать да пощипывать.

Но не все возмущались фильмом.

Добрые слова высказал прославленный кинодраматург Евгений Габрилович. Он отметил высокий профессионализм режиссера, справившегося с неблагодарной молодежной темой и открывшего новую звезду — актрису Веру Глаголеву. Большой мастер кино назвал мою будущую жену «без сомнения талантливой» и предсказал ей большое будущее. Что могло быть приятнее!

Евгений Сурков, бывший в то время главным редактором «Искусства кино», отреагировал на фильм эмоционально. Когда в мосфильмовском зале зажегся свет, Сурков повернулся ко мне и я увидел на его глазах слезы.

— Родион, я вас поздравляю, вы сделали великолепный фильм! — сказал он. — Скажите, где вы нашли

такую девчушку? Прекрасный фильм!
Затем Сурков повернулся к Никите Михалкову, сидевшему в зале, и спросил:
— Вам как?
— Да, прекрасный фильм! — согласился Михалков, хотя глаза его были сухими. — У тебя хорошая сцена, — добавил
Никита, — когда Вера кормит героя с руки. Смешная и трогательная. К чему Госкино придиралось?
— Да ко всему.
— Родион, — решительно заявил главный редактор «Искусства кино», — я сам напишу статью. Меня фильм глубоко тронул. Я не согласен с Госкино.
Я воспрял духом. Но, просматривая журнал номер за номером, статьи Суркова там не обнаружил. По-видимому, пыл главного редактора остудили его товарищи (он ведь и сам был членом коллегии Госкино). А может, Сурков передумал, чтоб не идти против течения? Кто знает! Впрочем, мне было достаточно и его искренней, неподдельной реакции в зале. Моральная же поддержка моего нового друга Никиты и вовсе была бесценна.
Жаль, что наши пути с Михалковым разошлись. Я не проявил достаточной гибкости и теплоты, оставаясь унылым и тяжелым бревном, плывущим своей дорогой. Кто знает, может, помимо «Рабы любви», мы могли бы сделать что-то еще.
Готовясь к «Врагам» (по Горькому), я собрал прекрасную актерскую команду: Иннокентий Смоктуновский, Николай Гриценко, Николай Трофимов, Елена Соловей, Марина Неёлова. Пригласил также и своих любимых литовцев Юозаса Будрайтиса и Регимантаса Адомайтиса.
Зачем мне это было надо? Горький, да еще «Враги»! Сценариев, что ли, не было?
Были сценарии, и много. Да все не о том. А во «Врагах» затрагивалась тема самоубийства, которая меня волновала.
Кроме того, современная бытовая история вряд ли дала бы мне возможность собрать такое созвездие талантов. Пьеса Горького говорила сама за себя, и артисты охотно на нее шли. Вера, кстати, тоже.
И наконец, я считал работу над Горьким своим профессиональным экзаменом. Надо было переложить сугубо театральную структуру повествования в визуальную, кинематографическую.
Это здорово — работать со звездами. Но это еще и головная
боль.
От режиссера, помимо таланта, требуются и дипломатические способности.
Представьте такую ситуацию: актеры дуются друг на друга, а им надо вместе играть.
Когда-то Иннокентий Смоктуновский мечтал о роли Каренина в «Анне Карениной», но утвердили не его, а Николая Гриценко. Смоктуновский, несмотря на отставку, наведывался на съемочную площадку и поучал Гриценко, как надо играть. Гриценко выдворил Смоктуновского из павильона, и десять лет (с 1967 года) они не разговаривали. И вот — «Враги».
Вызвали наших знаменитостей на съемку. Не смотрят друг на друга. Гриценко красный как рак. Смоктуновский в дурном расположении духа. А тут еще Саша (Александр Княжинский, главный оператор) заявляет мне, что сначала придется снимать Гриценко и лишь потом, не раньше чем через два-три часа, Смоктуновского. Я чуть не упал со стула от этой операторской затеи. В кои-то веки бывшие враги получают реальный шанс к примирению, а мы, убрав одного с площадки, подливаем масла в огонь. Ведь Смоктуновский определенно разозлится.
— Сделаем небольшой перерыв! — решаю я. — Гримеры! Поправьте актерам грим.
Подхожу сначала к Гриценко и говорю:
— Николай Олимпиевич! Начнем с вас.
— Хорошо. Я готов.
— Вообще-то по свету надо бы начать со Смоктуновского, — вру я. — Но он уступает первенство вам. Сказал, что вы — великий артист и заслуживаете быть первым.
— Спасибо и на том, — бурчит Гриценко. Но вижу — взгляд потеплел.
Подхожу к Смоктуновскому.
— Иннокентий Михайлович, — говорю, — Гриценко вам отдает пальму первенства.
— Как это?
— По свету нам было бы выгодней начать с Гриценко, но он уступает вам. Говорит, что нехорошо заставлять такого артиста, как Смоктуновский, ждать.
— Сказал? А сам будет сидеть и ждать? Мне как-то неловко...
— Да, я понимаю... — говорю я, а сам думаю: «Ну что ж, лед тронулся!»
Сговорившись с оператором, сажаю Смоктуновского и Гриценко друг подле друга и снимаю кусочек, которого в сценарии
не было. Да и в фильме не будет. Просто я решил потратить пятнадцать минут и немного пленки, чтобы разрядить обстановку. Сняли никому не нужный кадр. Артисты улыбаются. Обменялись парой слов.
— Теперь перейдем к укрупнениям, — говорю я. — С кого начнем?
— Можете с него, — благодушно соглашается Гриценко.
— Нет. С него, — говорит Смоктуновский. Я взглянул на Княжинского:
— Решай ты. Актерам все равно.

Конечно, все давно уже было решено. Но я разыграл целую шахматную комбинацию, чтобы не обидеть артистов и не задеть их самолюбие.
С тех пор Смоктуновский и Гриценко стали здороваться.
Вообще, за Иннокентием Михайловичем водился такой грешок — советовать партнерам, как играть. Он это делал от чистого сердца, не имея в виду кого-либо обидеть. Да только сбивал артистов с толку.
Я говорю актрисе:
— Ты выбегаешь из дома, веселая и жизнерадостная. И вдруг видишь — лежит в траве твой дядя. Ты напугана: не умер ли?
Смоктуновский тут же подходит к актрисе и говорит:
— Идешь грустная, задумчивая. Увидишь дядю — начинай смеяться.
— Иннокентий Михайлович! — говорю я.
— Что? — по-детски простодушно спрашивает он. — Не то? Не так?
— Все так, но...
Я отвожу его в сторону и начинаю хитрить:
— Вы думаете, все такие гениальные артисты, как вы? Любое ваше предложение уникально, но не все ведь Смоктуновские. Приходится упрощать...
— Ну, вам видней, Родион, вам видней... Смоктуновский отходит, легко, без обиды, даже с чувством некоторого удовлетворения.
Смоктуновский был великий артист. Я видел его много раз на сцене и помню все его фильмы (даже неудавшегося Ленина). Он был гений, но в последние годы ему приходилось играть роли, которые были бедней его возможностей. Он старался
придать им вес и нагружал их таким количеством красок, что становилось очевидным: он стреляет из пушки по воробьям. Так было с его трубачом в «Романсе о влюбленных» Кончаловского, когда Смоктуновский силился что-то такое-этакое выразить, но сюжет был прост, да и строился не по нему, так что Смоктуновский со своей гениальностью просто путался у всех под ногами.
После «Врагов» я работал с ним еще в «Поздней любви» (у Леонида Пчелкина) и «На исходе ночи». У нас были очень дружеские, теплые отношения. Смерть Иннокентия Михайловича была для меня одним из самых глубоких потрясений.
Я всегда буду помнить свою первую встречу с ним, когда в 1962 году Валерия Ивановна Сафонова, преподаватель по актерскому мастерству, пригласила Смоктуновского к нам в класс. Он сидел перед нами на шатком кресле, робкий Мыш-кин, утонченный Моцарт, неповторимый Куликов из «Девяти дней одного года», — сидел и улыбался своей очаровательной, «интеллектуальной» улыбкой. Мы не могли поверить своим глазам. Он рассказал о съемках у Михаила Ромма, о «Солдатах», где играл с Всеволодом Сафоновым (супругом нашей Валерии Ивановны). Я никогда не забуду его вальяжную и такую памятную по «Девяти дням» позу, чуть ироничный тон, с которым он расспрашивал нас о наших мечтах.
— Я бы... хотел сыграть Обломова, — сказал я, когда его взгляд остановился на мне.
— О, я тоже! — встрепенулся Смоктуновский, как будто испугался, что я отберу у него роль.
Мои сокурсники заржали. И Смоктуновский рассмеялся. А потом успокоил:
— Не волнуйся, дорогой студент, я пошутил.
Когда-то я разделил для себя (условно, конечно) советский кинематограф на периоды.
Сороковые... Петр Алейников, Николай Крючков, Марк Бернес — кумиры тех лет.
Кто выдвинулся в пятидесятые? Бондарчук, Рыбников, Баталов.
Кто запомнился в шестидесятые? Конечно же, Смоктуновский. Понятное дело, артисты жили дольше названных лет и старились на наших глазах. Но эти десятилетия стали пиком их карьеры.
Интересно, что погрузившись в режиссуру, я стал разделять историю кино по режиссерам. Но все же артист есть артист, у него есть лицо и голос, которые остаются в сердце.
Возвращаюсь к «Врагам».
В одной из сцен должны были играть вместе две великолепные актрисы — Елена Соловей и Марина Неёлова. Сцена трудная. Вижу, и Лена и Марина подыскивают, чем бы занять руки. Но не двигать же кресла? Наконец девушки приспособились. Ходят, друг на друга не смотрят и теребят что-то у себя на груди (одна трогает колье, другая разглаживает складки платья). Со стороны выглядит, как будто обе актрисы играют одну и ту же роль. У кого отобрать «удачную» находку с руками?
Я ставлю их лицом друг к другу, так, чтобы они оказались как бы перед зеркалом. Обе как ошпаренные отдергивают руки
от груди.
С актерами нужно быть деликатным. Они легкоранимы и будут играть хуже, если обижены.
А обижаются актеры часто.
Я помню, приступили мы к съемкам сцены суда. Сняли общие планы с массовкой.
— А теперь снимаем крупный план Будрайтиса, — объявляю я.
— Какой из них? — спрашивает Будрайтис.
— Как какой? — не понимаю я. — Твой монолог. Один
кадр.
Вижу, Будрайтис повесил голову и помрачнел. Подхожу,

спрашиваю:
— В чем дело, Юозас?
— Ничего...
— Но я же вижу.
— В сценарии у меня целых три крупных плана. Будрайтис протягивает мне страницу из режиссерского сценария, в котором его монолог перебивается планами слушающих.
— Да, три, но снимать-то надо на одном дыхании, — объясняю я, — одним кадром.
Будрайтис упрямится:
— А в сценарии написано «крупный», а потом «крупнее», а потом «совсем крупно».
Я решаю уважить актера. Снимаю одним куском, как хотел. Но затем — по просьбе артиста — снимаю то же самое, но более крупно. И — еще крупнее.
Будрайтис в высшей степени удовлетворен, играет с таким огромным подъемом, что мне становится смешно: какие они все же дети!
Регимантас Адомайтис — вечный партнер Будрайтиса — более сдержан. Свои чувства он прячет под маской сильного, волевого человека. Одна моя знакомая просто-таки мечтала увидеть Адомайтиса живьем. «Он вылитый Максимилиан Шелл», — восторгалась она. Познакомившись же, расстроилась.
— В чем дело? — спрашиваю.
— Читает много, — вздыхает девушка. — Сложил книжки в полиэтиленовую сумочку и куда-то скрылся. Он что, людей боится?
— Наверное, книги для него интересней.
Мне нравилось работать с литовскими актерами (я не раз снимал их). Природная интеллигентность и профессионализм выгодно отличали их от тех, которые, став популярными, начинали погуливать, небрежно относились к тексту, опаздывали на съемки. Прибалтийские актеры — прямая противоположность таким «звездам». Популярность обязывала их быть еще более собранными и дисциплинированными.
Иногда бывало: после технической репетиции (установка света, разметка фокуса) оператор отвлечется на что-то и забудет сказать актерам, что они свободны. Русские догадываются сами. А Будрайтис стоит на площадке как вкопанный.
—- Юозас, ты почему не идешь на обед? — спрашиваю.
— Мне оператор сказал стоять, я и стою.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вера стала моей женой.
В съемочной группе «Врагов» к ней относились дружелюбно. И не только по причине ее брачного статуса. Она стала украшением фильма, его сердечным, звонким камертоном. Великих она не боялась и не теряла естественности ни при каких обстоятельствах.
«Вот она, твоя актерская школа! — с удовлетворением думал я. — Где, в каком институте можно приобрести столь благодатный опыт?»
Вера расцветала на глазах.
Ее стали активнее вызывать на пробы.
Знаменитый Анатолий Эфрос, едва познакомившись, утвердил Веру на одну из главных ролей (вместе со Смоктуновским, Далем и Доброжанской) в фильме «В четверг и больше никогда» по сценарию Андрея Битова. Она уехала на съемки...
Моя жена, как новое судно, уходила со стапелей в открытое море. А я — счастливый — стоял на берегу и махал ей платочком. «Если так бойко пойдет дело, — думал я, — я скоро забуду, как она выглядит. Надо работать вместе. Нельзя надолго разлучаться — это точно!»
14 октября 1978 года, в праздник Покрова Божьей Матери, у нас родилась дочь. Мы назвали ее Анной. Лицо у Анечки было такое славное и такое необычное, что казалось, она ниспослана нам с небес.
В те годы распространилось учение, что детей следует оздоравливать плаваньем. Надев на Анечку шапочку из шариков пинг-понга, мы опускали ее в ванну, доверху наполненную водой. В первую секунду она замирала, затаив дыхание, но вскоре осваивалась и начинала барахтаться — ни разу не захлебнувшись. Мы даже оставляли ее в ванной одну. Правда,
Галина Наумовна (мать Веры) порывалась спасти крошку, но мы с Верой были непреклонны:
— Ей лучше в воде, чем в пеленках. Это более привычная для нее среда.
К концу четвертого месяца личный Анечкин рекорд достиг сорока минут свободного плаванья.
Девочка быстро встала на ноги. Где-то есть видеокадры, где девятимесячная Аня «танцует». Пошатываясь на некрепких еще ножках, выделывает забавные фортели и пытается изогнуться.
Семейная жизнь набирала обороты.
Мы осваивали новую квартиру в Большом Тишинском переулке. Из Кишинева, где мы с Верой снимались (в фильме «Подозрительный»), привезли удобную мебель. Галина Наумовна подарила нам немецкое пианино. Вместо скучных дверей соорудили арку. Мой кабинет стал быстро наполняться книгами, магнитофонными лентами, пластинками.
Часто выбирались за город. Вера любила бродить по лесу и собирать грибы. Иногда, расположившись на лесной полянке, мы принимались играть в футбол. Вера носилась за мячом с озорством мальчишки. Она

всегда была окружена друзьями и подругами, которых знала с детства. Но самым лучшим ее другом всегда оставался ее брат Борис.
У меня друзей было немного. И лишь один — давний. Виктор Архангельский, которого я знал еще со студенческой скамьи, режиссер научно-популярного кино (один из лучших, я думаю). От него я перенял привычку собирать библиотеку энциклопедического профиля. Одно время я увлекался жизнью общественных насекомых, особенно муравьями, и собрал большую библиотеку о них. Виктор был очень музыкален, сочинял песни, которые мы распевали на два голоса.
Незаметно росла наша Аня.
Не успели мы отпраздновать ее первый день рождения, как Вера снова забеременела.
Широкие одежды, большие ожидания.
И вот 28 июня 1980 года в окошке роддома я увидел новое чудо — Машеньку.
Привезли домой. Распеленали. Настоящая принцесса на горошине: такая маленькая, что могла поместиться на ладони. Я бережно подхватил ее под спинку и окунул в ванночку с теплой водой.
. Образ дочери, доверчиво расположившейся на ладони, никогда не изгладится из моей памяти.
Несмотря на то что Вера дважды стала матерью, она выглядела удивительно молодо. Ничуть не хуже, чем в первый день, когда я увидел ее в коридоре «Мосфильма».
В свое время, готовясь к «Врагам», я пригласил на одну из ролей Фаину Раневскую. Она обрадовалась моему предложению, но, узнав, что съемки будут проводиться в Сочи, отказалась, так как была слаба здоровьем. После экспедиции она позвонила мне, справляясь, как дела. Потом я стал звонить ей сам.
Однажды раздался телефонный звонок. Вера взяла трубку.
— Да, — сказала она, — пожалуйста... Что? Кто я? Я Вера...
Вера протянула мне трубку.
На другом конце провода была Раневская:
— Дорогой мой, с кем это я сейчас разговаривала? С ангелом?
— Нет, Фаина Георгиевна, это была Вера, моя жена.
— Нет, не спорьте, она не жена, она ангел. У нее такой чистый ангельский голосок, не поймешь — мальчик или девочка. Чудо, просто чудо. Я звоню вам, дорогой, чтобы испросить у вас разрешения. Помните, вы написали мне письмо после спектакля? Я бы хотела передать ваше письмо в Бахрушинский музей. Они там что-то обо мне собирают. Можно?
— Конечно.
У Фаины Георгиевны был незабываемый голос. Низкий, почти мужской. И интонации, не поддающиеся описанию. Слегка ироничные, полунасмешливые и в то же время пронзающие тебя своей глубиной.
— Вчера у меня было свиданье.
— С кем, Фаина Георгиевна?
— С Мишенькой Лермонтовым. Какой же он все-таки еще мальчик. Я читала его стихи и плакала. Грустный, обозленный мальчик. Вы любите Лермонтова?
— Да, конечно.
— Я его очень люблю. Так и хочется прижать его к груди. Только какая радость в старушечьих объятиях!
Своей оголенной прямотой Фаина Георгиевна напомнила мне другого человека. Танцовщика Махмуда Эсамбаева.
Я познакомился с Махмудом на одном из киноконцертов. Он подошел ко мне за кулисами и с напускной строгостью сказал:
— Вы мне должны!
— Я?
— Да, вы! — сказал Эсамбаев. — Я в вашу честь угостил сто человек.
Я не уловил юмора и пожал плечами.
— Нет, вы от меня так не отделаетесь, — сказал он.
— Что мне надо сделать?
— Во-первых, прийти на мой концерт. Немедленно. Завтра же.
Выяснилось, что семь лет назад Эсамбаев и вправду закатил пирушку после премьеры «Сердца матери», на которой присутствовали Донской и другие важные гости. Меня там не было, так что застолье было не в мою честь. Махмуду почему-то запомнилось имя Родион.
— Не имя, — уточнил Махмуд, — а глаза. Умные и... черные, как маслинки.
Пришлось пойти на его концерт.
Пятидесятилетний Эсамбаев все еще производил впечатление. Правда, он очень увлекался пышными нарядами. И танцы перемежал болтовней. Но мне все равно было очень интересно. Главным образом потому, что я вдруг обнаружил, что в Эсамбаеве дремлет великий комик. Я намотал это себе на ус и забыл.
Прошло несколько лет. И вот в 1974 году я начал снимать «На край света» и на одну из небольших ролей утвердил режиссера и актера Владимира Басова. Но прямо перед съемкой Басов отказался. Что делать? Я вспомнил о Махмуде.
Махмуд согласился, не вникая толком, что ему предстоит играть. Согласился по дружбе, просто чтобы меня выручить. Ему дали авиабилет, на котором все еще значился Басов, и он, заинтригованный, полетел в Черкассы.

Еще больше он удивился, когда узнал, какую роль ему предлагают.
— Вы должны сыграть подонка, — сказал я ему, — подзаборного пьяницу, потерявшего человеческий облик.
Махмуд заметно поскучнел. Ему это было чуждо. И тогда я стал сочинять:
— Теперь представьте, что он талантлив и когда-то подавал большие надежды. Но спился. Потом жена бросила. Ребенка отобрали. А был профессиональный танцовщик! Может быть, даже хороший.
— Танцовщик? Правда? — оживился Махмуд. — Это интересно...
И вдруг рассмеялся, видимо вспомнив кого-то, кого хорошо знал.
Я стал фантазировать дальше, наделяя образ массой подробностей. Это подействовало: Махмуд увлекся.
Чтобы вжиться в роль, Эсамбаев — в скромной одежде и стоптанных башмаках — стал наведываться в дешевую пивнушку и обзавелся там новыми друзьями. Он внимательно присматривался к пьяницам, к их телодвижениям, слушал их заплетающуюся речь, чтобы потом воспроизвести все это на экране.
Эсамбаев превзошел себя. От смеха я чуть не свалился на пол — вместе с кинокамерой.
— Это вам не «Танцы народов мира»! — хохотал я. — Это местный фольклор!
Вместо экзотических павлиньих перьев, макумбских и пенджабских костюмов Махмуд впервые предстал предо мной в грязной рванине. Это было нечто!
— Жить-то хочется, — придумал он пьяную мудрость. — А жить не с кем! Вот и живем с кем попало!
В довершение всего я уговорил Махмуда сниматься без головного убора, что с моей стороны было верхом нахальства, так как Махмуд стеснялся своей лысины. Но Махмуд — не ради роли, а опять же по дружбе — смело сдернул с головы свою чеченскую папаху.
Как настоящий художник, он сделал все, что от него требовалось, и создал яркий, запоминающийся образ. Я не сомневался, что с выходом фильма на экран Эсамбаев займет достойное место в обойме лучших комиков страны.
Но...
Спустя год Махмуд показал мне письмо от своей давней почитательницы.
«Дорогой Махмуд Алисултанович! Гоните таких друзей, как
Нахапетов, в шею. Он опозорил Вас. Он сделал Вас посмешищем. Вы никакой не пьяница и не кретин. В наших глазах Вы всегда останетесь таким же красивым и элегантным, как в «Испанском» и в «Автомате»...»
— Муж у нее толстый, как воздушный шар, — добродушно улыбнулся Махмуд. — Поэтому я... — Махмуд прервался, обхватил руками свою осиную талию и с гордостью заключил: — ...я для нее — мечта! Та-та-та-а-а-а...
Он запел и, как коршун, стал носиться по комнате, изгибая тело и вытягивая по-балетному носок.
— Мэри едет в небеса-а-а! — пел он под Любовь Орлову. Поразительный человек — Махмуд.
Полуграмотный, но от
природы мудрый, Махмуд окружил себя огромным количеством друзей. Иногда казалось, что он их коллекционирует по принципу контраста. За его гостеприимным столом собирались слесари и космонавты, спортсмены и художники, балетмейстеры и солдаты. Более демократичной компании, чем у Махмуда в Москве, я думаю, ни у кого не было.
Комиком Махмуд Эсамбаев не стал. Он решил служить красоте — до конца своей долгой горской жизни.
Кинокартина «Не стреляйте в белых лебедей» была снята, когда Анечке еще не было года, а Маша не родилась, то есть в 1979 году. Сценарий по одноименной повести Бориса Васильева был написан Кириллом Рапопортом и первоначально предназначался для Леонида Быкова. Но Леонид Быков умер, и передо мной встала очень нелегкая задача найти ему достойную замену. Станислав Любшин не был у меня на примете. Мне казалось, что Егор должен быть более простодушным и более деревенским. «Любшин хороший актер, но не для таких ролей», — решил я. И с бешеным рвением стал искать что-то «свеженькое». Мне виделся маленький голубоглазый мужичок — незлобивый, тихий, с мягким и добрым сердцем.
— Привезите-ка мне кого-нибудь с Севера, — скомандовал я. — Там еще сохранились егоры полушкины.
Разъехались мои ассистенты по стране. И на Севере побывали. Понавезли с разных концов милых провинциальных актеров, которые улыбались мне доверчивой, мягкой улыбкой Егора. Но, повозившись с ними на репетиции, я отправлял их домой восвояси.
Северный ключ не работал. Артисты старались воспроизвести напевную, своеобычную речь героя, но получалось очень ненатурально, фальшиво. Пока молчат — все хорошо. Рот раскроют — беда.
— Нам нужны артисты покрепче, — решил я, — попрофессиональнее.
Призвали таких. Московских, ленинградских, надежных. Они ловко произносили текст, но почему-то все звучало выспренно, как на оперной сцене. Что такое?
Здесь я должен остановиться на самой повести Бориса Васильева. Она написана как некое житие. По-видимому, Борис Львович хотел таким образом поднять несчастного Полушкина на пьедестал. Ведь жития святых преподносят жизненную, реалистическую историю как бы в перспективе будущего, церковной канонизации личности. Так восстанавливалась справедливость — за все перенесенные человеком горести и страдания (во имя Господа). Но дело в том, что Егор Полушкин вымышленный персонаж. И высокий стиль жития применительно к этой истории — это маленькая хитрость, писательский трюк.
Борис Васильев — большой писатель. Он умело создает эдакую приподнятую атмосферу, точно песню заводит. Вот и Полушкин, несмотря на то что пьет «Московскую» и приворовывает у жены, на земле не

стоит, а взмывает над нею — вместе с лебедями, которых он так любит. Васильев с первых же страниц дает нам понять, чем дело кончится, и просит нас оплакивать героя — еще до того, как его убьют.
Я не поленился выписать несколько страниц чистого диалога, убрав все красивые словесные ручьи, подводящие к репликам, все напевные украшения и объяснения, и обнаружил, что голос Полушкина звучит странно. Никто в жизни так не говорит и мало кто так действует. Он единственный в своем роде. Редкое ископаемое. Гомункулус, выведенный Васильевым в писательской лаборатории.
— Борис Львович, — поинтересовался я, — а вы списывали этот образ с кого-нибудь, кого лично знали или встречали?
— Да, конечно.
— Нельзя ли узнать, с кого? Мне бы это здорово помогло.
— Поезжайте в Архангельскую губернию, на Север, — посоветовал Борис Львович, — там вы найдете много таких, как Полушкин.
Подобный ответ означал, что Полушкин — персонаж вымышленный, или, как говорят, собирательный. Собирательный, то есть собранный из множества разрозненных человеческих черточек в один цельный образ.
Но одно дело «собирает» писатель, другое — режиссер. Там бумага и воображение. А здесь воображение и исполнители. После неудачи с северянами я понял, что должен идти своим путем, не притчевым и не песенным, и «собирать» кинообраз, ориентируясь на реальность, которую знал сам.
Так я пришел к Станиславу Любшину и Нине Руслановой — исполнителям главных ролей.
Между Славой и Ниной сразу же установились хорошие отношения. Они прекрасно дополняли друг друга, часто импровизировали и всячески оживляли текст. Оживляли — не в обиду писателю сказано, просто таков актерский механизм, что без мелких, живых, узнаваемых подробностей актеру трудно играть.
Любшин и Русланова стали привносить в роли свое, свой жизненный опыт. Смысл истории это не меняло. Но фильм становился более грубым, более ершистым и шероховатым и все менее походил на житие.
Отснятый материал нас радовал, и мы, сидя в зале, частенько покатывались со смеху. Нравился материал и Борису Львовичу.
Но вот я вчерне смонтировал фильм и представил его на суд мосфильмовского телеобъединения.
Так как я был там гастролером, со мной разговаривали корректно: ■
— Попробуйте поработать над монтажом.
— Попробуйте сократить.
— Нельзя ли побольше светлой музыки?
— Красивых пейзажей...
Но потом им надоело любезничать, и слово взял директор объединения Марьяхин.
— Все это паллиативные предложения, — сказал он. — Все мы прекрасно понимаем, что фильм в таком виде не примут. Единственное, что можно сделать, — это изменить финал и закончить фильм не смертью Полушкина, а его выступлением на Всесоюзной конференции.
— Да-да! — горячо поддержали его. — Закончим на радостной ноте.
— Какая прекрасная идея! — радовались редакторы.
— Сделайте, Родион, — посоветовал худрук. — Поверьте, будет лучше. Зачем вам это убийство?
— Это единственное, что нас спасет! — заключил директор объединения.
Я не придал тогда особого значения словам «нас спасет» и бросился защищать фильм. Я закалился в борьбе с Госкино, поэтому знал, что надо драться до последнего.
— Нет, ни за что! Финал не отдам! Я только из-за него и согласился снимать фильм. Почитайте роман!
Я взглянул на Бориса Львовича, надеясь, что он подхватит эстафету и будет крушить трусов налево и направо.
Но Васильев смотрел в пол.
Небольшое отступление.
За два года до того режиссер Жалакявичус снимал фильм «Момент истины» по роману Вл. Богомолова. Посмотрев материал, Богомолов разразился пятьюстами замечаний и придирок в адрес режиссерской трактовки и в результате успешно закрыл картину. Пришлось Сизову распустить группу и списать в убыток сотни тысяч рублей.
Так кинематографистам дали понять, кто «главнее»: писатель или режиссер.
Васильев смотрел в пол...
Этот потупленный взор мог говорить о чем угодно. Но ничего хорошего не предвещал.
И в самом деле. Через три дня я получил от Васильева холодное письмо с восемнадцатью строгими замечаниями. Я готов принять любые замечания, тем более от писателя, которого люблю, но момент для критики он выбрал очень неудачно. Не буду останавливаться на требованиях автора (некоторые можно было удовлетворить) — не в этом дело. Своим письмом (копия была послана руководству студии) Васильев, сам того не сознавая, нанес мне удар в спину. В тот самый момент, когда я отбивал удары редактуры.
Я был потрясен.
И хотя я понимал, что Васильева спровоцировали, простить выпускнику военной академии удар по своим, с тыла, не мог.
Воевать предстояло в одиночестве.

Вера морально поддерживала меня (она играла роль учительницы), но все ж мне было очень тяжело.
И вот окончательная приемка фильма.
Приехала Стелла Ивановна Жданова. Она была первым заместителем председателя Комитета по радио и телевидению. Важная особа. Царственная и холодная.
Во время просмотра Марьяхин все время порывался что-то сказать Ждановой, но она не реагировала, просидев три часа неподвижно, как изваяние.
Закончился просмотр. В зале тишина. В будке киномеханика кто-то кашлянул. Жданова встала с кресла:
— Обсуждайте без меня.
—- Да-да, конечно! — услужливо согласился Марьяхин. Я понял, что это конец. Жданова скрылась за дверью.
— Нет, Стелла Ивановна! — бросился я вдогонку. — Я прошу вас остаться!
— Зачем? — удивилась она.
— Я... просто я хочу, чтобы вы присутствовали на обсуждении. Тут непростая ситуация.
Жданова взглянула на часы:
— Ну что ж, я останусь. Но это не имеет смысла. Вы убедитесь в этом сами.
В присутствии столь высокого цензурного чина, каким являлась Жданова, редакторы объединения внутренне подтянулись и стали походить на солдат почетного караула.
— Это большое разочарование. Для всех нас. Роман Бориса Львовича увлек нас. Мы поверили Нахапетову. Но фильм не получился. Бывает, конечно, но очень обидно.
— Знаете, когда фильм не складывается, сначала пытаешься его спасти, пробуешь и так и по-другому, но потом руки опускаются. И ты сдаешься. Это большая неудача объединения, и нам... нам стыдно, Стелла Ивановна, что мы не оправдали ваше доверие.
— Мы тут деликатничаем. А ведь это безобразие. Режиссер пренебрег нашими замечаниями. Да что «нашими»! Он и самого автора откинул в сторону. Вот сидит Борис Львович, он не даст соврать.
— У нас тут было соображение — закончить фильм на мажорной ноте. Выступил на конференции лесников. И все.
Убрать этот трагизм. В фильме вообще нет положительных характеров. Явный перекос. Ну да, ну да, сам Полушкин. Так ведь и того убивают!
— Фильм совершенно не трогает. Читая роман, я плакала, а здесь от начала до конца ни капельки. Сделан равнодушно, без души. Правда?
Все в один голос подтвердили это. Жданова внимательно посмотрела на меня:
— Хотите что-то сказать?
— Что говорить! — сказал я. — Фильм так дружно похоронили. Я не понимаю такой реакции и не считаю фильм неудачей. Это моя лучшая картина.
Марьяхин все это время вглядывался в невозмутимое, «покерное» лицо Ждановой, стараясь вычислить меру наказания, которая его ждет. Он знал: разозлится начальница — полетят головы.
— Может быть, вы, Стелла Ивановна, — робко вставил Марьяхин. — Может, вы добавите что-нибудь к сказанному?
Стелла Ивановна обвела сидевших тяжелым взглядом:
— Пожалуй... Я замер.
Жданова посмотрела на меня:
— Во-первых, я должна не согласиться с режиссёром. Что значит «похоронили»? Никаких похорон здесь нет. Мы только высказываем свое мнение.
— Просто мы разочарованы, — подхватила редактор, та, что плакала над романом. — Мы же люди. Мы не машины, не роботы...
— Во-вторых, — перебила ее Жданова, — я не согласна и с моими коллегами...
Лица присутствующих напряглись.
— Фильм, который сделал Нахапетов, получился, и не просто получился, а получился хо-ро-шо!
Полный паралич студийного руководства. Удар под дых.
— Хороший фильм вы сделали, — продолжала Жданова. — Поздравляю. У меня нет никаких сомнений, что «Не стреляйте в белых лебедей» станет событием на телевидении. Спасибо вам всем.
Жданова поднялась, подошла ко мне и протянула руку:
— Поздравляю. Единственная просьба...
— Да, Стелла Ивановна?
— Нельзя ли в конце еще раз дать название фильма?
— Конечно!
Чцт> произошло дальше, не поддается описанию. Это достойно пера великого Гоголя. Всеобщее ликование, поворот на 180 градусов.
Первым подбежал Марьяхин:
— Поздравляю! От души. У вас есть еще какой-нибудь сценарий? Приносите...
— А вы, Родион, и правда подумали, что нам не нра... Мне лично фильм очень понравился.
— Дайте я вас обниму, дорогой, прекрасный мой режиссер.
— Поздравляю. Знаете, обидно, что вот говоришь искренно, а тебя неправильно понимают. Я сказала, что

не плакала. Да, но я была... как бы это сказать, я была в шоке — от начала до конца. Непередаваемое, глубокое впечатление...
И так далее и тому подобное.
С Васильевым мы помирились. Когда ушло напряжение борьбы, я постарался понять его. И понял. Его замечания были искренними и не имели ничего общего с закулисной возней редакторов. Снимая фильм, я все больше удалялся от северных просторов и склонялся к югу (у Руслановой украинский акцент), от «образов» спустился до изображения «характеров», что в понимании Васильева снижало обобщающую силу происходящего с героями. Что ж. Некоторые писатели закрывают глаза на то, что вытворяет с их произведением режиссер, понимая, что кино живет своей жизнью, по своим законам. Васильев же оказался более придирчив. Он человек сердца.
Помню один психологический опыт, который был заснят на пленку.
В детском саду вокруг большого блюда с рисовой кашей посадили детей, раздали им ложки и сказали:
— Будете пробовать сладкую кашу по очереди. Каждый со своей стороны. Ладно?
— Ладно, — согласились дети.
За кадром голос диктора объяснил условия эксперимента: «Каша на блюде сладкая. Но у Вики она соленая. У одной только Вики соленая каша. И она об этом не знает».
Опрос идет по кругу.
— Саша, попробуй кашу, — говорит воспитатель. Мальчик пробует.
— Какая каша, Саша?
— Вкусная.
— А какая на вкус?
— Сладкая!
— Какая у тебя, Катенька?
— Сладкая!
— А у тебя, Женя?
— Сладкая!
— А у тебя, Димочка?
— Сладкая, вкусная!
Подошла очередь Вики — у которой соленая каша.
— Какая у тебя кашка, Вика?
Вика набирает полную ложку каши и с удовольствием отправляет ее в рот. Но что-то не так. На ее лице странная гримаса. Потом недоумение. Все смотрят на девочку, ждут подтверждения того, что каша сладкая. Секунду Вика борется сама с собой. Потом с отвращением глотает соленую кашу и говорит, как все:
— Сладкая. Каша сладкая.
Не правда ли, девочку можно понять?
Но ведь и со взрослыми такое бывает. Разве не поддакиваем мы большинству? Разве не следуем общим правилам? Разве нет в людях стадного чувства?
Почти девять лет я пытался пробить историю, которая мне очень нравилась. То был сценарий музыкального фильма «О тебе», который мы написали с Радием Кушнеровичем. В сценарии рассказывалось об уникальной девочке, родившейся на одном из вилковских островов (на Дунае). Она родилась поющей. И выросла поющей, несмотря на то что мир говорил с ней прозой. Пришла пора — и девушка полюбила. Но жених хоть и любил ее, а сам петь не пожелал. Ему это как тяжкий воз тянуть. Сжалось ее сердце, не знает она — хорошо ли это: отличаться от других?
Пробить эту историю мы не могли по простой и понятной причине: слишком трудно вообразить фильм, в котором одна поет, а другие разговаривают. Мои рассказы редакторов не убеждали. Авторитет не действовал. А петь в официальных кабинетах мне не приходило в голову.
Наконец в объединении «Экран» на Центральном телевидении нашлись люди с воображением и дали добро.
— Приступайте! — сказали они.
Музыкальный фильм начинается с композитора? Кто будет писать музыку?
У меня сложились дружеские отношения с Исааком Шварцем («Белое солнце пустыни», «Дерсу Узала», «Сто дней после детства», мои «Враги»). Я приехал к нему в Сиверскую (под Ленинградом). Он прочитал сценарий и сказал:
— Это вампука. Чушь. Выдумка. Белиберда на постном масле.
— Я тебя понимаю, — сказал я, — это слишком условно. Не в твоем вкусе...
Исаак Иосифович обнял меня за плечи и сказал:
— Ты можешь закрыть фильм?
— Ты имеешь в виду не снимать его вообще?
— Да. Я, как друг, хочу тебя предостеречь. Ты знаешь, как хорошо я отношусь к «Врагам». Но это... это извини.
— Изя, я мечтал сделать этот фильм, и я его сделаю. Я понимаю, материал этот не для тебя. Но все же, скажи, кто-нибудь, какой-нибудь странный композитор мог бы... мог бы написать подходящую музыку?
Исаак Иосифович вздохнул:
— Дай подумать...

Шварц думал недолго, он порекомендовал молодого ленинградского композитора Сергея Баневича, с которым я тут же договорился о встрече.
Баневичу сценарий понравился, и мы начали работать без промедления. Музыка Баневича была стопроцентным попаданием. Я был счастлив, что Шварц «придумал» именно его. Баневич оказался очень тонким стилистом, обладал редким мелодическим даром. Его опера «Кай и Герда» (по «Снежной королеве» Андерсена), которая вот уже несколько сезонов идет в Кировском, совершенно незабываемое явление. Я много раз слушал ее и готов слушать бесконечно. Прекрасная музыка, способная растопить не только ледяное сердце Кая, но и мое, уже начавшее остывать.
К работе подключилась поэтесса Татьяна Калинина. В уютной квартире на Мойке, напротив дома, где скончался Пушкин, мы проводили долгие часы, сочиняя за фортепиано будущий фильм.
В главной роли я видел Веру, и только Веру. Она придавала роли драматизм и была очень естественна. Естественность выражения чувств при необычном характере — крайне важное условие. Стоило актрисе сфальшивить — и вся наша зыбкая, условная конструкция рухнула бы.
На съемки мы поехали всем семейством, прихватив с собой Анюту и полуторагодовалую Машеньку. Так как город Вилково (деревенский парафраз Венеции) расположен на воде, надо было ходить по узеньким и шатким мосткам, что доставляло осторожной Галине Наумовне много беспокойств: попробуй уследи за двумя маленькими девочками. Мы облегчили ей задачу: Маша оставалась с бабушкой, а Аня выезжала с группой на съемки. Аня была очень забавная, и, когда я бывал расстроен, всегда искал ее взглядом, чтобы дать себе роздых. Никогда не забуду случая, когда Аня закинула удочку в Дунай, а один из осветителей незаметно поднырнул и нацепил на крючок уже пойманную рыбку. Мы крикнули ей:
— Тяни!
Аня потянула леску. Ее чудесные голубые глазенки раскрылись до невозможных размеров. Мы невольно засмеялись. Но Аня этого не заметила. Она была под гипнозом выловленного «чудовища».
В шесть лет она снялась в роли капризной девочки в фильме «Воскресный папа». Сыграла на редкость убедительно. Когда мы отдыхали в Анапе, один мальчик на пляже узнал ее.
— Это она, мама! — крикнул он. — Та самая, что в фильме!
— Ваша дочь снималась в кино? — спросила мать мальчика.
— Да, — ответил я.
Аня покраснела до корней волос. А мальчик все смотрел на нее и смотрел.
Маша тоже снималась. В телефильме «Командировка». Я помню, как она, восьмилетняя, бурно репетировала танец, изобиловавший смешными ужимками.
Конечно, обе девочки могли бы пойти по стопам матери. Но стоило ли толкать их в этом направлении? Легкая на первый взгляд, актерская профессия не сулила больших радостей. Всё
на продажу! — девиз многих актеров. Рассчитывать же, что путь именно твоих детей будет устлан розами, было бы слишком легкомысленно.
— Присмотримся к ним получше, — решили мы. — Может, у них есть какие-нибудь другие таланты.
У Ани мы обнаружили танцевальные способности. У Маши — к рисованию.
Завершая рассказ о фильме «О тебе», должен сказать, что готовый фильм Шварцу очень понравился. Он его удивил и обрадовал.
— Это как раз тот самый случай, — сказал Исаак Иосифович, — когда ошибаться приятно.
Он написал Сергею Баневичу письмо, в котором назвал его музыку неповторимой.
Замечательный человек Шварц. Мало таких в нашем кучковом и завистливом кино.
Сразу за музыкальным фильмом я снял фильм-воспоминание, который назывался «Идущий следом». Многие из моих детских впечатлений попали туда.
Вера сыграла небольшую роль учительницы. Я понимал, что такая роль не даст ей удовлетворения, но что было делать?
Шло время.
Аня занималась балетом во Дворце пионеров, Маша ходила в художественную школу. Их будущее как будто определялось. Жизнь входила в четкое русло с крепкими берегами. Казалось, что все будет так, как было год назад, и четыре, и десять...
Мы часто бывали в разъездах. Жизнь у актеров, как известно, кочевая. Вера в одном конце страны, я — в противоположном. Но мы не жаловались на судьбу. Как-то приладились к участившимся разлукам. И даже привыкли. Интересно другое. Чем дольше мы с Верой не виделись, тем чаще появлялись в журналах в обнимку, как нечто целое и неразрывное. Видимо, зритель нуждается в хороших примерах. В кино, где все на виду, легче внедряется образ взаимодополняющей, идеальной пары. Вспомним Александрова и Орлову, Пырьева и Ладынину, Герасимова и Макарову, Бондарчука и Скобцеву, а в наши дни — Шукшина и Федосееву, Губенко и Болотову...
Несколько лет назад распалась одна такая счастливая пара: Юрий Ильенко и Лариса Кадочникова.
Я видел их вместе и знал порознь. Юра восторгался Ларисой, и она считала его лучшим из лучших. А в канун новогоднего — такого семейного — праздника они вдруг сказали друг другу «прощай» и разошлись. Без крика и топанья ногами. Разошлись, как совершенно чужие друг другу люди. Разошлись навсегда.
Признаюсь, узнав о случившемся, я очень расстроился. Как такое возможно? Неужели нельзя было сохранить семью? Неужели нельзя было все уладить?

Своим разводом Ильенко и Кадочникова разрушили что-то и во мне самом. Я свыкся с сочетанием их имен, как будто они были незыблемыми элементами таблицы Менделеева и образовали удобную для всех формулу H2O.
Я был удручен. Хотя, если подумать, какое мне дело? Да и что я знаю о процессах, происходивших под кожей внешне спокойного союза? Чужая душа — потемки.
«Нужно работать вместе!» Но ведь не всегда попадается сценарий, в котором есть выгодная роль для жены. А что, если когда-нибудь я захочу снять фильм, в котором не будет для нее роли — вообще?
В сценарии Рамиза Фаталиева «Зонтик для новобрачных», который я выбрал для следующей постановки, роль для Веры была. Не самая главная, правда. Но подходящая.
— Если бы ты знал, как мне надоело играть наивных девочек, — сказала Вера.
Я понимал ее. Ей было двадцать шесть. Как зрелая актриса, она хотела «переквалифицироваться» на экране в зрелую женщину. Но она выглядела много моложе своих лет — это во-первых, а во-вторых, играй она женщину в «Зонтике», мне пришлось бы отказаться от Алексея Баталова, которому было пятьдесят шесть и возрастное несоответствие между героями было бы слишком резким (речь шла об адюльтерном романе).
— Прошу тебя: сыграй девочку — в последний раз. И Вера согласилась. Действительно в последний раз.
Итак, Алексей Баталов. Кумир моей юности.
Не знаю, как для вас, но для меня, в каких бы фильмах он ни снимался, какие бы роли ни играл, он всегда оставался Борисом из фильма «Летят журавли». Эта роль в моем понимании стала его визитной карточкой. Не «Дама с собачкой» и не «Де-
вять дней одного года», а именно калатозовские «Журавли» закрепили в зрительском сознании образ благородного Алексея Баталова.
Эта нравственная безупречность и привлекла меня к нему. Ученый, которого Баталову предстояло играть, тайно изменял жене. Но не осуждения я хотел, а понимания и сочувствия.
Баталов — умный актер. Не только потому, что у него умный вид. Он владеет железной логикой, и оттого в его ролях все кажется взвешенным и разумным. На репетициях он всегда задавал много вопросов, продумывал все до мельчайших деталей и лишь после этого произносил первые слова (даже если это было банальное «Здравствуй»).
Он в высшей степени доброжелателен. Ни разу я не услышал от него грубого слова, бесцеремонного осуждения кого-то или чего-то.
Он великолепный рассказчик и мог бы, если бы захотел, стать вторым Ираклием Андрониковым. Иногда, когда нам бывало скучно (по дороге со съемок), мы подначивали его на какой-нибудь рассказ. Мы поражались тому, что не было ни одного исторического лица или периода, о которых Баталов не мог бы рассказывать — пространно и красиво.
Составляя план книги, я легко дал названия трем ее частям. Я видел свою жизнь по «огибающей». Название второй главы «Разложение цвета» родилось спонтанно. Мне казалось, это имеет глубокий смысл, объясняющий во многом кризис, который предшествовал моему отъезду в Америку. Я спросил у моей Маши, есть ли такое понятие, как «разложение цвета», в живописи.
— Разложение цвета? — переспросила дочь. — Я не знаю. Может, и есть.
Я знал — в кино оно есть.
Однажды, еще студентом, я попал в просмотровый зал, где показывали «Возвращение Василия Бортникова» Пудовкина, и кто-то в зале предупредил, что копия будет плохая. От времени в негативе начались необратимые процессы, которые привели к разложению цвета.
Я увидел на экране кирпичного цвета небеса и посиневшую зелень.
Какие процессы происходят внутри нас? Что выгорает в
душе со временем? В какие новые цвета окрашивается для нас привычный мир?
В 1983 году я потерял своего лучшего друга — Виктора Архангельского, с которым было спето немало хороших песен. Он долго умирал, разбитый параличом, пока третий удар не доконал его. Талантливый, добрый, глубокий человек, с трудом дотянувший до своего пятидесятилетия. Почему так жестоко распоряжается судьба?
Смерть друга — тяжелая вещь. Она бьет по нервам. Звенит последним предупреждающим звонком. Ты ищешь опору и смысл в текущих днях, а сама жизнь возьми да и оборвись.
Разложение цвета...
По инерции я продолжал работать, но на сердце было тревожно. Яркие некогда краски перестали меня радовать, дела — увлекать, а Вера — притягивать.
На фоне скрытых (негативных) перемен мне удалось снять свой последний советский фильм. Он назывался «На исходе ночи». Этот фильм критикой был принят равнодушно. Коллегами — пренебрежительно. А мной — серьезно. Сместилась система координат. Я терял ориентиры.
Началось разложение цвета.
Когда я первый раз вернулся из Штатов (в 1975 году), Виктор спросил меня:
— Зачем ты вернулся?
— Как зачем? — не понял я.
Он посмотрел на меня так, как будто я только что вылупился из яйца.
Это было смешно.

ЧЕТВЕРКИ

Я всегда загадываю на нечетные цифры, но, оглядываясь назад, нахожу, что важнейшие рубежи моей жизни приходились на четные. Особенно заметны цифры 22 и 44.

Мама родилась в 1922 году.

Я родился в 1944-м, когда маме исполнилось 22.

В 1944 году раскулачили и сослали в Сибирь моего дедушку, сгноили 44-летним.

Мама умерла в 44 года, когда мне было 22.

Когда я дожил до 44, меня вдруг охватил страх. Я понял, что и сам нахожусь в переплете черных четных цифр.

Этих лет роковое число Разорвало все цепи креплений, И вплотную ко мне подошло Пограничное время решений.

Двух четверок высокий забор Одолеть оказалось под силу, Я бросаюсь в мАнящий простор, В жизни — новую половину.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Летом 1988 года я получил приглашение от Димы Демидова, давнего моего приятеля, живущего в Сан-Франциско. Настроение у меня было превосходное: незадолго до этого крупнейшая кинокомпания «20-й век Фокс» купила «На исходе ночи». Это был первый советский фильм, приобретенный Голливудом для интернационального показа. Это был мой фильм.

Я должен был поехать вполне заурядным способом — по частному приглашению, на два месяца, но я парил в небесах, втайне надеясь, что со мной в Америке непременно случится какое-нибудь чудо.

Я готовился к новому фильму, проводил время с дочками, мыл посуду, стоял в очередях, как все советские граждане, но при этом мыслями уносился за океан, предвкушая приближение сказочного обновления.

Но кто же такой этот Дима Демидов?

В Америке гомосексуализм культурно называется «альтернативный стиль жизни». Я никогда не страдал этим недугом, но относился к голубым вполне терпимо и даже сочувственно. На то были свои причины. Постараюсь объяснить.

Поступив во ВГИК, я твердо решил не смешиваться с остальными. Комната в общежитии, где, кроме меня, жило еще трое будущих «кинозвезд», часто напоминала подворотню, где курили, пили горькую и сквернословили.

Я передвинул платяной шкаф, образовав крохотный закуток, втиснул туда настольную лампу, заткнул уши ватой и стал читать, читать и читать...

— Что он из себя умника корчит? — посмеивались надо мной однокурсники. — Не курит, не пьет, баб не е..т. Настоящий гомик! Голубой он, ребята! Теперь понятно, почему он так затаился.

Дальше...

Первую роль в кино я сыграл в восемнадцать лет.

В советском искусстве той поры любое проявление сексуальности сводилось на нет. Намек — да, но не более того. Критики писали, что образы, которые я создавал на экране, отмечены духовностью и порядочностью. А секс? Какой секс? Соцреализм в вопросах пола по-детски чист и наивен. Образцовый пример: Ленин и Крупская. Кто такая Надежда Константиновна? Друг и соратник Ильича. Общность идей, совместный труд и... кровати в разных концах Кремля.

Мои герои тоже были оскоплены, хоть были усаты и носили штаны. Некоторым зрителям такой тип мужчин нравится. Мягкость и интеллигентность образа часто свидетельствует о наличии этих же качеств у исполнителя. Этакая «голубизна»...

Словом, голубые приняли меня за своего.

Я познакомился с Демидовым в 1975 году, когда привозил в Сан-Франциско свой первый режиссерский фильм «С тобой и без тебя». Мы раздавили бутылку на одной из эмигрантских вечеринок и. перекинулись парой-тройкой слов. Вскоре после этого в Америке показывали «Рабу любви», где я играл большевика, платонически влюбленного в кинозвезду.

Я получил письмо от Демидова с фотокарточками, напомнившими о нашей встрече. Я ответил. Мне понравилось в новом знакомом то, что, живя в Америке, он свято относился к русскому искусству, что суждения его о том или ином фильме часто совпадали с моими, и еще то, что он хоть и жил в довольствии, душа его просила чего-то большего.

С нарочным Дима послал набор пластинок с музыкой из легендарных голливудских фильмов. Потом сердечно поздравил меня с женитьбой на Вере. Когда родились Анютка и Машенька, он присылал милые (и такие необходимые!) платьица и игрушки. Я писал ему с теплотой, которой он вполне заслуживал. Когда он бывал в Москве или Ленинграде, мы с Верой его сопровождали. Когда он захотел познакомиться с Клавдией Ивановной Шульженко, я отвез его к ней (К. И. жила у метро «Аэропорт»). Дима завязал с ней открыточно-телефонный роман.

Как-то он позвонил Клавдии Ивановне из Сан-Франциско.

— Какая у вас погода? — поинтересовалась она.

— Цветет сакура, но еще холодный ветер, — ответил Дима.
— Да? А какой у вас... месяц?
— Тот же, что и у вас, Клавдия Ивановна. Март.
Со временем Дима сдружился и с Аркадием Райкиным. Это была его слабость — советские знаменитости: Нани Брегвадзе, Андрей Миронов, Радик Нахапетов...
Конечно, я знал о его гомосексуальности — по характерной изломанности движений, по тону голоса, по сальной ласковости взгляда. Когда делали фото (это была его страсть — сниматься), он трепетно прижимался ко мне, по-девичьи склонял на мое плечо голову.
Мы с Верой посмеивались, закрывая на эту Димину слабость глаза, считали его преданным, настоящим другом. Признаться, его манерность и старомодный эмигрантский шик нас забавляли, и мы часто звонили ему и ждали в гости. С ним не соскучишься!
Итак, я летел в Америку. К Диме Демидову. Я знал, что обрадую его своим приездом, но при этом ни секунды не сомневался, чтоне оправдаю его тайных надежд. Для меня важно было другое. Я сделал фильм, который понравился в Голливуде.
Сан-Франциско! Мне всегда нравился этот холмистый город с великолепным архитектурным центром, с туристическим трамваем, китайским городом и, конечно, рдеющим над заливом красавцем мостом Золотые Ворота.
Однако обзор города занимал лишь ничтожную часть дня, остальное же время мы проводили за выпивкой. Диму окружали молодящиеся русские старушки, друзья по карточным играм и по «шампанелле». Эти жизнелюбивые женщины, эмигрировавшие в свое время из Китая, знали Диму еще шаловливым мальчиком, которого некогда сбил с пути один советский офицер. Никто и не думал осуждать Диму. Каждый живет в свое удовольствие! Этим женщинам было совершенно все равно, спим ли мы с Димой в одной кровати или на разных. Наверняка в одной и в обнимку.
Стоило ли оправдываться и говорить, что, пожелав друг другу спокойной ночи, мы расходились с Димой по разным комнатам?
День начинался с застолья — и заканчивался тем же.
В один голос пели дифирамбы Горбачеву. Дима пускал пьяную слезу, затем усаживался за пианино и пел Вертинского, веселые цыганские песни.
Через неделю я уже не мог на себя смотреть в зеркало: опухшая физиономия, поросячьи глазки. Привычный к питью, Дима был как огурчик, а я все больше и больше уставал от этого однообразия.
К достоинствам моего приятеля я отношу то, что ни разу за все это время он даже не пытался меня совратить. Возможно, сказалось мое природное умение держать дистанцию, переступить же черту дозволенного Дима был не способен. В результате пустопорожнее непрерывное общение друг с другом привело ко взаимному разочарованию. Его не устраивала, моя черствость (мужская), меня же раздражала его приторная мягкость (женская). Словом, мы быстро избавились от взаимных иллюзий.
Но как же надежды?
Попить «Смирновской», поесть китайской, послушать цыганские — и домой, восвояси?
А кино? Мои надежды на кино? Я ведь приехал как режиссер — с большими претензиями на удачу! Я взмолился Богу...
И вот в баре с оперным названием «Тоска» и расположенном в самом центре Сан-Франциско я познакомился с продюсером Томом Лади, который работал в кинокомпании Копполы. Том проводил меня на студию Джорджа Лукаса, создателя «Звездных войн». Более того, он даже обещал познакомить с Лукасом (Лукас согласился на короткую встречу).
Студия красиво расположена — в долине, посреди пологих ярко-зеленых холмов. Строения — новейшей архитектуры, а техника, которой они оснащены, вообще из XXI века. Все это создано на деньги самого Лукаса, давно грезившего о создании собственной киностудии и воплотившего свою мечту в столь поражающем великолепии.
Я ходил по притихшим просмотровым залам, по студиям звукозаписи, по безлюдным (в отличие от мосфильмовских) коридорам — по мягким ковровым покрытиям, сидел в удобных кожаных креслах, пил превосходный кофе, наблюдал служащих, приветливых и в то же время деловых, и мысли мои двоились. «Вот они, идеальные условия для работы!» — думал я.
И сам с собой не соглашался: «Не идеальные, а тепличный.»
На память приходили имена великих художников, писателей, композиторов, творивших в холоде и нищете! Вопреки удобствам и покою.
И все же, под конец моих раздумий, я испытал чувство зависти ко всем этим улыбчивым и деловым кинематографистам, проходившим мимо меня и скрывающимся за тяжелыми, красного дерева дверьми различных офисов, — так завидует вечно голодный всегда сытому.
С Джорджем Лукасом повидаться не удалось, так как его куда-то срочно вызвали, но я и так был переполнен впечатлениями.
Прощаясь, Том Лади протянул мне визитную карточку, но не свою, а какого-то продюсера по имени Майкл Гамбург, который эмигрировал из СССР несколько лет назад и который, по его словам, полон всяких идей.
Майкл (Миша) Гамбург мне понравился. Скромный, серьезный, деловой. Наготове записная книжка, в папке — вырезки статей о кино. Так, наверное, и должен выглядеть настоящий продюсер, думал я. Да, Майкл

продюсер, но пока не снял ни одного фильма. По образованию он инженер и работает в компьютерной компании, но мечтает делать свои фильмы. Мое имя ему известно еще по России, но последних моих работ он не видел. Пока мы разговаривали, мне пришло в голову, что в Америке легко можно назваться кем угодно, хоть президентом страны, — достаточно заказать визитную карточку «Майкл Гамбург. Президент США». Миша попросил рассказать, чем я занят на «Мосфильме».

— Может быть, объединим усилия? — сказал он, имея в виду совместный проект.

Я с воодушевлением рассказал сюжет комедии А. Галина, по которой намеревался снимать фильм «Стена».

— Смешно, правда? — спросил я, закончив. Миша из вежливости улыбнулся:

— В Америке такое не поймут. Абсурд.

— Вы думаете? — спросил я.

— Уверен! — сказал Миша. И я не стал спорить: продюсеру виднее.

— Знаете что? — вдруг предложил Миша. — Не хотите ли пойти со мной на семинар? Телевизионный, правда, но будет интересно.

Я согласился.

Семинар проводился в небольшом городке Мил-Вэлли под Сан-Франциско. Миша без конца что-то записывал, я же сидел в первом ряду и с умным видом слушал бизнесменов от телевидения, почти ничего не понимая. Было очень скучно. Однако мое терпение было вознаграждено.

В перерыве мы познакомились с элегантной дамой по имени Дайана, которая давно мечтала создать фильм совместно с русскими, но не могла найти подходящего сюжета.

— Мне очень хочется работать с русскими! — горячо заявила она.

Миша шепнул мне, что дама знает, где деньги лежат, так как долгое время была распорядительным директором Детского фонда города Мил-Вэлли.

Я не спал ночь: придумывал истории.

К утру один из сюжетов показался перспективным. Вот он.

В знаменитом парке Иосемити расположился интернациональный лагерь старшеклассников. Заблудившись, группа американских и русских подростков попадает в подземный город, где ученый-злодей, открыв новый вид энергии, готовится разрушить мир. Ребята вступают в борьбу со злой силой. Несмотря на различие характеров, дети объединяются (их сплачивает единство цели).

Выслушав мой рассказ, Дайана пришла в восторг: это именно то, что она искала! Теперь надо изложить сюжет на бумаге, чтобы она, как продюсер, могла начать искать деньги на сценарий. Для начала нужно что-то около двадцати пяти тысяч долларов.

— Майкл, прикиньте бюджет! — велела она Мище. Мы с ним переглянулись: не сон ли это?

Наша радость была так велика, что ее поспешил разделить Дэвид — младший брат Миши. О его существовании Миша раньше помалкивал, но, как только на горизонте замаячили двадцать пять тысяч, на сцену тут же был вызван брат. Это
был моторный малый, с чувством юмора и... с дальним прицелом.

Поначалу я не придал появлению Дэвида особого значения. Хороший парень, и только.

Но вскоре роль его стала проясняться.

— Дэвид -г шалопутный, но толковый, он мог бы помочь в написании сценария, — как бы между прочим предложил Миша.

— Да? — удивился я. — Дэвид пишет? -Да.

— И он уже что-то написал?

— Пока ничего. Но он учил русскому произношению актера Робина Уильямса в фильме «Москва на Гудзоне». Вы не видели? Смешная картина.

Мне не хотелось обзаводиться партнером, не имевшим писательского опыта, и я сказал:

— Миша, я сделал восемь художественных кинофильмов, к двум из них написал сценарии, так что пока справлюсь сам.

Миша не спорил, заметив к слову, что Дэвид, в общем-то, ни на что не претендует. Просто, если нужна будет помощь, он поможет. К тому же у Дэвида некоторый опыт работы в театре — у Товстоногова (?).

— Может быть, сделаем его ассистентом режиссера? — искренне предложил я.

— Конечно! — согласился Миша.

Я провел за печатной машинкой две бессонные ночи. Голова гудела от воображаемых детских визгов и подземных ужасов, ив результате требуемый Дайаной синопсис был готов. Назывался он «Потерянные и найденные».

Все, кто читал эту историю (семейство Миши в том числе), оценили ее на пять с плюсом. Оставалось сделать хороший перевод и передать его Дайане. А мне предстояла поездка в Лос-Анджелес, чтобы порадоваться уникальным аттракционам Диснейленда. А после — отбыть в Москву.

Дима сделал несколько звонков, подготавливающих наше пребывание в Лос-Анджелесе: будущие застолья были расписаны поминутно.

Но все же этот «Сутрапьян», как я в шутку его прозвал, предусмотреть всего не мог.

— Меня зовут Наташа, — представилась она.

У нее большие зеленые глаза, на первый взгляд придирчиво-строгие.

— Я видела ваш фильм, хотелось бы поговорить.

— Я готов! Слушаю...
Наташа, оказывается, видела «На исходе ночи» полгода назад, в университете Лос-Анджелеса. Сразу после просмотра она подошла к Олегу Рудневу (он написал сценарий вместе с И. Таланкиным) и попросила уделить ей несколько минут, однако советские чиновники, окружавшие тогда Олега, холодно ей отказали. Кто такая? О чем говорить? Руднева, тогда еще и председателя «Совэкспортфильма», интересовали потенциальные покупатели фильма. А тут просто восторженная зрительница.
— Мистер Руднев очень занят, позвоните ему завтра...
Стоит ли говорить, что Рудневу было не до Наташи ни завтра, ни послезавтра — на американском кинорынке, куда он приехал, у него не было и минуты свободной.
И вот — наша встреча в холле отеля «Рузвельт».
Не скрою, мне было очень приятно видеть привлекательную женщину, без устали рассуждающую о моем мастерстве.
Но не всё же о фильме да о фильме. Кое-что она рассказала и о себе: родилась в Китае, в городе Харбине, переехала с родителями (русскими эмигрантами) в Чили, а потом, в двенадцатилетнем возрасте, в США. В совершенстве владеет русским, испанским и английским. Сейчас работает в Ассоциации Независимого телевидения США, организовывает ежегодные конференции, знакома с телевизионным руководством таких студий, как «Фокс», «Уорнер», «Парамаунт», «Юнивёрсал».
Я рот раскрыл от удивления, не понимая, каким образом эта столь интересная особа вдруг оказалась на моем пути.
Впрочем, «чудо» объяснялось просто. Один знакомый сказал Наташе, что Дима Демидов привозит в Лос-Анджелес того самого режиссера, который сделал ее любимый фильм «На исходе ночи». С Димой Наташа давно была знакома, так что, созвонившись с ним, договорилась о встрече.
Наташа поднялась, протягивая на прощание маленькую теплую руку:
— Я думаю, вам нужен менеджер в Америке. Если вы не возражаете, я могла бы... Я многих знаю.
— Было бы здорово! — не раздумывая, согласился я. Ведь в 44 года в самом деле следует иметь своего менеджера.
Наташа ушла к мужу и пятилетней дочери. А мы с Димой пить. Как всегда.
На следующий день мы встретились с Наташей еще раз, и я спросил у нее совета по поводу контракта с Гамбургами.
— Если вы сделаете фильм на таком «гамбургском» уровне, вас близко не подпустят к Голливуду.
Мне не понравилось принижение Гамбургов.
— Я так не думаю, — сказал я.
Она пожала плечами, мол, хозяин-барин. — Но вообще-то я могла бы вас познакомить с президентом киностудии «Парамаунт».
— Что? — встрепенулся я.
— Нет, в этот ваш приезд не удастся — мало времени, но в следующий непременно.
Неужели в самом деле? С президентом «Парамаунта»?
Я тут же с радостью сообщил Диме, что в следующий приезд Наташа обещала познакомить с президентом «Парамаунта».
Мой друг состроил кислую гримасу:
— Это ничего не значит. Подумаешь, президент...
Наши отношения в последнее время стали очень натянутыми, но столь враждебного тона я не ожидал. По-видимому, он хотел хоть как-то отыграться — за обманутые надежды, за убитое время и потраченные деньги. Моя карьера его ничуть не интересовала.
— На что ты надеешься? — сказал он. — Ничего не выйдет! Не обманывай себя! — Дима картинно отставил руку с сигаретой и прибавил: — И... на меня больше не рассчитывай, вызова я тебе больше не пришлю.
— А я и не прошу, — невозмутимо ответил я. — Найду, где остановиться.
Дима смерил меня презрительным взглядом, не находя способа ужалить побольней.
— Я тебе сочувствую, — усмехнулся он. — Без языка, без протекции? Не будь наивным! Ты здесь пропадешь.
И все же я возвращался в Москву в приподнятом настрое-
нии. Я знал, что Дайана влюблена в проект «Потерянных», и верил, что непременно найдет деньги на сценарий. Я надеялся, что, закончив съемки «Стены», снова окажусь в Америке. И я был убежден, что по приезде Наташа непременно познакомит меня с президентом студии «Парамаунт» и с другими большими людьми Голливуда.
Я загадывал, что в сорок четыре года со мной что-то случится. И вот оно: Америка хоть и негромко, но говорит мне «welcome».
В Москве начались будни. Накопилось много вопросов по «Стене», в основном относящихся к смете фильма. При подсчете оказалось, что для нормального производства недостает примерно ста тысяч рублей — при общей смете полмиллиона.
Я отправился выбивать деньги у художественного руководителя объединения, но дополнительных денег не получил.

Встал вопрос: или делать фильм за невозможно малую сумму, или же отложить производство «Стены» на неопределенное будущее. Я задумался. Что делать?
Семейные отношения с Верой, хоть и носили характер дружеский и внешне благообразный, все же имели трещины и надломы.
К тому же в последние четыре года я стал делать фильмы, которые были далеки от интересов жены. Возможно, я и в самом деле наскучил ей. Она общительна, жизнерадостна, я же люблю уединение, часто предаюсь грусти. День за днем таяли наши чувства, но мы были слишком заняты своими киноделами, чтобы бить тревогу. Мы не замечали, как разрушается здание нашей семьи. Правда, иной раз гремели семейные грозы, и я даже порывался уйти из дома. Но разрыв казался чем-то нереальным. Возвращались из школы дочки — нужно покормить, помочь с уроками, поиграть.
Боже, как это здорово — иметь детей! Именно они, Анютка и Машенька, были тем якорем, который удерживал меня на Тишинке. Именно бесконечная любовь к ним и желание удержать в памяти каждый миг их жизни примиряли меня с охлаждением чувств к Вере.
...Я сажусь за пианино, тут же подбегает Машенька, стучит тонким длинным пальчиком по клавишам. Затем появляется Анютка и тоже тянется к пианино. Я подхватываю случайные звуки, подыскиваю слова, и вот наше баловство обретает форму:
Что тебе приснится, девочка моя? Ничего, что злится за окном гроза. Я хочу, чтоб белая, белая как снег,
Лошадь белогривая подошла к тебе.
Ты на ней умчишься в дальние края, Не спеши проснуться, славная моя. Я хочу, чтоб белая, белая как снег,
Чайка белокрылая виделась тебе.
Пусть она летает, над тобой парит, Человечьим голосом что-то говорит. Я хочу, чтоб белая, белая как снег,
Скатерть накрывалась празднично для всех.
Станешь ты счастливая от такого сна,
За окном утихнет черная гроза.
Я хочу, чтоб белая, чистая как снег,
Жизнь была бы радостной, а печальной — нет.
Мы поем, довольные своим сочинением. Девочкам давно пора спать, но они не отходят от меня, обняв с обеих сторон.
Я мечтаю написать книгу об их детстве, думаю, это будет единственное, что снова привлечет их ко мне. Девочки мои, моя неутихающая боль, простите меня.
Далекий океанский ветер достиг-таки Тишинского переулка и надул мои паруса...
Дело в том, что я написал литературную заявку под названием «Последний пожар», которую тут же отослал Наташе в Лос-Анджелес. Вскоре — звонок!
— Я уверена, Барри это понравится! Приезжайте! — сказала она.
Барри — это президент «Парамаунта», разве устоишь? Только легко сказать: приезжайте! Как это сделать? Как будто нарочно ситуация складывалась так, что ко времени Наташиного призыва моя «Стена» сама собой рухнула —
не получив необходимых денег, я вынужден был закрыть производство. Других планов у меня не было, так что на обозримом киногоризонте мне в ближайший год ничего не светило. А в Америке меня ждали! В Сан-Франциско — Дайана с «Потерянными» (наверняка она уже прочитала перевод), в Лос-Анджелесе — Наташа с «Последним пожаром». Маяк указывал мне путь на Запад!
— Надо ехать! Нельзя пренебрегать шансом, — сказал я Вере. — Если пойдут дела, девочки смогут учиться в Штатах.
По нашему уговору первым должен был ехать я, чтобы заработать деньги и затем послать вызов девочкам и Вере. Возможность изменить жизнь к лучшему придала последним дням, проведенным в кругу семьи, некоторую приподнятость. Мечтаниям не было конца. На какое-то время показалось, что перемена места реставрирует и наши чувства. Во всяком случае, впервые за долгие годы я увидел Веру счастливой (она всегда мечтала спасти девочек от социализма). Я уезжал с убеждением, что все будет так, как мы придумали.
И вот в первой половине января 1989 года, за несколько дней до моего дня рождения, я снова ступил на Землю, Больших Надежд. Здесь, с этого причала, с последних дней моего сорокачетырехлетия, собственно, и начинается моя американская история. Предшествующие страницы были сборами в дорогу, предчувствием грядущих перемен.
Как только я прилетел в Сан-Франциско, первый звонок — Гамбургам.
— Вы... вы уже здесь? — удивился Миша. — Так быстро? Но... Дайана еще не прочитала синопсис.
— Я решил приехать на свой страх и риск, — бодро заявил я.
— Но... У вас есть где жить?
— Да, — ответил я, — не беспокойтесь. Лучше скажите, как получился перевод?
— Неплохо, — сказал Миша.
— А когда вы передали его Дайане?
— Давно...
В тоне Мишиного голоса я уловил замешательство.
Я предложил Мише встретиться — мне не терпелось взглянуть на перевод, сделанный в мое отсутствие. И

прояснить ситуацию.
— Мы сделали перевод, но... — осторожно начал Миша, — мой брат Дэвид поправил ваш синопсис, больше на американский вкус.
То, что я прочел, лишь отдаленно напоминало «Потерянных». Какая-то размазня, без воображения и без действий.
— Знаете, Миша, это нехорошо. Миша развел руками:
— Я сказал Дэвиду... Но он подумал, что надо на американский вкус...
И тут я заметил, что на титульном листе нет моей фамилии. Вообще нет фамилии автора.
— Мы... просто забыли напечатать, — пояснил Миша. — Но ведь Дайана знает, чей это сценарий.
— Скажите честно, — мрачно поинтересовался я, — существует ли вообще перевод того, что я написал?
— Да, конечно! Мы завтра же пошлем Дайане ваш вариант, — выравнивал ситуацию Миша Гамбург.
— Как вы думаете, почему она так долго не дает ответа? — спросил я.
— Она еще не прочитала. Я слышал, что она уехала в другой штат, к дочери...
— Уехала? — переспросил я. — А что, если Дайана молчит потому, что синопсис ей не понравился? Давайте позвоним и спросим.
— Я думаю, ее нет... — сказал Дэвид.
— Давайте я позвоню, — предложил я.
— Тут так не принято — спрашивать в лоб, — деликатно заметил Миша.
— А что принято? Посылать вместо одного синопсиса другой?
Миша, вздохнув, пошел к телефону.
Дайана оказалась дома.
Миша задал ей прямой вопрос и получил прямой ответ: да, синопсис ей не понравился. Она приняла решение больше не заниматься этим фильмом.
— Я понимаю... мы понимаем... — начал Миша. — Но, знаете, произошло недоразумение... вы читали не тот синопсис.
— Не тот? — удивилась Дайана. — Как не тот? А где же тот?
— У меня. Я привезу вам его немедленно. Хотите?
— Не понимаю, — недоумевала Дайана. — Но ведь название то же самое?
— Ам-м-м... — Миша взглянул на притихшего брата. — Знаете, когда переводили на английский, переводчик... ам-м-м...
— Странно, — вздохнула она. — Ну ладно, привозите. Только не торопите с ответом.
Теперь мне стало ясно, почему на титульном листе «забыли» написать мою фамилию: если бы Дайане понравился новый сюжет, братья тут же открыли бы и авторство Дэвида.
Меня приютили одни мои хорошие знакомые — религиозные, добрые русские люди. В первый же вечер я позвонил Наташе. Она была удивлена, что я уже на месте.
— Только зачем вы полетели в Сан-Франциско? Лучше бы прямо сюда...
— Я обещал Гамбургам... Ждем ответа от Дайаны.
— Не забывайте, Родион, кино делается в Лос-Анджелесе. Голливуд здесь, а не в Сан-Франциско.
Что я мог на это ответить? Конечно, мне хотелось поехать в Лос-Анджелес. Но что, если Дайана снова воспылает любовью к «Потерянным»? Это значит — работа! Реальная работа! Те самые двадцать пять тысяч!
— А как же встреча с Барри? — спросила Наташа. — «Па-рамаунт» не Гамбург!
— Я бы хотел сначала получить ответ от Дайаны, и потом... вы ведь еще перевод «Пожара» не сделали.
— Вы думаете, это легко? — В ее голосе прозвучала обида. — Там почти двадцать страниц.
— Как только будет сделан перевод, я тут же приеду. Наташа вздохнула, понимая, что вопрос обсуждению не подлежит.
— Ну что ж, сидите в вашем Сан-Франциско... Кстати, как вы устроились?
— Нормально. У знакомых...
— Знаете что? — сказала она. — В Сан-Франциско живет мой отец. Переезжайте к нему. Большой дом. Вдвоем вам будет веселее.
Мне не хотелось быть слишком обязанным женщине, и я отказался.
— Почему нет? — настаивала она. — Отец там один, в большом доме.
— Не беспокойтесь, я в порядке.
— Отцу будет не так одиноко, я уве-ре-на!
Это «уверена» очень точно ее характеризовало. Во всем уверена!
Обстоятельства сложились так, что мне таки пришлось воспользоваться предложением Наташи. И я переехал к Алексею Шляпникову — почти на две недели.
— Ваш отец поселил меня в вашей комнате, — позвонил я ей. — Вы не против?
— Она давно уже не моя. Нравится?
— Да. Кстати, ваш портрет прямо перед моими глазами.
— Разве он его еще не убрал?
— Зачем? Хороший портрет... Сколько вам на нем, шестнадцать?
— Не знаю. Скажите отцу, пусть снимет. А то спать вам, наверное, мешает...

— Наоборот.
— О, да?! Значит, я действую на вас как снотворное?
С отцом Наташи мы быстро нашли общий язык. Он мне понравился сразу. Этакий Борис Андреев! Большой и добродушный.
Три года назад Алексей потерял жену — Аллу, мать Наташи. Жуткая история, которую перемалывали в Сан-Франциско долгое время. Старик китаец разворачивал автомобиль и нечаянно вместо тормоза нажал на газ. Автомобиль врезался в дом Шляпниковых, проломил дверь гаража и убил Аллу.
Алеша чуть с ума не сошел, ничто не могло его утешить. Стоило ему увидеть китайца, как начинал задираться. Наташа решила отправить отца в Россию — не только потому, что там мало китайцев, но и для смены впечатлений. Это сработало. Впечатлений было столько, что он мог бы написать целую книгу.
— Зашел в аптеку, — вспоминал он, — спросил, нет ли у них чего-нибудь от изжоги. Посмотрели как на придурка. Посоветовали выпить соды. Но ни в аптеке ее не было, ни в продовольственном магазине — нигде, хоть тресни. Когда ле-
тел в Баку, попросил стюардессу принести молока, принесла в бутылке какую-то кислую белую жидкость. Это молоко? Нет, это кумыс. А я просил молока. Отвечает: «Это и есть молоко. Из-под кобылы»(?!).
Алеша вспоминал это, смеясь, и я чувствовал, что рана его затягивается. Алеша коснулся тяжелого характера Наташи.
И тут у него как-то само собой вырвалось:
— Вы бы могли с ней справиться, вы — сильный!
Это было вполне в его стиле — точно обухом по голове. При чем тут я?
— Наташа — серьезная и толковая женщина, — сказал я, стараясь смягчить его сердце.
Алеша кивнул, вздыхая:
— Да, в работе она зверь. Всего добьется.
Я был удовлетворен. Раз «всего добьется», значит, Наташа именно тот менеджер, который мне нужен. Думать о Наташе как о женщине я не решался: у нее есть муж, у меня — жена.
Мои надежды оправдались. Дайане очень понравился синопсис. Прочитав мой вариант «Потерянных», она тут же позвонила Мише и, воодушевленная, предложила поехать в Йо-семити, где предполагались съемки.
— Я заказала отель, — сказала она.
Поехали вчетвером: Дайана, Миша, Дэвид и я.
— Мы сделаем прекрасную картину! — то и дело повторяла она. — Я так рада!
Мы бродили меж скалистых ущелий, любуясь могучими вековыми деревьями, прикидывали, где и что будем снимать, говорили с руководством парка, обсуждали будущие эпизоды...
— Дайана, простите, а сколько, вы думаете, понадобится времени, чтобы достать первые деньги? — осторожно поинтересовался Миша.
— Я буду стараться — улыбаясь, ответила она. — А не найдем инвесторов, я и сама смогу...
Мы знали, что Дайана не бедная, ее муж — хозяин большого мебельного салона. Поэтому в ее словах нам слышалась уверенность.
— Значит, пока суд да дело, — сказал я, — я могу слетать в Лос-Анджелес.
— В Лос-Анджелес? Зачем?
— Надо...
— А-а-а... к Наташе? — подмигнул мне Миша. — Красивая, да?
О том, что у меня есть менеджер, ему было известно. Но он провоцировал меня на более доверительный, мужской разговор.
— Кроме Наташи, там у меня есть еще... знакомые, — соврал я.
Я не собирался откровенничать с Гамбургами, особенно после их предательства. Зачем им знать, что предполагалась встреча с президентом студии «Парамаунт»? И к чему делиться своими мечтами? Тем более что «Последний пожар», страстная и мистическая любовная история, мне нравилась теперь ничуть не меньше, чем «Потерянные».
Мы полетели в Лос-Анджелес вместе с Алешей. Он давно рвался повидать свою внучку — дочь Наташи, кроме того, у него был дом в Лос-Анджелесе, который он сдавал квартирантам, так что ему надо было проверить состояние дел.
Мы остановились в доме у Наташи, на Голливудских холмах, вблизи гигантских белых букв H O LLYWO O D, которые так много для меня значили. Улица называлась Васанта-Уэй.
Наташиного мужа, как и ее отца, звали Алешей. Наташа вышла за него замуж всего три месяца назад, хотя знала с детства (по скаутскому лагерю). По профессии он был электрик.
Познакомился с пятилетней Катей (дочерью Наташи от первого брака), застенчивой и милой. И с рыженьким песиком по имени Лаки, что значит «счастливчик».
С утра мы с Наташей уезжали в офис — заканчивали перевод «Пожара», звонили по делам, разбирали и упорядочивали некоторые материалы обо мне (кое-что достали в местном киноинституте). Мы готовились к ответственной встрече с президентом крупнейшей голливудской киностудии, и Наташа, как менеджер, хотела представить своего клиента достойным образом.
Алеша-старший весь день отсутствовал (квартиранты — беспокойное хозяйство). Алеша-младший отсутствовал тоже: у него был отпуск по болезни и он между делом учился на каких-то курсах.

Вечерами я прикрывал дверь в свою комнату, смотрел телевизор или предавался фантазиям.
Иногда все собирались за ужином. Общие разговоры все время соскальзывали на то, что только нам с Наташей и было интересно: сценарий, актеры, бюджет... Алеша-отец без стеснения зевал, затем отправлялся спать. Другой Алеша стойко держался до конца. Как я ни старался перевести разговор на то, что интересует всех, Наташа упрямо возвращалась к кино.
Я открывал для себя нового и интересного человека. Узнал, к примеру, что Наташа состояла в организации, которая помогала бездомным. Она жертвовала. свои кровные деньги, отдавала свободное время. Это звучало для меня, советского человека, странно, ведь никто от нее ничего не требовал.
И еще меня занимало ее отношение к религии. После трагической смерти матери Наташа нашла утешение в молитве, а смысл жизни — в христианском учении. Их суперсовременный дом был полон икон, по-деревенски украшенных букетиками сухих цветов.
Вначале я был равнодушен к ее религиозному рвению, но со временем поверил в искренность подобных чувств. Кстати, я понял, что Наташа вообще не способна кривить душой. Это положительная сторона прямолинейности. Словом, мой советский нигилизм уступил место нормальному человеческому взгляду на вещи. Я почувствовал, что нахожусь в доме у добрых, глубоко порядочных людей. Мне даже сделалось стыдно, что я хоть и талантливый, но такой сухой и черствый — в сравнении с ними.
Наконец, свершилось то, о чем я мечтал! Мы побывали на студии «Парамаунт».
Раньше я не знал, что президентов на студии несколько и что Барри Лондон — один из них (он ответствен за кинопрокат внутри Америки). Он не имел отношения к производству фильмов, но был, разумеется, не последний человек на студии.
Лондон дружески обнял Наташу, поздоровался со мной и тут же предложил:
— Хотите посмотреть мой новый дом? Поужинаем вместе?
— Конечно, Барри! С удовольствием!
Наташа выразительно взглянула на меня, а Барри улыбнулся и прибавил:
— Позвоните через пару недель.
— О'кей, Барри! Кстати, как Алисой? Я давно с ней не виделась.
— Вот и увидитесь!
Барри обещал сходить в магазин, выбрать мясо, замариновать и приготовить его. Без чьей-либо помощи. Ну не сказка ли, в самом деле!
— А почему вы не пригласили Алешу? — спросил я Наташу.
— Потому, что продвигать надо вас, а не его. Не об электричестве же мы с Барри будем говорить! Алеша будет там как пятое колесо в телеге... Кстати, вы заметили, как Барри заискивает передо мной?
— Да, — покривил я душой. — Почему?
В свое время Наташа организовывала для киностудии «Парамаунт» праздничный вечер. И у нее в подчинении работала девушка по имени Алисой. Холостой Барри положил глаз на миловидную ассистентку Наташи, завязал интимные отношения. Он подарил Алисой бриллиантовое кольцо, предлагая выйти за него замуж, но она отвергла его предложение, сославшись на то, что не хочет обременять его обязательствами. Разумеется, такое бесхитростно-детское поведение двадцатилетней девушки окончательно сразило бедного Барри. Может, Наташа ее уговорит? Поэтому он и пригласил Наташу. Уламывать Алисой.
Пока мы ждали ужина с президентом «Парамаунта», в Лос-Анджелесе появилась Дайана. Нет, денег она не нашла, но у нее появилась хорошая идея, которую она хотела немедленно обсудить.
Мы отправились с Дайаной в ресторан таиландской кухни. Проект «Потерянных» уже был для нас с Наташей на втором плане, вся ставка делалась на «Последний пожар» и на пред-" стоящую приватную встречу с Барри Лондоном. Но обижать Дайану мы не хотели. Мы встретили ее как родную. Во время разговора наш оптимизм бил через край, и Дайана тут же заразилась нашим настроением — американцам импонирует чужой энтузиазм. Дайана предложила показать «На исходе ночи» в городе Мил-Вэлли (где она жила), а публичный резонанс использовать для раскручивания инвесторов.
— Хорошая идея! — сказала Наташа. — Покажем фильм!
— Да, покажем! — согласился я.
В Лос-Анджелесе по-летнему тепло весь год. Изменений в одежде практически нет. Брюки сменишь на шорты — вот и вся разница. И все же в русских людях сезонное чувство не так-то легко заглушить. То было начало марта. И у меня было весеннее настроение. Как бывает после долгой зимы: сбрасываешь надоевшее пальто, и тебя обдает свежестью. Ты смотришь на повеселевших прохожих с чувством понимания: «Как хорошо! Как радостно!»
Мы были пьяны без вина. Все складывалось как нельзя лучше. Какие мелочи, эти «Потерянные». Готовясь к ужину с президентом «Парамаунта», я придумал еще несколько сюжетов, мозг кипел от возбуждения. Наташа радовалась вместе со мной. По контракту она, как менеджер, должна была получить десять процентов от моих будущих миллионов, так что интересы совпадали и сердца наши бились в унисон.
А может, мы уже были влюблены?
Наташин отец, завершив свои дела с квартирантами, вернулся в Сан-Франциско. Я же остался в Лос-Анджелесе.
Время от времени я звонил в Москву и делился своим энтузиазмом с Верой. Девочки что-то щебетали о скучающем попугайчике Кеше, о новых рисунках Машульки, о балетных успехах Анечки. Там, на Тишинке,

своим чередом шла моя прошлая жизнь. Здесь же, на Васанта-Уэй, у подножия прославленных букв, притягивающих киномечтателей со всего мира, я ждал чуда.
Дом президента киностудии «Парамаунт» Барри Лондона располагался на вершине одного из холмов, так что весь Лос-Анджелес был отсюда виден как на ладони. Поднебесье, да и только! Барри и Алисон были одеты по-домашнему: хозяйка — в серых спортивных шароварах, хозяин — в рубашке с короткими рукавами. Они с гордостью показали нам дом. Алисон вела себя с Барри уверенно, даже слегка пренебрежительно.
Великолепный дом! Просторно, чисто. Улучив момент, Наташа шепнула мне:
— Какая-то декорация, а не жилой дом. Тебе не кажется?
— Нет, не кажется, — ответил я. — От такой декорации не отказался бы и Горбачев с Раисой Максимовной. А что
неуютно и мертво, так это поправимо: в доме надо пожить. Но — красота! Смотри!
Под окнами, внизу, лежал сверкающий мириадами вечерних огней Лос-Анджелес...
Барри сам приготовил ужин. Как обещал.
На столе огромная миска с листьями салата, вареная картошка и мягчайшие куски мяса. Больше ничего. Скупо, но безумно вкусно. Я уже знал, что американцы принимают гостей не так, как это делаем мы, когда стол ломится от еды и всё тебе подкладывают, да наливают, да обхаживают.
Выпили по бокалу вина и сели за стол.
Я упорно ждал, когда наконец разговор зайдет о кино. Но ни о кино, ни о творчестве мы не говорили. Что, в общем-то, было нормально. В выходной день о чем угодно, но только не о работе!
Расстались мы как друзья. Барри даже попросил Наташу взять Алисон в партнеры по работе (у Наташи был контракт с «Парамаунт» на проведение специальных торжеств). При этом Барри сказал, что Наташа очень хорошо влияет на Алисон. Из всего этого я сделал заключение, что Алисон, обработанная Наташей, за время ужина созрела, чтобы выйти замуж.
Звоните, заезжайте...
Вскоре Наташа открыла мне тайну, почему Алисон так долго не давала согласия Лондону. Девушка поделилась с Наташей секретом. Да, она любила Барри, но у Барри проблема со здоровьем: то ли почечный камень, то ли что-то еще, словом, Барри хочет, но...
В Америке все помешаны на психоаналитиках. Чуть какая трудность, идут на прием. Мне кажется, что нервная система у американцев настолько чувствительна и хрупка, что наши российские дела убили бы их в одночасье.
Так вот, Наташа порекомендовала Лондону знакомого психоаналитика. И это была ошибка. Наташа как бы давала понять Барри, что осведомлена о его беде. Он стал чувствовать себя с нами неловко. Психоаналитик приобрел богатых клиентов — на долгий срок. Мы же потеряли легкость приятельских отношений с Лондоном — навсегда.
Когда мы передали Лондону синопсис «Последнего пожара», он обещал содействовать. Однако в его голосе прозвучали новые нотки. Перед нами стоял не милый Барри, так за-
ботливо сервировавший для нас стол, а президент крупнейшей киностудии в Голливуде.
Вслед за этим раздался звонок от Алисон. Она торопилась поделиться с Наташей своей радостью: у Барри все вошло в норму. Он теперь великолепный мужчина, и она ужасно рада, что выходит за него замуж. Она приняла от Барри не только бриллиантовое кольцо, но и «мерседес» за сотню тысяч и через год приглашает нас на свадьбу. Наташа поздравила ее, но почувствовала в тоне Алисон некоторую нарочитость. Вряд ли «почечный камень» Барри так быстро растворился, просто Алисон давала задний ход, спасая престиж не столько будущего мужа, сколько президента студии.
Мне сразу показалось, что со стороны незрелой девчонки большая глупость — открыть интимную тайну взрослого, любящего ее человека. Теперь Алисон одумалась, ей нужно было вернуть нечаянно оброненные слова. Но — поздно: Лондон стал избегать встречи с нами. Правда, он все так же любезно отвечал на Наташины звонки, но разговоры становились всё короче и суше. Наконец месяц спустя он вернул нам синопсис «Последнего пожара» со словами, что ему история показалась интересной, но прогнозисты студии и производственники снимать по ней фильм не рекомендуют.
В конце любезное: звоните, увидимся...
Мы расставались с Наташей только с приходом ночи. Она уходила к себе в спальню, я же — в свою тихую комнатенку. Днем мы не думали друг о друге, не было времени, мы были слишком заняты. Но вот наступала ночь, и меня начинали преследовать воображаемые сцены, происходящие в соседней комнате, под непомерно высоким потолком. Я все еще не хотел признаться самому себе, что интересуюсь Наташей всерьез. Бессонницу объяснял духотой, впечатлениями дня. Но ухо настороженно улавливало терзающие душу шорохи, и я со злостью закрывал голову подушкой.
Меня раздражала тихая скромность Алеши. За что она его любит? За какие такие достоинства? Измученный, я всегда мысленно возвращался на Тишинку — туда, где меня любят и ждут.
В Сан-Франциско мне пока делать было нечего, а в Лос-Анджелесе работы невпроворот: я придумал пять историй для
художественного кино, написал два документальных сценария (в соавторстве с Наташей), надо было эти проекты реализо-вывать.

Утром завтракали втроем. Обсуждали программу дневных действий. Я и Наташа отправлялись на «мерседесе» в ее офис. У Алеши оставался «порш» и... три месяца супружеского счастья с Наташей.
Время неумолимо склоняло нас к ломке устоявшегося порядка вещей. Плотное каждодневное общение с Наташей постепенно переплавило деловые отношения в интимные. Все шло так, как мы того втайне хотели, но, когда это случилось, мы растерялись, словно средь ясного неба грянул гром. Всякий раз мы уговаривали себя, что надо немедленно прекратить подобного рода отношения, мы понимали, что это большой грех, но переспорить чувства не могли. Нас затягивало в омут.
Именно в это время рухнул «Последний пожар», наш любимый сюжет. Что ж, на «Мосфильме» мне тоже, бывало, отказывали. Справлюсь и с «Парамаунтом».
И у Наташи был горький опыт.
Три года назад она познакомилась с кинорежиссером Мэтом Симбером. Вместе с ним придумала телесериал о женской борьбе. Наташа, как соавтор и продюсер, вложила в этот глупый проект время, талант и сердце. Но как только началось производство, Симбер сделал вид, что Наташа тут ни при чем, и выбросил ее за борт.
Между тем сериал приобрел популярность и начал приносить деньги. Наташа была оскорблена в лучших чувствах. Если бы за свои труды она получила от Мэта Симбера хотя бы пару тысяч, то и претензии бы не было. Но он не дал ей ни цента. Наташа сказала, что обратится в суд. Разозлившись, Симбер припугнул: «Посматривай за дочкой, когда та будет переходить дорогу». Зная, что Симбер связан с мафией, Наташа испугалась и некоторое время в суд не подавала, но в конце концов решилась, нАняла адвоката и начала борьбу. Против нее ополчилась целая бригада адвокатов, финансируемая из Лас-Вегаса. Наташа знала, что правда на ее стороне, и в конце концов победила. Один из адвокатов Симбера не выдержал сражения и получил инфаркт. Ее проклинали, ненавидели, но решение суда опротестовать не могли.
Как-то мы зашли в кафе. Вдруг Наташа, увидев кого-то, смутилась, краска прилила к щекам.
— Кто такой? — насторожился я. Наташа потянула меня к выходу:
— Это Мэт Симбер. Пойдем отсюда.
Но как только мы оказались на улице, Наташа передумала:
— Нет, мне надо с ним посоветоваться. Он в кино как рыба в воде. Подожди меня здесь.
Сказала и тут же решительно толкнула дверь в кафе.
Я ходил взад-вперед по тротуару. Не странно ли, думал я, обращаться к откровенному врагу, с которым почти целый год велась судебная тяжба? Определенно тут замешано что-то недосказанное. А может, это именно и есть та самая Америка, где все подчинено бизнесу, и только бизнесу?
Спустя несколько минут я был представлен Мэту Симберу.
— Наташа мне о вас рассказала, — сказал он, с любопытством меня разглядывая.
— И я о вас знаю...
Симбер покосился на Наташу, но вполне беззлобно.
— Знаете, что вам нужно? — сказал он мне. — Человек, который позаботится о популяризации вашего имени в Америке. В СССР вы, может быть, кто-то, но здесь вы ноль. Нужен хороший паблисист!
Симбер посоветовал одну опытную даму, которая могла бы помочь. Жила она в Нью-Йорке.
Я уловил между Наташей и Симбером некоторое напряжение, но это было, как зарницы уходящей за горизонт грозы. Более того, он даже захотел купить фильм «Зонтик для новобрачных» и прокатать его в Америке — до того, как появится на экранах «На исходе ночи». Два фильма Нахапетова на экранах Америки! Совсем неплохо,
Наташа кивнула. А я подумал, что у этого Симбера вид вполне приличного человека.
Недавние враги перекинулись парой ироничных слов по поводу их прошлого сотрудничества, но вполне миролюбиво.
На следующий день Симбер послал телекс председателю «Совэкспортфильма» Олегу Рудневу, что компания господина Симбера готова начать переговоры о покупке «Зонтика для новобрачных». Ответа от Руднева не последовало. Возможно, компания Симбера была слишком мала или ненадежна (суды и прочее), кто знает! Только мой приятель Руднев не снизошел даже до переписки.
Я фаталист и считаю, что чему быть, того не миновать. А чего нет — о том и сожалеть не стоит. Все складывается по некоему стратегическому плану жизни. Не исключено, что Симбер обмишурил бы Наташу и в этом случае. Так что все к лучшему!
Но поговорить с паблисистом — неплохая идея.
Наташа вспомнила, что у нее есть два льготных авиабилета.
— Давай слетаем в Нью-Йорк, — предложила она. — А остановимся у моей подруги Марши.
— А это удобно? — замялся я. — Твоя подруга знает Алешу...
Ответ был простой:
— Марша настоящий друг.
Я был чрезвычайно смущен терпимостью Алеши. Неужели он слепой и ничего не видит?
Я знал, что Алеша по уши в долгах (после своей холостяцкой жизни). Может быть, именно поэтому, думал я, он и вынужден помалкивать, чтобы не потерять теплый и сытный угол?
И все же в том, что случилось между Наташей и мной, его вины не было.
Задним числом подло оправдываться.

...В Нью-Йорке мы встретились с рекомендованной нам дамой. Поговорили, обсудили, прикинули и разошлись, понимая, что платить за ее работу надо вперед, а эффект возможен не скоро.
Ничто не могло нас огорчить. Мы бродили по городу, обнявшись.
В самом начале мы обманывали себя, думали, что связи подобного рода кратковременны, все это каким-то образом погаснет, утихнет, войдет в прежнюю колею. Останутся лишь деловые, дружеские отношения.
Разумеется, в те дни ни Наташа, ни я даже не мечтали о том, чтобы строить семейную жизнь сообща. Мы не заглядывали далеко вперед.
По возвращении из Нью-Йорка Наташа попросила Алешу спать отдельно. Любовный треугольник обрел четкие геометрические формы: я спал в своей комнате, Наташа — в спальне, Алеша перебрался в гостиную.
Его упорное игнорирование реальности, его слабоволие и материальная зависимость от жены привели к тому, что он, не обсуждая и не возражая, покорно принял роль отринутого супруга. Конечно, он знал, что происходит, но о разводе с Наташей даже думать боялся.
У Наташи росло раздражение. Почему он не сражается за нее?
Алеша драться не соизволил. Таким образом, за неявкой соперника на ринг, я и выиграл бой.
Наташа подала на развод.
Когда речь зашла о разделе имущества, со дна поднялась муть, всякие подсчеты, мелкие придирки и уточнения. Но у всего бывает конец. Семья, просуществовав полгода, распалась.
Мы с Наташей горячо бросились друг другу в объятья.
Не задумываясь, что у одного из любовников — жена в Москве и две родные дочки.
В один из весенних дней 1989-го на студии «20-й век Фокс» был устроен просмотр «На исходе ночи».
Кто же был в зале?
Экзальтированная киноактриса Лая Раки, некогда блиставшая жгучей (цыганской) красотой, но доживающая свой век в полной безвестности.
Ее муж, известный в прошлом артист театра и кино Рон Рэнделл.
Уютно расположился в кресле лос-анджелесский пабли-сист, которого мы держали на примете, но платить ежемесячно 2500 никак не решались.
Взад-вперед по залу с переносным телефоном под мышкой носился молодой артист Крис Квинтен.
Любезности ради на просмотр заглянул редактор популярной телепередачи «Развлечение ночью».
Терпеливо ждал начала фильма миловидный Роналд Паркер — сценарист и продюсер.
В самом конце зала, в уголке, примостились Барри Лондон и Алисой.
К несчастью, на просмотр мы приехали с опозданием.
Во время просмотра я ерзал в кресле, косясь то в одну, то в другую сторону. Но вскоре моя тревога улеглась.
Я увидел, что фильм нравится. Американцы вообще очень благодарные зрители.
По окончании фильма в зале раздался восторженный возглас Лай: «Великолепно!» И публика разразилась аплодисментами. Я, улыбаясь, оглядел зал. Все смотрели на меня с почтением и признательностью.
Но президента «Парамаунта» и его жены в зале почему-то не было. Кто-то заметил, что они ушли, как только на экране появились заключительные титры. Наташа шепнула, чтоб я не переживал — у человека могут быть дела!
— Я член Академии! — не унималась Лая. — Этот фильм достоин «Оскара»!
Покидая зал, каждый старался найти слова благодарности и восторга. Я был доволен, но и смущен — почему Лондоны ушли? Трудно поверить, что дела не позволили им задержаться и сказать хотя бы пару слов.
Позднее мы поняли, почему президент студии «Парамаунт» так холодно отреагировал на фильм. Наверняка из-за нашего опоздания. Какому начальству приятно ждать, а он ждал целых пятнадцать минут.
По опыту знаю, что объяснения в таком случае лишь смягчают удар, не более. Я попросил Наташу позвонить Барри Лондону.
Барри нашел фильм странным.
— Он начался с каких-то второстепенных персонажей, я долго не мог понять, за кем надо следить. Это не по-американски. Зритель с первого крупного плана должен понять, кто герой. «Фокс» купил это для внутреннего проката?
— Нет, только международные права, — уточнила Наташа. — В Америке будет прокатывать другая компания.
— Ну что ж, — вздохнул Барри, давая понять, что обсуждать больше нечего.
Как я уже говорил, с тех пор как Барри и Алисой стали пользоваться услугами психоаналитика по сексу, рекомендованного Наташей, дальнейшие дружеские отношения с Лондонами, а с ними и деловые, стали натянутыми и потеряли всякую перспективу.
Но вслед за огорчением — радость.
Позвонил продюсер Рон Паркер, который был на просмотре. Он еще раз поблагодарил за картину и предложил конкретное дело. Он преподает в университете как сценарист, и у него есть студентка, пишущая о своем пребывании в Киеве. Не хотел бы я подключиться? Он верит, что этот сценарий может заинтересовать большую студию.
По всему городу в это время были развешаны афиши, анонсирующие новый фильм этого продюсера «Моя мачеха — космический пришелец» с Ким Бэсинжер и Дэном Экрой-дом — звездами Голливуда.

Понятное дело, я отнесся к предложению Рона Паркера с большим интересом.
Он послал мне сценарий.
Я пришел в ужас от того, что прочитал. Речь там шла о богатом, а потому циничном американском парне. О том, как он с группой туристов попал в Киев и тут же был обласкан простой украинской семьей. Ему было так хорошо, что он обещал прислать им банку орехового масла — на пробу. Парень выполнил свое обещание. Вот и весь сюжет.
Я вежливо отказался. Рон согласился с моими доводами, но продолжал настаивать, что потенциал подобной истории достаточно велик. Интерес к России растет. Кроме того, он обратился ко мне потому, что верит в мой талант и не сомневается, что я смогу переписать сценарий так, как мне того хочется. Его ученица заведомо на все согласна. Я продолжал отказываться, но настойчивость продюсера мне льстила.
— Давайте попробуем, — предложил Рон. — Дженнифер покладистая женщина, она сделает так, как надо.
— От ее истории останутся только рожки да ножки. Только то, что американец едет в СССР...
— Достаточно! — уверенно сказал Рон. — Хорошее начало. Я улыбнулся.
Мы встретились с Дженнифер. Это была внушительных размеров женщина, настоящий гренадер. Примерно одних с Роном лет — около сорока. По-видимому, Рон подготовил ее к нашей встрече, потому что мою критику она восприняла мужественно. «В Киеве такие чудесные люди!» — то и дело вставляла она. Но этот возглас ровным счетом ничего не значил — ни для понимания структуры будущего сценария, ни для разработки характеров. Надо было начинать с нуля.
Шаг за шагом, ступень за ступенью, рассуждая все вместе, мы продвигали историю вперед. Я придумывал эпизод за эпизодом, лепил характеры, насыщал деталями эту довольно хилую историю, с трудом скрывая собственное неудовлетворение.
Работа двигалась, наши отношения с Наташей перешли в новую стадию. Все чаще возникал вопрос о моем разводе с Верой. Ведь Наташа порвала со своим мужем, освободилась. Или я мечтаю вернуться в Москву? Скандалы разгорались как будто ни с того ни с сего. Но очень скоро я понял, что угли тлеют в одном и том же месте. В моем прошлом.
Что я мог поделать? Оставить Веру и девочек с той же легкостью, как Наташа оставила Алешу? Но это не равная жертва. Нас с Верой связывали не полгода, а четырнадцать лет совместной жизни, общие интересы, общие дети. Кроме того, уезжая, я много всего наобещал, и не выполнить этого казалось мне позорным. Я должен был обеспечить моим девочкам благополучное будущее.
Ослепленные любовью, мы продвигались все дальше и дальше в наших отношениях и наконец подошли к той критической точке, когда неопределенность сделалась мучительной.
— Я не хочу больше так жить! Ты должен принять какое-то решение. Или туда, или сюда.
Подобные разговоры всегда заканчивались тем, что я звонил знакомым, просил у них ночлега. Но страх потерять друг друга всегда брал верх. Все оставалось на прежних местах. До следующего скандала.
В мирное время мы любили ходить по узким змеевидным улочкам голливудских холмов и заходить в дома, на которых висела табличка «Open Hous», то есть открытый дом (для желающих купить). Нам было любопытно, какой дом, как живут люди. Как мы могли бы жить...
Мы погуляем в «открытых домах», Уснем на горячем и солнечном пляже, На голливудских зеленых холмах
Сдуру поссоримся даже.
Ну, а потом мы пойдем в «Сан-Палас»,
Или гадалку послушать. ,
Сплетни не трогают нас,
Да?
Вспомним заветное, лучшее.
Если уйду — никого не вини...
«Сан-Палас» был нашим любимым китайским рестораном. Неподалеку от него располагалось крошечное заведение, где гадалка Росинка предсказывала нам будущее — и не один раз. Мы всему тогда хотели верить, поскольку обещалась нам долгая и счастливая жизнь. И успех, и большой дом у синего моря.
Как-то в гости к нам приехал отец Наташи и нашел эти песенные строчки на пианино.
— Он тебя бросит, дура! — сказал он. — Прочитай внимательно. «Если уйду...» Конечно, уйдет, у него в Москве семья.
Снова пожар и снова разрыв. И снова горячее любовное примирение.
Конец апреля 1989 года.
, В Мил-Вэлли состоялась премьера «На исходе ночи». Публика была интеллигентная (о такой только мечтать), реакция восторженная, победа — полная. Дайана была удовлетворена произведенным эффектом. Все ее друзья — тоже.
— Теперь я найду деньги на «Потерянных»! — убежденно говорила она. — Завтра же позвоню вот этой... и той. Я уверена, они не откажут.
Дайана рассчитывала на своих подруг-миллионерш, каждой из которых ничего не стоило дать на сценарий пять-десять тысяч. Но подруги не, дали …
Новый виток событий.
Сразу же после премьеры ко мне подошел известный писатель Мартин Круз Смит, создавший несколько бестселлеров, по одному из которых был поставлен фильм «Парк Горького». Он высоко отозвался о моей

режиссуре и сказал, что вынашивает одну киноидею. Не могли бы мы с ним потрудиться сообща? Это о женах грузинских партийных боссов. Может получиться похлеще «Крестного отца»!
— С радостью! — ответил я.
Наташа вызвалась подобрать необходимый материал о грузинской мафии.
На том и расстались.
Вернувшись в Лос-Анджелес, Наташа стала названивать в различные библиотеки, разыскивая статьи о грузинских партийных лидерах, жены которых крутили миллионные делишки. Информация была собрана, упорядочена и выслана Крузу. Стали ждать. Ждали с нетерпением. Особенно после разговора с агентом знаменитого писателя. Тот сказал, что достаточно только заикнуться, мол, автор «Парка Горького» хочет создать фильм о советской мафии, и двери любой студии распахнутся.
Но Мартин Круз Смит не захотел «заикнуться» об этом фильме, он заканчивал большой роман. Словом, остыл человек. Не нужны ему больше грузинские жены.
Сколько людей вращалось в нашей орбите! Не счесть! Мы с Наташей обнаружили, что из слияния наших интересов рождается достаточно сильная энергия. К нам тянулись, и от нас отшатывались. Впрочем, американцы встречают тебя улыбаясь и улыбаясь расстаются. Что там у них на сердце — поди разбери.
Вот несколько примеров.
...Мы позвонили одному из богатейших людей Америки, хозяину киностудии «Метро-Голдвин-Майер» (МГМ) Кёрку Керкоряну. Буквально на следующий день нам была назначена встреча в студийном офисе. В дверях кабинета нас приветствовал сам всесильный магнат — элегантный и доброжелательный. На вид не более пятидесяти, но я уже знал: в Америке выглядят моложе своих лет.
— Как дела? — спросил он меня, как старого знакомого. — Рад встрече!
— Я... я тоже, — сказал я в ответ. — Я много слышал о вас, еще в России.
Керкорян рассмеялся:
— Неужели? Я всего лишь владелец студии, не более того. За спиной Керкоряна стоял целый ряд «Оскаров». Я указал на это золото:
— Вы столько сделали!
— Это студия. Я тут совершенно ни при чем. Признаться, я особенно-то и не лезу в творческие вопросы.
Это прозвучало искренне.
— Меня больше интересует, — продолжал Керкорян, улыбаясь, — как бы повыгоднее эту студию продать. И купить солидную авиакомпанию.
— Не слабо, — шепнул я Наташе.
— Вы говорите по-армянски? — спросил Керкорян.
— Нет, не говорю. Отец был армянин, но я рос с мамой, она украинка.
— Ах вот как! — сказал Керкорян.
Мы с Наташей коснулись последних фильмов МГМ. Керкорян не поддержал разговор. Тогда мы стали говорить об уникальной музыкальной фильмотеке МГМ — лучшей в мире. Тоже никакой реакции.
— Вы приехали в гости или по работе? — неожиданно спросил Керкорян.
— У меня есть несколько синопсисов, — сказал я. Керкорян улыбнулся:
— Понятно. Что ж, желаю удачи! И протянул на прощанье руку.
Мы ушли. До сих пор не могу понять, зачем ему нужна была эта пустая встреча. Любезность? В Голливуде — любезность? Трудно поверить. Может, армянская кровь? Да, но этих армян в Калифорнии как песчинок на пляже. Что же тогда?
...Другой пример, другая встреча. Герберт Росс. Известный кинорежиссер. Вспомнили общих знакомых из Сан-Франциско, поделились своими впечатлениями о русском балете, конечно, не обошли Барышникова, с которым Росс работал на фильме «Белые ночи». Тон разговора был уважительный, на равных. Росс спросил, какие фильмы мне нравятся, каких режиссеров почитаю. К слову заметил, что европейским фильмам в Америке не везет, но есть любители, которым надоели голливудские стандарты и приевшиеся формулы, они хотят искусства.
— Родион — заслуженный человек в России, — вставила Наташа, протягивая Россу мой буклет.
— Хорошо! — сказал Росс, перелистывая страницу за страницей. — О! — неожиданно воскликнул он. — Я вспомнил!
Росс оторвал взгляд от фотографий и с любопытством взглянул на меня:
— «Раба любви»! Да-да, я видел этот фильм.
Когда мы прощались, Росс слегка задержал мою руку в своей и сказал:
— Надеюсь, вас ждет успех! Как мне хотелось в это верить! Наташа поблагодарила Росса за встречу.
Когда мне понадобилась рекомендация в иммиграционную службу, чтобы продлить пребывание в США, Герберт Росс не задержал с письмом ни минуты.
...Новое знакомство. Популярный в Лос-Анджелесе художник Юроз. На одной из вечеринок мы оказались с ним за одним столом. Он пять лет назад эмигрировал из Армении. Услышав, что я прибыл из Москвы, он шепнул своей подруге Дэби, что я сотрудник КГБ и подослан, чтобы следить за ним. Он даже пересел от меня подальше.
Наташа представила меня как знаменитого в Союзе кинодеятеля.
— Его фильмы в России даже дети знают! Юроз не выдержал.

— Интересно, — язвительно протянул он. — Какие же это фильмы?
Наташа бойко перечислила. Как только Юроз услышал название «Не стреляйте в белых лебедей», его лицо преобразилось.
— Это вы сделали «Лебедей»?
Я кивнул. Юроз облегченно вздохнул и дружелюбно протянул мне руку:
— Меня зовут Юроз. Юрий Геворкян. А вас как?
— Нахапетов. Родион.
— Наапетов? — не произнося буквы «х», переспросил Юроз и повернулся к Дэби с улыбкой: — Он тоже армянин. Представляешь, это режиссер моего любимого фильма.
— О, да?
...Новое знакомство. Некий Анатолий Давыдов. Лет десять назад, будучи советским тележурналистом (возможно, и сотрудником КГБ), он в первой же зарубежной командировке вырвался на волю.
Он написал сценарий документального фильма о русских
эмигрантах и сам собирался его поставить. На роль ведущего он пригласил Олега Видова. Но что-то у них там не заладилось.
— Не вышло у Видова меня сбросить, — сказал Давыдов. И предложил роль ведущего мне. В фильме намечались
интервью с Нуреевым, Солженицыным, Ростроповичем. Предполагалась поездка в Париж. Все это показалось мне заманчивым, и я согласился.
Тем временем работа над сценарием о путешествии богатого американца в Россию завершилась. Мы назвали его «Небольшой дождик в четверг».
Появился первый в моей жизни агент — Уордлоу. От «Дождика» он пришел в полный восторг. И заявил,, что продаст этот «глубокий и трогательный сценарий» в течение двух-трех недель.
Мне нравятся люди, предсказывающие что-то хорошее. Понравился и Уордлоу. А тут еще Рон предложил сотрудничество, уже без Дженнифер.
— Давайте вместе напишем сценарий. В стиле Хичкока, — сказал он.
Ну что ж, подумал я, кончился застой, начинается дело. Рон хороший сценарист и Хичкок — надежный капитан!
Это было лето 1989-го.
Вот уже полгода я не видел Анютку и Машу. Мучимый совестью, я думал о них постоянно. Разумеется, дети не знали, что назревает крутой перелом в их жизни. Но я-то знал...
Они прилетели вместе с Верой. Никогда раньше я не испытывал такого смятения чувств. Безмерная нежность и теплота к детям переплетались со стыдом. Формально-спокойные отношения с Верой каждую минуту готовы были взорваться всей накипевшей и жестокой правдой.
Мы устроились в мотеле на улице Фэйерфакс.
Между мной и Верой с первой же минуты пролегла холодная тень, которую Вера старалась не замечать. Я был вежлив с нею, но держал дистанцию, не оставляя сомнений, что у меня теперь другая жизнь. Ситуация позорная, низкая — с какой стороны ни посмотри. Мне было жаль Наташу, вынужденную терпеть мою раздвоенность, жаль было и Веру, прилетевшую к охладевшему мужу, но более всего жаль девочек.
Как им сказать, как выразить все то, что я чувствовал? Отрубить — и кончено? Много раз я мысленно говорил девочкам: «Анютка, Машуленька... Мы с мамой больше не любим друг друга и решили расстаться».
«А как же мы?.. — непременно раздавалось в ответ. — Ты нас тоже бросаешь?»
...Я рос, не задаваясь вопросом, почему мама одинока. По легенде, внушаемой мне с детства, отец геройски погиб. Но с годами до меня дошло другое: отец не только жив, но и имеет другую семью.
Как это произошло?
Во время войны мама, беременная мной, находилась в немецком концлагере. Отец, не дождавшись ее освобождения, женился на другой женщине. Когда мама вернулась, отец, увиливая от алиментов, потерялся где-то в Татарии. Мы никогда всерьез не говорили об отце: мама, по-видимому, не хотела говорить о нем плохо, я же не хотел слышать о нем хорошее. Туберкулез мамы, вечные скитания по чужим углам, наше с ней нищенство — вот что определило мое отношение к отцу. И не важно, был ли он хороший инженер, любил ли собак, писал ли стихи.
Я был ему не нужен!
Теперь я сам выступал в роли подлеца отца.
Два сказочных дня. В Диснейленде и на студии «Юнивёр-сал». Беготня от одного аттракциона к другому. Хот-доги, кока-кола, поп-корн — и безмерное счастье. Видеть их такими и примериваться к словам прощания было настоящей пыткой.
У моих женщин прямо противоположные характеры. По гороскопу Вера — Водолей, а Наташа — Близнецы. Одна избегает конфликтов, другая их провоцирует. С Водолеем легко, с Близнецами трудно. Наташу носит из стороны в сторону, Веру тянет к стабильности. У каждой есть свои плюсы и минусы. Нет, Близнецы отнюдь не мой любимый знак, но что же тогда стряслось? Что заставляет меня сносить Наташин мятущийся характер? Может, то, что мама тоже была Близнец? Неужели это ее призрак влечет меня?
В это время начались съемки документальной картины. Несколько интервью с эмигрантами мы сделали в Лос-Анджелесе, затем отправились в Нью-Йорк. Съемки на Брайтон-Бич, в Центральном парке. Потом

намечалась поездка в Па-
риж, где нас ждал наследник Российского престола Великий князь Владимир Кириллович. Там же, в Париже, предполагалось взять интервью и у Рудольфа Нуреева. Но прежде — Нью-Йорк.
В Нью-Йорк мы полетели с Верой и девочками. Там, побыв со мной четыре дня, они должны были сесть на самолет в Москву, я же, завершив серию интервью, на «Эйр Франс». Наташа оставалась в Лос-Анджелесе.
В эти последние четыре дня и я и Вера поняли, что случилось что-то непоправимое. Напряжение росло. Вера с трудом прятала от девочек слезы, а я изо всех сил старался занять себя работой. Лишь девочки, не догадываясь о беде, были по-настоящему счастливы. Наконец-то мама и папа вместе!
Съемки фильма шли полным ходом. Один интересный эмигрант сменялся другим. В результате, отснятого в Нью-Йорке материала хватило бы на десять фильмов. У всех интервью был единый остов: свобода! Эта тема была инициирована самим Давыдовым, поэтому приходилось обсасывать это слово и так и этак, и с таким усердием, что порой становилось скучно.
Однако то, что не было подчинено режиссуре Давыдова, а возникало спонтанно, мне очень нравилось и давало надежду, что фильм может вырулить на широкий простор.
— Кого ждем?
— Писателя Сергея Довлатова, — отвечает Давыдов и нетерпеливо смотрит на часы.
Наконец в кафе появляется высокий, привлекательной наружности человек. Ему под пятьдесят.
— Я Довлатов. Извините за опоздание. О! У вас уже все готово? И камера? И вопросы? Ну что ж, начнем.
Из-за недостатка времени режиссер забывает представить меня Довлатову.
Зажигается сигнальный огонек камеры, и я с места в карьер задаю первый вопрос:
— Вы были свободны в России? Вдруг Довлатов «берет меня в фокус»:
— Простите... А вы не Нахапетов? Камера работает, я должен реагировать.
— Да.
— Бога ради извините, что не признал вас сразу. Вижу

знакомое лицо, но... Как вы оказались здесь? Как устроились?
Вместо того чтобы отвечать ведущему, Довлатов сам стал задавать вопросы. Мне пришлось отвечать. Получилось смешно, естественно, до-ку-мен-таль-но. Жаль, что это непринужденное начало беседы Давыдов потом выбросил.
Один эпизод хочу выделить особо, он сыграет роковую роль впоследствии.
Нью-Йорк. Мы снимаем в Центральном парке. На почтительном от нас расстоянии Аня и Маша беззаботно резвятся на ярко-зеленой полянке. Оператор, закончив снимать очередного эмигранта, скашивает взгляд, замечает девочек и... включает камеру. Через полгода эти невинные кадры взорвутся, как мина замедленного действия, в наших с Наташей и без того трудных отношениях.
Мне платили сто долларов суточных. Несколько дней съемок и часть гонорара дали мне возможность купить компьютер, который Вера взяла с собой. Продав его, она могла бы получить приличную сумму. Это все, что я мог для них сделать.
И вот — Париж.
Великий князь Владимир Кириллович, наследник Российского престола, встретил нас чрезвычайно любезно. Мы расположились для интервью в его квартире в самом центре Парижа (неподалеку от американского посольства). Он был в элегантном темно-синем костюме, умело причесан — волосок к волоску. Голубая кровь, белая кость — царская порода. Вся семья была в сборе: жена, дочь и внук.
— Я испытал много трудностей, — говорил Великий князь. — Судьба бросала меня с места на место, но я, являясь единственным наследником Российского престола, всегда был готов выполнить свой долг.
Давыдов остановил съемку и подсел поближе к Великому князю.
— Не могли бы вы рассказать о другом? Что вы понимаете под словом «свобода»?
— Минуточку... — Владимир Кириллович повернулся к супруге: — Как было?
— Скованно. Повтори еще раз, — сказала Великая княгиня и, понизив голос, уточнила: — Вся наша семья перенесла огромные трудности.
— Да-да, ты права... (Режиссеру.) Позвольте мне еще раз? Я был недостаточно четок.
Анатолий, вздохнув, согласился.
— Пожалуйста, не забудьте о свободе.
Великий князь кивнул и начал свое интервью, подчеркнув на этот раз, что не один он испытал много трудностей, а...
— ...вся наша семья. Мы скитались по странам, знали нужду. Но никогда не забывали о своем священном долге...
Я видел, что Анатолий ерзает на стуле, явно недовольный. Он планировал услышать размышления наследника престола о свободе, а не о долге. Я отвел Давыдова в сторону.
— Пусть говорит, что хочет, — сказал я. — Это интервью для него — возможность заявить о себе в полный голос. Поверь, это всем будет интересно. Даже то, как он говорит, — уникально и неповторимо.
Давыдов был сердит. Ему не нравилось, что будущий монарх так упрямо избегает говорить о свободе. Видимо, поведение Великого князя нарушало стратегию Давыдова и задевало его режиссерское самолюбие.
На мой взгляд, в документальном фильме (да и в художественном) убеждают не намерения, а результат. Не

надо живых людей водить за ручку. Естественность дороже нарочитости. Разве плохо было бы заснять этого Владимира Кирилловича за обеденным столом или на прогулке, между делом вывести его на разговор и сделать это так непринужденно и легко, чтобы он забыл о существовании съемочной камеры? Надо, чтобы он был волен, свободен рассуждать, оставаясь самим собой.
Понятно, что в планы Давыдова такое не входило. Но и раздражаться на Великого князя не следовало. Тот, глядя в объектив видеокамеры, обращался не к Давыдову и не ко мне, а ко всей России. Его волнение было обусловлено тем, что он хотел произвести должное впечатление.
Каждый вечер я звонил Наташе. Несмотря на занятость, дни тянулись медленно, и я уже не мог дождаться, когда кончится наша разлука. И вдруг неожиданный удар: в американском посольстве, с недоверием взглянув на мой красный советский паспорт, заявили: «Визу получите не раньше чем через 21 рабочий день. Таковы правила».
Я был сражен наповал. Не видеть Наташу еще месяц?! Немыслимо!
Бросился к режиссеру, так, мол, и так, что делать?
— А что тут поделаешь? Придется сидеть в Париже. Спросим продюсера.
На следующий день, переговорив с продюсером Ли Дэйви-сом, Давыдов сказал:
— Продлеваемся на месяц. Ли в восторге от Парижа. С ним здесь и жена и сын. Все довольны.
Я был взбешен:
— Мне плевать, что все довольны. Мне надо уехать! Давыдов посмотрел на меня с любопытством:
— Не понимаю. Месяц в Париже! Ты до этого бывал здесь?
— Бывал!
— Бы-вал... Это сказка! Хочешь, я позвоню Наташе? Тут ведь объективные причины: посольство не переспоришь.
— Да не хочу я здесь торчать, елки-палки! Я прошу тебя помочь.
По-видимому, Давыдов понял, что мое настроение — не прихоть, и он принялся тут же названивать каким-то чиновникам в Штатах. Виза была получена через три дня, и я на крыльях счастья полетел в жаркий, мутный от вечного смога Лос-Анджелес. И вместе со мной — недовольная съемочная группа.
Сюжет для триллера (в стиле Хичкока) обрел четкие формы в моем сознании, так что по приезде в Лос-Анджелес мы с Роном начали активно работать. Мы встречались чуть ли не каждый день. Между нами установилось полное согласие. Наташа была рядом и всегда приходила на помощь, когда мой словарный запас истощался. Я вслух, сцену за сценой, выстраивал будущий фильм, Рон подробно все записывал. Затем мы расставались, и через два-три дня то, что мы придумывали и обговаривали, можно было увидеть на бумаге. Мне нравился стиль Рона (не сравнить с Дженнифер) да и сам он, деликатный, умный.
Рон бывал у нас дома. Стал нашим другом, но мы никогда не задавались вопросом, почему он в сорок лет не женат. В Америке не принято лезть в душу.
Как-то у нас в гостях был президент телевизионной студии «Уорнер Бразерс» Ричард Робертсон. Наташа знала его много лет и называла по-свойски Дйк. Дик то и дело в кого-нибудь всерьез влюблялся. В этот раз он привел с собой атлетического сложения девицу, настоящую культуристку. Так вот эта упругая девица тут же положила глаз на нашего застенчивого Рона. Попробовала даже завязать с ним отношения, но Рон вежливо сказал «нет». Как это можно было истолковать? Очень просто, девушка не в его вкусе. Однако со временем стало очевидно, что никакая девушка его не сможет прельстить. Никогда.
Сознание того, что Рон того же поля ягода, что и Дима Демидов, нас с Наташей нисколько не смутило. Хороший человек и есть хороший человек.
Пришла зима в Калифорнию. Смешно сказать — зима. По-летнему сияет солнце над головой, и даже в пасмурную погоду можно ходить налегке. Мои московские теплые вещи висят нетронутыми уже вторую зиму. Быстро бежит время. Убегает...
Как там Анютка? Она в Вагановском училище^ в Ленинграде. Там сейчас, наверное, сыро, мерзко. Что они с бабушкой делают долгими вечерами? В Москве тоже слякотно, и Машулька, наверное, с ангиной или с насморком. Как обычно...
Я думаю о них, и меня всякий раз охватывает беспокойство, поднимается волна жалости.
Анютка... Мне кажется, ей будет тяжело в жизни. Замкнутая, упрямая. К ее сердечку пробиться нелегко.
А Маша? При ее оптимистичном, задорном нраве так ли уж все безоблачно? Ее преследует аллергия — от грязного воздуха, от воды, от ее любимого попугайчика, от всего...
Разумеется, живя с Наташей, я помалкивал о своих тревогах, чтоб не сталкивать лбами две силы — любовь к ней и любовь к девочкам. Только вот вопрос, почему эти чувства сталкивались, а не мирно сосуществовали? Ответ: потому, что моя любовь к детям значила для Наташи кровную, а значит, и неразрывную связь с Верой.
— Ты говоришь о детях, а думаешь о ней! — вспыхивает Наташа.
Расстроенный, я садился за пианино...
И вот — опять простились с летом, Цветы охватывает дрожь, Ты слишком строг, холодный ветер, Ты больно бьешь, осенний дождь.
Зимой пугают злые ночи, Зимой так хочется тепла, Земные дни теперь короче, ; Метель дороги замела.
Но все кончается на свете... Деревья сон отгонят прочь, И снова чист весенний ветер, И снова ласков теплый дождь.

Мы с Роном наконец закончили наш триллер и назвали его (с Наташиной подсказки) «Психушка».
Я работал над этим сценарием с особым подъемом. Не только потому, что был творчески удовлетворен и надеялся на успех, а еще и потому, что основа истории документальна. Излагая ее, я избавлялся от давней боли, связанной с воспоминанием о матери, которую за инакомыслие упекли в психиатрическую больницу. Позволю себе рассказать эту историю.
Во времена Хрущева мама решила, что Никита Сергеевич сможет навести порядок и выпустить из застенков ГУЛАГа политических заключенных.
Она тогда работала воспитателем в лагере. Имея постоянный пропуск, мама передавала на свободу письма и информацию о нарушении прав человека как в лагере, так и за его пределами. Вскоре у нее на руках был список невинно осужденных, и он рос не по дням, а по часам.
На мамино письмо Хрущеву ответа не последовало. Советская власть оказалась глухой. Мне было тогда шестнадцать лет, и кино, которым я увлекался, было интересней реальности. Уехав учиться, я и вовсе отдалился от маминых политических интересов. С утра до ночи репетировал в актерской мастерской ВГИКа и материнские письма читал мельком, не углубляясь в днепропетровскую жизнь.
Однако ее письма становились все тревожнее. Сначала у нее были какие-то нелады на работе (в лагере для заключенных). Потом ее просто выгнали. Потом (в ее отсутствие) в комнате, где она жила, произвели обыск. Потом появились подозрительные типы, следующие за ней по пятам. И наконец, ее вызвали на беседу в психдиспансер. Так она познакомилась с Гендиным, врачом-психиатром, который «захотел ей помочь». - Гендин был вежлив, но сказал твердо, чтобы она тут же прекратила болтать глупости о политзаключенных в СССР и тем более писать письма в ЦК КПСС.
— Галина Антоновна, ваши возмущенные письма легко расценить как одну из форм шизофрении. Будьте осторожны.
— Письма были адресованы правительству, а не медикам. Откуда вы о них знаете?
Гендин вздохнул:
— Я просто предупреждаю. Взываю к вашему здравому смыслу. — Гендин вынул из папки листок бумаги: — Вот ваши слова: «Нарушение прав человека началось еще при Ленине. Категоричность, жестокость Ленина очевидна. В его записке Дзержинскому, к примеру...» — и так далее. Да понимаете ли вы, что пишете? На кого вы посягаете?
Маму не так легко сбить с пути, тем более напугать. Она ушла из кабинета Гендина, не сказав ни слова. И с еще большим рвением стала продолжать свою честную гражданскую работу. Вела переписку с бывшими политзаключенными, писала письма в различные общественные организации. Встречалась с активистами борьбы за права человека.
Весной 1962 года в пять часов утра за мамой приехали два милиционера и три санитара. Соседи рассказывали, что ее вывели из дома в ночной рубашке. Она кричала, вырывалась из рук дюжих мужиков, и тогда один из санитаров ударил ее ногой в пах, так что мама рухнула на асфальт, а двое других навалились на нее и, связав полотенцами, затащили в милицейскую машину.
Никогда не забуду небольшой городок Игрень неподалеку от Днепропетровска, куда я приехал, чтобы увидеться с мамой. Там и сейчас находится крупнейшая на Украине психиатрическая лечебница (эту политическую тюрьму упоминает Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»).
Мама была спокойна и готова к борьбе.
— Свяжись с журналом «Советская женщина», у них когда-то была статья обо мне (подвиг мамы в годы войны привлекал многих журналистов), попроси, чтоб они прислали сюда официальный запрос о моем здоровье и чтобы назначили консилиум. Если не выйдет, сошлись на закон, по которому ты, как ближайший и совершеннолетний родственник, можешь взять меня под свою опеку.
И добавила, совсем по-домашнему, мирно:
— Не беспокойся, здесь кормят неплохо.
Я приезжал в Игрень практически ежедневно. Кроме общения с мамой, у меня был и свой интерес. Я присматривался к необычным типам, которых там было предостаточно. Лишь поздно вечером, последним автобусом, я возвращался в Днепропетровск.
Однажды во время мертвого часа мама отдыхала, а я гулял по саду психбольницы. Озираясь по сторонам, ко мне тихонько подошла врач отделения. На глазах у нее были слезы.
— Спасайте ее, — шепнула она. — Вашу маму собираются отправить в закрытое отделение. Для буйнопомешанных.
— Что?
— Это конец. Никаких родственников, никаких консилиумов. Вы никогда ее больше не увидите.
— Что мне... что надо сделать?
— Я не знаю... Кричите, топайте ногами. Бейте тревогу. Вы — сын.
Я тут же отправился к главному врачу больницы. И со всем наболевшим чувством, а также со всем актерским мастерством начал наступление. Я был так агрессивен, что на меня самого можно было накинуть смирительную рубашку. Прямо с порога я заявил, что врачи совершают преступление, держа взаперти здорового человека. На каком основании? Просто потому, что кому-то наверху не по душе мамины письма? Что? Врачам виднее? Вы уверены? А мне виднее, что сумасшедшая не мама, а те, кто ее сюда направил. Ваш Гендин!

— Да и вы! Посмотрите на свои руки, — вырвалось у меня. — Видите, как они дрожат! Я тоже могу сказать, что вы не в своем уме, раз вам этот разговор не нравится. А если бы я вас связал, да еще ударил в пах?
— Послушайте... — У главврача отвисла челюсть.
— Нет, вы послушайте! — продолжал я. — Что, мама бьет стекла? Или кусает врачей? А?
Наконец врач обрел дар речи:
— Я понимаю ваши сыновьи чувства. Но, может, вас немного утешит, что случай вашей мамы не уникален. К примеру, Гоголь, будучи великим писателем, был шизофреником.
— Почему вы не отдаете ее мне? Я совершеннолетний, мне восемнадцать...
— Она опасна социально...
— Кто это сказал? Вы или Гендин? По закону я могу взять ее под свою опеку. Вот так! Я знаю закон!
Главврач прервал меня, поднимаясь из-за стола:
— Молодой человек, вы мне надоели.
— Думаете, я не знаю, что это связано с ее письмами в ЦК? Так вот и не лезьте, пусть ЦК с этим и разбирается. Мама — Герой Советского Союза! — Она не была «героем», но мне было наплевать, мне нужны были аргументы. — Против вас пойдет весь Комитет ветеранов войны! «Советская женщина» — тоже! Журнал такой! Кстати, вы получили запрос от них на проведение медицинского обследования?
Главврач, не сказав больше ни слова, вышел из кабинета. Я за ним. Но его и след простыл.
На следующий день маме стали делать какие-то уколы. Ассистент главврача колол сам. Мамина лечащий врач, та, что обратилась ко мне в саду, была в недоумении, не понимая ни назначения уколов, ни причины, по которой уколы делает человек со стороны.
Через пару недель ранним утром перед мамой открыли дверь и сказали: «Иди». И она пошла. И села на автобусной остановке — ждать меня. Там я ее и увидел — она держала на коленях желтую головку подсолнечника и вылущивала семечки. По дороге домой я рассказал о своем актерском выступлении в кабинете главврача. Мама смеялась до слез, и мне показалось, что она радовалась этому моему первому «боевому крещению» на поприще искусства больше, чем даже своей свободе.
Очень скоро после выхода мамы из больницы под левой грудью у нее стала расти раковая опухоль. Мне до сих пор кажется, что это следствие тех уколов, которые назначил ей главврач после моего «успешного» выступления перед ним.
Сценарий «Психушки» не был буквальным повторением маминой истории, но во многом навеян ею. Я понимал, что американцев не увлечешь русской героиней, им подавай героя, живущего рядом с ними, говорящего на их языке. Сценарий был написан в жанре остросюжетного триллера. И стержнем кинорассказа стала месть.
Пришло время рассказать об одном словечке, без которого Голливуд понять невозможно. Это «булшит». Буквально переводится как «бычье говно». Но точнее — «вешать лапшу на уши».
«Тернер в восторге от моего сценария», — врет какой-нибудь неудачник сценарист другому такому же. Сценарист теряет квартиру, жену, становится бездомным, беззубым стариком, но не забывает держаться на плаву — за счет булшит, лжи, поднимающей его престиж, его цену.
Булшит пропитал голливудскую почву основательно. Человеку со стороны может показаться, что все в Лос-Анджелесе так или иначе связаны с кинобизнесом. Массажист приглашен играть главную роль, ждет вызова на съемку. Официантка завтра идет на пробу и без пяти минут звезда. Почтальон пишет сценарий. Автомеханик готов бросить дело и пойти в режиссуру. В любом месте, во всякой компании сыплются имена знаменитостей, с которыми вчера виделись, выпивали...
В одной компании (паблисити) мы разговаривали с президентом, когда раздался телефонный звонок. Президент два раза сказал «да» и разговор закончился. Он повернулся к нам и как бы между прочим бросил: «Это мне звонили из "Нью-Йорк таймс».
«Ну, уж если ему запросто звонят из всесильной газеты, значит, паблисити будет обеспечено», — подумал я. На это, собственно, и был расчет. Поди проверь, кто звонил!
Конечно, враньем никого не удивишь, но в таких аномальных формах это поражает. Здесь на правду отвечают враньем и вранье принимают за правду, так что будь осмотрителен. Иначе пропадешь.
Я познакомился с режиссером из Чехословакии, неким Жановским. Его офис располагался в престижном районе Лос-Анджелеса, в многоэтажном здании.
Жановский, энергичный сорокалетний мужчина, готовился к новой работе по своему сценарию. На столе лежал популярный в Америке киножурнал с цветной страницей-вкладышем. На этой странице был изображен пейзаж с восходящим солнцем и названием его будущего фильма «Восходящее солнце». К съемкам фильма Жановский намерен был приступить не сегодня-завтра. Задержка, как он объяснил, возникла из-за того, что главную роль хочет играть актер Энтони Куин («Вот его восторженное письмо!»), но Жановский его не хочет, а хочет Шона О'Коннери.
— Ждем ответа от Шона, — «булшитит» он.
Между делом Жановский спрашивает меня, не согласится ли какой-нибудь русский инвестор вложить деньги — под Шона. С «Мосфильмом» он говорил, но там дураки сидят, отказались сотрудничать.
В свою очередь я поинтересовался, какие фильмы Жановский сделал.
— Мюзикл «Волосы», — ответил он.

Я с почтением взглянул на него: «Волосы» — прославленная лента! Жановский перевел разговор на что-то другое. Но Наташа, не мудрствуя лукаво, спросила:
— А разве «Волосы» снимал не Милош Форман? Жановский не моргнув глазом ответил:
— И он снимал. В Америке. А я сделал в Чехословакии. Мой фильм лучше.
— А где твой можно посмотреть? — спросил я.
— В любом видеосалоне.
На следующий день ради интереса мы обошли несколько видеосалонов, но чешской версии мюзикла «Волосы» не нашли, о ней и слышать никто не слышал.
Вспоминаю встречу с грузином из Канады. Его звали Васо. Мы встретились в баре ресторана на бульваре Сансет. Он продюсер.
— Вы уже делали фильмы? — полюбопытствовал я.
— Да. Вот только недавно закончил один фильм, — ответил Васо. — Сорок миллионов бюджет.
— Ого! — искренне удивился я. — Как называется?
— «Иисус Христос».
— Суперстар? — улыбнулась Наташа, намекая на знаменитую рок-оперу.
— Нет, — с достоинством ответил Васо. — Просто «Иисус Христос».
— Но почему так дорого — сорок миллионов? — спросил я.
— Костюмы стоили бешеных денег. Тут уж и я съехидничал:
— Главный герой не заботился об одежде, апостолы — тоже...
Васо развел руками: таковы факты. Сорок миллионов — ни больше ни меньше!
— А кто был режиссер? — спросил я.
— Из Англии. Неплохой.
— Как фамилия? Васо напряг память.
— Ммм... Англичанин. Толковый. Сейчас вспомню...
— А кто снимался?
— В основном английские актеры.
Он говорил весомо, ни разу не показав смущения или растерянности, хотя выдавал самый дешевый булшит. Потратить сорок миллионов долларов на фильм и не помнить фамилий режиссера и основных исполнителей, что это?
Мне противно вранье, но, как ни странно, бывают случаи, когда булшит вызывает жалость и сочувствие. Например, когда ты видишь, что ложь о себе — это поиск защиты, желание скрыть от других, а порой и от себя, полнейший внутренний разлад, крах. Именно сочувствие к подобного рода людям в свое время и привело меня к мысли сделать документальный фильм под названием «Мечты в Голливуде».
Ни «Небольшой дождик в четверг» (сотрудничество с Дженнифер), ни «Психушка» (альянс с Роном) никуда не пошли. Студии под тем или иным предлогом сценарии вернули. Мы были возмущены их слепотой. Неужели они не способны отличить чистое золото от дешевой бижутерии? Мы были убеждены, что по нашим «золотоносным» сценариям можно было бы сделать хорошие фильмы.
Деньги, которые я заработал у Давыдова, подходили к концу. Мои синопсисы никого не трогали. Правда, за идею документального фильма «Американская мозаика» Ли Дейвис
заплатил мне три тысячи долларов. Но на это ли я рассчитывал?
Я стал грызть ногти. Как быть? На что надеяться? С первого захода, с первого штурма взять высоту не удалось.
К тому же, как следствие неудач, между мной и Наташей все чаще стали разражаться ссоры.
Мы гуляем по Венес-Бич. Рядом с пляжем по асфальтовой дорожке катаются на роликах жизнерадостные девушки и парни. К домам прилепились палатки: торгуют сувенирами, одеждой. Полно бездомных и странных типов. Вдоль тротуара в рядок сидят гадалы. Кто перебирает карты, кто заглядывает в хрустальный шар, кто читает судьбу по руке. Наташе нравится интеллигентного вида дядя, плечи которого покрыты пледом. Она присаживается к нему, а я отхожу в сторонку. Начинается сеанс. Наташа внимает гаданию всем сердцем.
Проходит двадцать минут, тридцать, сорок, час. Я продрог на ветру, а оракул все говорит и говорит. Ну, слава Богу, конец. Наташа подходит ко мне. Я обнимаю ее, чувствуя, что она расстроена.
— Нагадал плохое?
— Да...
— Что?
— Что ничего у нас с тобой не выйдет.
— А-а-а...
— Да, все правильно. Мне надо строить свою жизнь. А тебе — свою.
Слова того типа в пледе произвели на Наташу огромное впечатление. Возможно, что семя его пророчеств упало на подготовленную почву, но Наташа с тех пор стала темнее тучи и впала в глубокую депрессию.
Не оставалось больше никаких сомнений, что отношения с Наташей зашли в тупик. Тут-то как раз и подоспел просмотр документального фильма Давыдова, который поставил на всем жирную точку. Вот как это было.
В Лос-Анджелес прилетел продюсер Ли Дейвис и попросил меня озвучить фильм закадровым текстом.

Организовал просмотр.
Приехали, начали смотреть. Какие-то скучные интервью, мой затылок. И вдруг, как гром среди ясного неба, — Аня и
Маша резвятся на траве в Центральном парке. У Наташи перехватило дыхание. Я почувствовал, как внутри нее сжалась невидимая пружина. А следом — новый удар. Между делом Давыдов вставил эпизод, когда я звоню в Москву и разговариваю с дочками. Ему необходимо было показать, что сам ведущий мечется в сомнениях и не знает, вернуться ли ему на родину или закрепиться в новой стране. Наташа смолкла. Напряжение в зале было такое, что даже Ли растерялся. Перевод его больше не интересовал. Так в глухой тишине картина и добежала до своего логического конца.
В последних кадрах фильма ведущий (то бишь я) носится по улицам Лос-Анджелеса — все отчаяннее и быстрее, пока его автомобиль не упирается в тупик. Всё. «The End». Конец.
...Мой гардероб поместился в двух чемоданах, книги пришлось завернуть в полиэтиленовые мешки, предназначенные для мусора. Загрузив старенький «шевроле», я выехал со двора. Надо было где-то отсидеться и зализать раны. Мне пришел на ум мотель, в котором когда-то останавливались Вера и девочки. Не символично ли это?
Ну что ж, в мотель так в мотель. Прибавив скорость, я направился на улицу Фэйерфакс.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Мотель съедал тридцать пять долларов ежедневно. Значит, в месяц на проживание уйдет тысяча! Многовато.
Я купил газету и стал внимательно просматривать объявления. Мне повезло. Я наткнулся на «чистую и уютную» комнату за четыреста пятьдесят долларов в месяц, тут же созвонился с хозяйкой и, не откладывая в долгий ящик, перевез свой скарб на новое место, в город Санта- Монику.
Хозяйка была старенькая и очень хмурая. Оглядев меня с головы до ног, она заметила, что я произвожу впечатление серьезного человека и вряд ли буду приглашать шумных гостей, особенно девушек.
— Они все больны сифилисом! Я покажу газету. Статистика ужасающая!
Хозяйка эмигрировала из Испании, была глубоко религиозной и потому распущенный американский образ жизни категорически не принимала.
На кухне мы едва могли развернуться. На полках, столиках, табуретках, на полу и под потолком — кругом были нагромождены пакеты с продуктами. Даже холодильник старушки был так забит, что даже крохотный стаканчик йогурта невозможно было втиснуть. Старушка явно готовилась к длительной осаде. Или боялась землетрясения.
— Доплатите еще четыреста, и я буду вам готовить! — предложила она.
Я вдохнул мертвящий запах ее блюд, отдающий формалином, и вежливо отказался.
Санта-Моника называется городом, но это часть большого Лос-Анджелеса.
Главная магистраль города, бульвар Санта-Моника, тянется от Тихого океана, затем проходит по городу Беверли-Хиллз, пересекает город Голливуд и упирается в деловой центр Лос-
Анджелеса. Весь этот путь расторопный водитель может покрыть за полтора часа.
Мне захотелось на Васанту, просто взглянуть на знакомые окна. У входной двери лежали опавшие листья. Почтовый ящик топорщился кипой писем. В доме ни единого огонька, ни малейшего движения. Где же она?
Чтобы чем-то занять себя, я решил привести в порядок старые московские записные книжки. Я принимал это как лекарство, надеясь, что прошлое даст мне возможность хотя бы на какое-то время прийти в себя. Я листаю полосатые голубые листочки и уношусь мыслями в другое время, в иное пространство...
...Мне подмигивает полковник в отставке, руководивший одним из отделений Бюро пропаганды советского кино, он отчаянно жмет педаль акселератора и приговаривает: «больше скорость — меньше ям!
Все инструкции к ...ям!» И трясет меня по разбитым дорогам Донбасса на очередную творческую встречу.
...Вот подлетаю к Москве. Город лежит под бурым колпаком смога. Большое видится на расстоянье. Большая беда--- Какой-нибудь влюбленный юноша топчется сейчас у метро, ожидая девушку. знает ли он, что ядовитое облако покрывает город и тайно травит его?
...вот история человека-невидимки, способного видеть то, что от него скрывают. Сколько грязи, сколько предательств! Каково Богу терпеть грехи человеческие?
...Ночная дорога. Свет фар освещает труп собаки на обочине. У Веры на глазах слезы: «Ты видел? Она еще виляет хвостом. Ее раздавили, а она...» голос ее срывается, она не в состоянии говорить.
...в концертном зале сидит пара. слушают Малера. у мужчины сосредоточенное, умное лицо. наконец он облегченно вздыхает и шепчет жене: «Подсчитал — восемьдесят два музыканта!»
...Сегодня моя очередь не спать. Я хожу по комнате с плачущей Анечкой на руках (ей всего несколько дней), то и дело прижимаюсь к ее ушку губами и шепчу: «ты будешь самой красивой, самой счастливой...» — и она затихает, точно ждала именно этих слов.
На какое-то время мне и в самом деле удавалось забыться. Но как только в поле моего зрения попадал телефон, тут же вспоминалась Наташа...
Несколько раз звонил Рон. Говорил, что надо переделать
«Дождик». Он провел соответственную работу с Дженнифер, она согласна.
«С Дженнифер уже договорились, — размышлял я. — Но как обойтись без Наташи? Без ее аккуратного

перевода, без разумного взгляда на вещи? Почему она не отвечает на звонки? Что с ней? Куда уехала? Страдает? Или занята поиском нового друга?»
От мыслей о «новом друге» сердце начинало биться тревожно. Выходит, я не избыл своих чувств к ней. А она?
Звоню — нет ответа.
Наконец появилась.
— Зачем ты мне все время звонишь? — были первые ее слова.
— Где ты была? Куда пропала? — спросил я.
— А твое какое дело?
— Амм...
Ее резкий, враждебный тон давал понять, что она ничуть не жалеет о разрыве.
— Мне все равно, — как можно спокойнее сказал я. — Это Рон просил позвонить.
— Что ему надо?
— Чтобы ты нам с Дженнифер помогла.
Встречались по-прежнему у Рона на квартире. Наташа демонстративно не хотела со мной сближаться, никогда не садилась рядом и даже не смотрела в мою сторону. Мне вспомнилось чье-то замечание: «Когда женщина совершенно не смотрит на мужчину, это значит, что она смотрит на него постоянно». Это звучало утешительно. Но не более того.
Закончив работу, мы расставались на стоянке машин. Она садилась в свой «мерседес», а я в старенький «шевроле», требующий ремонта, и — в разные стороны. У нее появился новый круг знакомых, а я по-прежнему довольствовался общением со своей ворчливой хозяйкой, пылавшей ненавистью к женскому полу.
— Все студентки — проститутки. У них сифилис! Статистика ужасающая! — то и дело повторяла она.
Мне ничего не оставалось, как сделаться затворником. Смотрел телевизор, читал книги, писал письма... Да, я стал чаще писать в Москву. Те чувства к девочкам, которые я при Наташе загонял вглубь, теперь естественно вы-
рывались наружу. Я старался загладить свою вину перед ними. Понимая, что нанес травму не только детям, я и к Вере переменил отношение. Я не просил прощения, не врал, что люблю, а просто хотел наладить хоть какой-то контакт — уважительный и достойный нашего прошлого.
Как могло это случиться? Туго стянута петля... Ничего не повторится, Никого вернуть нельзя.
Долго ль это будет длиться? Ты была со мной всегда... Для кого теперь Жар-Птица? И кому теперь звезда?
Я всегда знал, что хорошее дается нам свыше, а плохое мы делаем своими руками. Вот только вопрос, как отделить одно от другого. Как оценить события?
Вот разрушил семью, и свою и чужую. Что это, как не грех? Постыдный и непростительный грех. Но как отнестись к чувству любви, которое я испытал?
Уехал в Америку — в надежде, что поднимусь на ступень выше. Но все потерял и сижу у разбитого корыта.
Я стараюсь найти разумное объяснение своим поступкам, но невольно склоняюсь к мистике (четные числа), к извечным понятиям судьбы, рока и т. п.
Лет десять назад я увлекался энергетикой космоса, медитировал, посещал специальные классы. У меня была наставница по имени Людмила. Увидев меня в фильме «Перед закрытой дверью», где мой герой колотил кулаками в закрытую дверь, она сказала мне, что именно так я и буду стучаться в дверь новой жизни. Я отнесся к ее прогнозу скептически. То было время спокойной и размеренной жизни. Я был доволен семьей и работой.
И вот, ревизуя прошлое, понимаю, что был слеп. Внутри меня зрела новая жизнь, которую лишь Людмила разглядела своим духовным зрением.
— Вам тоже откроется, — сказала она.
И вот мне приснился сон.
Ярко-ярко, как в пустыне, сияет надо мною солнце, но странно: оно не ослепляет, и я могу смотреть на него, не мигая и не жмурясь. Я упиваюсь этим сиянием, я заворожен им. Между тем на горизонте восходит огромная луна — тоже сияющая. Я ощущаю искрящееся, свежее, высокогорное дуновение. Какая невиданная красота! Луна и солнце вместе! Какая гармония! И вдруг почва резко уходит из-под ног — и небосклон распахивается передо мной во всю свою неоглядную ширь. Я падаю! Или взлетаю? Дыхание перехватывает. И то и другое вместе: я падаю вверх. Я падаю вверх!
— Вот видите, вам открылось! — сказала Людмила на следующий день. — Вы помните, что испытали в момент падения? Что вы почувствовали?
— Восторг, пожалуй. Людмила улыбнулась:
— Вы видели посвятительный сон.
С тех пор прошло пятнадцать лет. И сегодня, задумываясь над своим американским приключением, я снова нахожу это странное единство, где движение вперед и отступление — неразделимы.
Кстати, я помню еще один «посвятительный» сон. Это было много лет назад, накануне моего поступления в Институт кинематографии. Мне снилось, что я плыву по безбрежному и спокойному морю, толкая впереди себя ярко-красочный мяч.
В детстве я едва не утонул и потому страшно боялся глубины, а во сне море ласково держало меня на своей

лазурно-голубой глади и я был легок как пушинка.
Я проснулся с уверенностью, что добьюсь того, о чем мечтал.
Какие сны мне снятся сейчас?
Рвы да канавы. Грязь да муть. Ветхие ступени лестницы, ведущей вниз. Стоит ли обнадеживать себя и понапрасну тратить время?
Что же, уехать из Америки не солоно хлебавши? Принять поражение как должное?
Знаю, что за грехи надо расплачиваться. Но может быть, не так все просто, и трудности, которые я переживаю, — это трудности роста? На чужой земле, на незнакомой почве? Падение — взлет...
Смотрю в красный советский паспорт, задаю себе прямой вопрос: «Хочешь домой? Или будешь упорствовать дальше?»
И не могу ответить. Не знаю. Просто не знаю ответа.
Звоню Наташе. И снова меня остужает дежурный голос автоответчика: «Вы набрали такой-то номер. Если хотите оставить сообщение, ждите сигнала...»
Я не научился говорить в пустоту.
Выхожу на улицу. То тут, то там продаются подержанные автомобили. На них призывные надписи: «Прокати меня!», «Попробуй меня!», «Я тебя не обману!», «Купи!», «Возьми!»...
Забавно!
Мимо-проходит девушка и, встретившись со мной взглядом, улыбается. В России такая приветливость сулила бы знакомство. Но здесь это не более чем гримаса.
Когда-то в Стокгольме, на съемках «Верности матери», я был горд, что мне улыбаются симпатичные девушки. Я принимал это на свой счет, но скоро понял, что шведки приветствуют улыбкой рефлекторно, как собаки — хвостом.
Я гуляю по Санта-Монике, прохожу мимо витрины, на которой выставлены киноафиши довоенных фильмов. Старый славный Голливуд. Рядом со мной стоит бродяга (бородатый, голова обернута каким-то тряпьем). Он что-то жует и тоже смотрит на афишу «Касабланки». О чем он думает?
Да, я осмелился бросить вызов привычной московской рутине, порвал старые связи, я обманул, я предал и все такое прочее, но вот новые впечатления, новые типы, новые мысли, которые ворвались в мою жизнь. Это незаменимая пища для художника. Может, и в самом деле, потеряв одно, найдешь другое?
Тем временем получаю письмо от Веры.
«Радик! Сейчас я могу спокойно все обдумать, разобраться и написать обо всем. Я много думала за эти дни о том, что произошло. Честно скажу, теперь я поняла, я буду только рада, если у тебя все получится так, как ты хочешь. я всегда верила в тебя и сейчас верю в твою удачу, но мне было странно и обидно слышать от тебя, что я могу сглазить. Когда ты уезжал, ты так не думал (я надеюсь).
но самое главное, я не ожидала этих слов, этих упреков, поэтому мне не так просто привыкнуть.
действительно, у нас за пятнадцать лет все было не так просто, были и обиды, и ссоры, но было и хорошее, и Помнилось именно это. А эти месяцы без тебя все воспринималось острее, и для себя я решила и поняла, что была действительно во многом не права. И я так верила в нашу встречу, в твою любовь, несмотря на те трудности, которые были, и не потому, что ты как «рычаг», а потому, что ты думал о нас, о нашей семье. Для меня очень важно, и даже главное в жизни, — это отношение и общение, если этого нет, то зачем всё? Поэтому я очень рада за тебя, рада тому, что тебя понимают,
Верят в тебя. Я хочу, чтобы ты был свободен от того, что тебе в тягость, ты уже сейчас отошел от нас, стал другим, а через год будет еще труднее, поэтому будь свободен в выборе дальнейшей жизни, я не хочу, чтобы меня жалели и относились как к тяжелой ноше и как к долгу, а другого отношения у тебя нет (уже нет).
С девочками — другое дело. Они сами решат, когда подрастут, как и что.
Мне очень жаль, что все так вышло. Целую. Вера».
Я был тронут этим письмом. В нем вся Вера, скупая на выражения, но глубокая и искренняя.
Чувства, раздирающие меня изнутри, нашли, наконец, простое и честное разрешение: я — свободен. Но для чего? Для кого? Кому я здесь нужен?
Нужен ли я Наташе? Нет. Она мечтает, чтобы я убрался отсюда, да поскорей. У нее есть свои друзья, свое прошлое и своя дочь.
А у меня оставалось мое прошлое и мои дети.
«Приезжайте на лето! — написал я Анютке и Машеньке. — Деньги у меня есть, будем ходить в «Макдональдс» и загорать на пляже...»
Девочек долго уговаривать не пришлось. Но Вера мучилась сомнениями.
Как это понимать? Значит ли это, что я приглашаю и ее? А что же с Наташей? Покончено? Видимо, да, если Васанта-Уэй сменилась Санта-Моникой. И все же в моем письме отно-сительно Веры ясности не было.
Обстоятельства сыграли нам на руку. Спектакль, в котором Вера была занята, должен был участвовать в театральном фестивале (неподалеку от Нью-Йорка). Вот и решили: Вера сначала привезет девочек ко мне, а сама вернется в Москву — на репетиции. Через два месяца, в августе, она приедет на свой фестиваль и заберет их. Все. Просто и ясно. Без лишних эмо-
ций и сомнительных прогнозов. Все станет на свои места — летом. А пока...
Весна. Всегда радость и обновление, а тут одни мучения. Чем больше я старался вытравить Наташу из

своего сердца, тем острее чувствовал свою беспомощность. Я был как в капкане.
«И ведь не оступился, — злился я на себя, — а сознательно сунул голову в петлю. Позарился на Америку, вот и мучайся! Это расплата за измену, за все грехи».
Я вспомнил историю о Тане, с которой познакомился еще в 1988 году, на одной из Диминых вечеринок. Высокая, некрасивая и очень добрая молодая женщина. Она была замужем за пожилым человеком. Она искренне любила его, но со стороны казалось, что она им лишь пользуется. Да и могло так показаться, ведь она была много моложе его. Он сделал ее американкой, подарил большую квартиру, постоянно отправлял ее маме все, что нужно (стиральную машину, газовую плиту, холодильник, обои, одежду, телевизоры). С какой бы нежностью и вниманием она ни относилась к своему супругу, все считали это игрой и фальшью. И в конце концов отравили этим неверием их совместное счастье. У них родился мальчик — вылитый муж, но окружающие ухмылялись: наверняка от соседа. Вот добрые люди и стали открывать мужу глаза. Словом, разбили сердце и ему, и ей.
В наших отношениях с Наташей тоже был разлит яд, который разъедал душу. Моя искренность тоже могла показаться фальшивой. Это-то и породило в ней нервозность.
Но ведь это неправда. Я люблю ее. «Любишь? — язвительно спрашивал я себя. — Тогда зачем вызвал Веру?»
Тяжело. Очень тяжело.
Известна казнь, когда сгибают два бамбуковых дерева и привязывают их к ногам приговоренного — на разрыв.
Я стал настаивать на встрече с Наташей. И как это ни парадоксально, наши отношения с ней возобновились — как раз накануне приезда Веры.
Вера привезла девочек. Именно так: привезла девочек. Сама же она, внутренне, я имею в виду, оставалась в Москве. Вид у нее был отсутствующий. Иногда я ловил на себе ее недоверчивый, настороженный взгляд, но что это значило? Хотела ли она удостовериться, что я пошел на попятную, или же там,
в Москве, у нее начался какой-то свой собственный роман и она тоже разрывалась на части, — сказать трудно. И она и я усердно фокусировали внимание на дочках, чтобы избежать болезненных объяснений. Девочки же, как всегда, были веселы и жизнерадостны. Они предвкушали посещение Диснейленда, студии «Юнивёрсал», мечтали пожариться на пляже, посмотреть новые фильмы ужасов, — словом, каникулы предполагались славные.
Пробыв в Лос-Анджелесе несколько дней, Вера улетела назад. Она уехала, не сомневаясь больше, что случилось непоправимое — я вернулся к Наташе. И развода теперь не избежать.
В 1974 году, когда я начинал работать над фильмом «На край света», мне попалась на глаза очаровательная восемнадцатилетняя девчушка, которая сначала сделалась героиней фильма, затем завоевала мое сердце, потом стала моей женой, родила прекрасных девочек, работала со мной, понимала меня, ждала, когда я уезжал, верила и любила. Все, это — вся моя жизнь с Верой — уходило теперь в прошлое, вместе с ее отъездом. Прощаясь с ней, я старался сдерживаться, чтобы не выдать душевной боли, чтобы не испугать грустным, подавленным видом Анечку и Машульку. Мы простились так, как будто завтра собирались увидеться.
На следующий день я перевез девочек на Васанта-Уэй, к Наташе, сказав, что она мой менеджер и... друг. Пожалуй, впервые в жизни они засомневались в правдивости моих слов, и мне, чтобы не ранить их чувств, пришлось вести себя соответственно: я не позволял себе фривольностей с Наташей — раз друг, значит, друг. Я постелил себе постель в их комнате. Определенно я еще не был готов к тому, чтобы побеседовать с ними «начистоту», как советовала Наташа. Я был в полном раздрызге сам.
Днем я увозил девочек на пляж, где они часами боролись с волнами, потом принимались упражняться на моей спине — пощипывали, колотили, натирали песком, давая импровизированные названия новым массажам. Девочки часто играли с Наташиной Катей, уходили на горку позади дома, разбивали там лагерь с палаткой или шалашом, готовили куклам еду, о чем-то спорили (иногда то одна, то другая с насупленным видом появлялись в доме). А вечером всем «семейством» бродили
по голливудским холмам, прогуливая стареющего Лаки. Было много забавного в детских играх.
К нам в гости приехали Наташины родственники. Наши девочки, воодушевившись, несколько дней кряду репетировали спектакль, чтобы развлечь гостей. Запросили с нас деньги за билеты — все как положено. Однажды девочки приготовили «китайскую» еду: порезали, что только возможно, вплоть до цветов в горшках, залили водой, побросали туда цветные бумажки и шарики пинг-понга, красиво сервировали стол — на двоих, со свечами.
Словно предчувствуя, что горькая правда рано или поздно всплывет и разлучит меня с дочками, я уделял им много внимания. Каждую ночь, перед сном, я баловал их сказками, которые должен был на ходу придумывать. Это забавляло меня. Упадет взгляд на лампочку — вот тебе и начало, появляется сказка про перегоревшую лампочку и страничку дневника, выброшенные в мусор. Увижу кончик нитки в пижаме — начинаю сказку об иголке-путешественнице.
Особенно им нравилась сказка о Мишке, который умел летать. У меня было много вариантов этой сказки (много потому, что я их не помнил), впервые я придумал ее для двухлетней Анечки.
Это было в день завершения Олимпийских игр 1980 года. Мы смотрели телевизор и жалели, что Москва теперь снова вернется к серым будням. И вдруг на стадион вывели гигантского надувного медведя. Аня

оживилась — такого огромного (стометрового) медведя она в жизни не видела. Зазвучала прощальная песня Пахмутовой и Добронравова, медведя отпустили, и он медленно, как бы нехотя, стал подниматься над стадионом. Я схватил Анютку на руки и выбежал на балкон. Медведь взлетал над городом, становясь все меньше и меньше. Сочетание грустной музыки и улетающего навсегда медведя очень тронули Анечку, на глазах у нее выступили слезы. Мишка превратился в маленькую точку на небе, а потом и вовсе пропал. Аня была потрясена его исчезновением, то и дело подходила к балкону, надеясь его увидеть.

Вот я и рассказал ей «правдивую» историю о том, как Мишка, полетав над Москвой, зацепился за наш балкон и пожаловал в гости. Зашел к ней в спальню, тихонько спел свою
песенку («До свиданья, до новых встреч») и с восходом солнца вернулся на стадион.

Каникулы завершились. Я вылетел с дочками в Нью-Йорк. Вера к тому времени уже приехала с театральной труппой в небольшой городок под Нью-Йорком и ждала там девочек. Все вместе мы побывали на спектакле, радовались американскому успеху мамы (Вера в самом деле играла прекрасно), а я отметил про себя, что мой уход карьеры Вере не испортит: она крепко стоит на ногах.

Ну что ж, до свиданья, Вера, до свиданья, доченьки. «До свиданья, до новых встреч!» (Мишка возвращается на свой стадион.)

Перед расставаньем Аня сунула мне в руку письмо и сказала:

— Пожалуйста, не читай сейчас. Прочитай в самолете, ладно?

— Обещаешь? — добавила Машулька, потянув меня за рукав. Я улыбнулся.

— Обещай! — настаивала Маша. — Только честно!

В самолете я удобно расположился в кресле и распечатал конверт.

«Папа. Ты думаешь, мы маленькие и ничего не видим и не понимаем? Не забывай, мне уже почти двенадцать лет, а Маше исполнилось десять. Ты должен решить, кто теде дороже: мама, мы с Машей и Кеша или Наташа, Катя и Лаки? Если ты выберешь их, знай, что мы к тебе больше никогда не приедем.

Твои родные дочери — Аня, Маша» (каракули подписей).

Я не мог больше сдерживаться и, закрыв лицо руками, заплакал.

Однажды мы забежали в «Макдональдс», что на улице Вайн в Голливуде. За соседним с нами столом сидел странный тип в измятой, грязной одежде. На полу, под его ногами, лежала набитая хламом сумка, на которой я узнал эмблему Наташи-ной организации (Ассоциация независимых телевизионных станций). Я легонько ткнул Наташу локтем и указал на этого «коллегу». Он был бездомный.

С умным видом он рассуждал о грядущем американском кинорынке, сыпал известными именами. Рядом с ним сидели
такие же потерянные, как и он сам, и рассуждали о падении великого американского кино.

Выйдя на улицу, я сказал Наташе, что было бы здорово сделать фильм о талантах, не нашедших признания, но сохранивших оптимизм. Наташа зажглась этой идеей. Мы стали припоминать всех тех, кого встречали на Голливудском бульваре — благо мы жили неподалеку, стоило лишь спуститься пару кварталов — и мы на «тротуаре славы», инкрустированном цементными звездами с именами Чарли Чаплина, Рудольфе Валентино, Мерилин Монро...

— Смотри, — сказал я, показывая на бездомную девушку, катившую на роликовых коньках прямо по звездам и ловко маневрирующую между туристами.

Девушка на секунду задержалась у мусорной корзины, незаметно сунула туда руку, потом развернулась в красивом пируэте и помчалась к следующей мусорке.

— А вон... — Наташа кивнула в сторону пожилой леди, одетой во все черное, — она всегда в трауре.

— А как тебе этот? — спросил я о бездомном, соорудившем на голове какой-то колпак с усиками-антеннами, изображая, видимо, космического пришельца. Вся его шея была опутана разноцветными проводами.

— Не знаю, — пожала плечами Наташа, — среди бездомных много сумасшедших.

Нам нужен был гид, проводник, который помог бы нам разобраться, кто есть кто в безумном мире голливудских бездомных. Мы вернулись в «Макдональдс», чтобы посоветоваться с Наташиным «коллегой». Он по-прежнему сидел там и рассуждал о киноновостях. Его звали Ларри Лаварет, он представился кинокритиком и держался с подчеркнутым достоинством. Мы высказали ему нашу просьбу. Слегка поколебавшись, он согласился быть нашим гидом. За умеренную плату.

Так началась работа над фильмом «Мечты в Голливуде». Лаварет был нашим координатором, Наташа — продюсером, я — режиссером, а «Макдональдс» на улице Вайн стал нашим офисом. Будущие герои фильма не имели крыши над головой, а значит, и телефона, поэтому Лаварет рыскал по Голливудскому бульвару, находил, кого мог, и приглашал всех без разбору на завтрак в «Макдональдс». Мы беседовали с ними, узнавали про их жизнь, кого-то отбирали, кого-то отсеивали.

Так продолжалось два с лишним месяца. В результате мы отобрали семнадцать человек. Составили план съемок, сговорились со всеми и разошлись, не зная, появятся наши герои на съемках или нет. ,

Как ни странно, не произошло ни одной осечки по вине бездомных: с аккуратностью профессиональных артистов они появлялись там, где мы условились, хотя у них не было ни агентов, ни менеджеров, ни ассистентов, которые напомнили бы им о дате и времени съемок.

Все происходило в самый праздничный и важный день Голливуда — день вручения «Оскаров». Как известно, гости съезжаются на это торжество за несколько часов, уличная публика — еще раньше (с вечера

накануне). Наши бездомные тоже в приподнятом настроении.
Тэд Уайлд, сценарист. Ему восемьдесят три года, но он все еще полон энергии и обладает уникальной памятью. Живая энциклопедия. Каждый день в пять утра он выгуливает чужих собак (за полтора доллара), выпивает чашку кофе в «Макдональдсе» и затем идет в библиотеку, где проводит весь день. Он приехал в Голливуд в тридцать четвертом году — с целью расправиться с продюсером, укравшим у него сюжет. В нашем фильме он ВспqМННаеТ о славных годах Голливуда и исполняет на губной гармошке песню, посвященную своей любимой киноактрисе Кэрол Ломбард, погибшей в авиакатастрофе в годы второй мировой войны. Кстати, он был так потрясен" сходством Наташи с Ломбард, что предложил ей разделить с ним совместную жизнь. Всерьез.
Анжелика, молодая художница, рисует странные, очень изысканные картины. Готова за доллар отдать их все, так как очень голодна. Помимо рисования, много занимается игрой на гитаре, любит Баха. За неуплату квартиры у нее отобрали картины и гитару. Она рисует огрызками карандашей, пристроившись на автобусной остановке, поскольку автобусная остановка для бездомной женщины наиболее безопасное место.
Томми Томазито — талантливый черный певец. Все, что он скопил, он потратил на студийную запись своих песен, одну из них, «Хочу с тобой потанцевать», он исполнил в фильме — беззубый, грязный и жизнерадостный.
Эстредита Де Гардель, испанская танцовщица. Вот уже сорок с лишним лет она ходит в трауре по своему «мужу» — знаменитому аргентинскому певцу Карлосу Гарделю (основоположнику танго), который не успел насладиться семейной жизнью с нею, так как сгорел заживо во время авиакатастрофы. «Леди в черном», как мы ее прозвали, часто приходит в церковь, где кормят бездомных; поев сама, она танцует перед ними, вселяя в них бодрость и оптимизм. «В жизни, — говорит она, — бывает всякое, стоит ли отчаиваться? Это как на самолете — то взлетаешь, то падаешь вниз».
Интервью бездомных перемежались появлением таких кинозвезд, как Грегори Пек, Вупи Голдберг, Джессика Тэнди, которые выходили из своих лимузинов и следовали в зал — на церемонию вручения «Оскаров». Заканчивался день, начинался праздник кино. Над Голливудом опускалась ночь — праздничная, незабываемая для кинематографистов, тихая и печальная для наших героев, засыпающих прямо на улице, под мерцающими ночными звездами.
Стоя позади кинокамеры, я никогда не знал, что произойдет в следующую секунду, какую тайну поведает наш герой, какими словами, с какими чувствами он предстанет перед зрителем. Именно это — прикосновение к реальной жизни, к реальным характерам и судьбам, я и считаю кладезем, обогатившим меня как художника.
Стоит ли говорить о том, что съемки сыграли своего рода врачующую роль, отвлекли меня от собственных переживаний и самоедства.

Сказали: «Ладно. Всё. Пока».
Простились гулким коридором.
И ревом Ила в облаках,
И вдруг открывшимся простором.
И в приближены* пустоты,
Вины своей не переспорив,
Смыкаю веки. Где же ты?
Продолжим наши разговоры.
Чтоб снова мучить или врать?
Скажи, что ты невинен...
Но ночь спасительно мудра,
Прервав ответ на половине.

Спустя некоторое время я получил развод от Веры. А еще через несколько недель мы с Наташей поженились. То был сентябрь 1991 года.
Теоретически моя новая жизнь (после «двоеженства») должна была превратиться в сказку. Тесная обувь сменилась мягкими домашними туфлями. Я порвал с Верой, продемонстрировав серьезность и глубину чувств к Наташе. Российские горизонты — ностальгические для меня и неверные и коварные для Наташи — отодвинулись и не будоражили больше. Сделавшись символом моего будущего, Наташа торжествовала победу над моим прошлым. Теперь ей не надо было краснеть и тушеваться перед знакомыми. «Ну и как мне тебя представлять? — мучилась она до женитьбы. — Как? Любовник? Сожитель?»
Я знал, в какой среде Наташа была воспитана. Сплетни и пересуды в русском эмигрантском обществе крепко досаждали ей. Ее не раз спрашивали: «Наташенька, а кто это у тебя? Друг или?..» Теперь же Наташа могла смело сказать:
«Мой муж — Родион Нахапетов!»
Первое время «законность» отношений доставляла ей такую радость и наполняла такой гордостью, что я чувствовал себя и впрямь волшебником, знающим секреты счастья. Неужели лист бумаги может быть столь

могуществен? Я радовался за Наташу, однако не придавал брачному свидетельству такого уж решающего значения. Я всегда рвался к счастью вслепую, влекомый сердцем, а не головой. Мне дороже тепло и ласка, бумага же — даже символизирующая союз сердец — имеет совершенно иные химические, юридические и энергетические свойства.

Журналисты часто интересуются, счастлив ли я. Я не знаю, что ответить. Я бываю счастлив. Но бываю и несчастен. Смотря в какой момент. Скажем, фильм, который давался мне с превеликим трудом, на премьере срывает аплодисменты, меня все обнимают и поздравляют. Я счастлив. И вдруг узнаю о тяжелой, неизлечимой болезни друга. Я мчусь в больницу, горечь наполняет душу. До фильма ли мне? В жизни все переплетено и смешано, поэтому-то так редко испытываешь только одно чувство. Когда я пишу эти строки, я вполне счастлив, но, кто знает, не изменятся ли мои чувства ко времени выхода этой книги в свет? Я всегда сочувствую скептикам, но ищу дружбы с оптимистами. Почему? Где же я сам? На полпути, на полдороге. Ответьте, оракулы. Смотрите в небесные карты, дайте анализ, подскажите пути. Что откроется вам в тихих знаках Зодиака, между Козерогом и Водолеем, в моих невидимых корнях? Впрочем, я не верю, что кому-то под силу полное и безусловное знание. Как ни подступись к человеку — изнутри, снаружи ли, всегда остается что-то неразгаданное.

Не успели мы нарадоваться супружеской жизни, как случилась беда. Наташа потеряла работу. Ассоциация независимых телевизионных станций, ослабленная кабельным телевидением, закрыла свое представительство в Лос-Анджелесе, упразднив при этом и должность директора специальных торжеств и событий. Эта катастрофа не была неожиданностью (в прошлом году об этом поговаривали), но тем не менее случившееся повергло жену в такой шок, что вывести из него могло лишь что-то экстраординарное. Хорошо еще, подумал я, что между нами все образовалось, это давало Наташе внутреннюю опору. В противном случае депрессия была бы убийственной. Понятно: одиннадцать лет жизни Наташа отдала этой организации, а теперь вдруг стала ненужной.

Пробил мой час. Новоявленному мужу следовало взвалить на себя заботу о финансовой стабильности семьи. В Америке, как известно, основная масса населения живет в долг. Не составляли исключения и мы. Дом на Васанта-Уэй был оплачен лишь частично, банк в свое время дал Наташе большой заем, и теперь, выплачивая процент на эту сумму, нужно было ежемесячно переводить в банк 3000 долларов. На «мерседесе» тоже висел долг. Прибавьте к этому оплату медицинских страховок, платную школу, страхование дома (пожар, наводнение, ограбление — всё разные страховки), кредитные карточки, каждодневные расходы — всего не перечислишь. Настоящая долговая яма. Чтобы не свалиться в нее и выжить, мы должны были бы зарабатывать минимум шесть тысяч долларов в месяц. У нас таких денег не было.

Когда мы снимали «Мечты в Голливуде», наши бездомные артисты делились с нами печальными историями, и общее в них было то, что, потеряв работу и не справившись с долгами, они неминуемо теряли все, что имели. Банк не простил им ни цента. Эти рассказы запали в душу, и теперь Наташу стали преследовать призрак темных подворотен и общество полоумных оборванцев.

— Пожалуйста, не придумывай глупости! — говорил я ей.

— Я не придумываю. Ты просто не знаешь законов. Не заплатишь три месяца — и банк выкинет тебя на улицу. Это у вас там... можно пойти и пожаловаться в коммунистическую партию.

Смешно. Как раз в это самое время коммунистическая партия трещала по швам. Я представил себя на приеме у растерянного Горбачева, которому было не до моих жалоб. Страна, подобно «непотопляемому» «Титанику», уже дала гигантскую течь. Противник Горбачева Ельцин рвался к власти, а народ мечтал о спасении и лелеял мечту о новой России — по образу и подобию Соединенных Штатов.

— Справимся, не волнуйся, — успокаивал я жену.

— Как? — не унималась Наташа.

В самом деле — как? Я с упрямством маньяка по-прежнему бил в одну и ту же точку, не сомневаясь, что не сегодня-завтра мои сценарии будут куплены. Кроме старых идей, у нас появились новые. Мы с Роном задумали телевизионную серию под названием «Пицца на Красной площади», написали «пилотный материал» и разработали основные эпизоды. Мы отменно потрудились, и все, кто читал, смеялись от души. Наша «Пицца» пошла гулять по студиям, и мы надеялись на скорый и, разумеется, благожелательный^ ответ. Помимо того, Рон, вспомнив о моем фильме «Зонтик для новобрачных», зажегся еще одной идеей — сделать фильм о любви, наподобие той, что была в «Зонтике». Стали придумывать сюжет, бурно фантазировали любовные отношения героев. В довершение всего я начал переписывать «Психушку» с учетом сегодняшнего дня, ведь события этого триллера разворачивались в бурлящей, новой Москве. Прекрасные проекты, великолепные возможности, но, к сожалению, они не решили наши с Наташей финансовые проблемы. Могли решить, но не решили. Мы с моим соавтором Роном Паркером лишь забросили в голливудскую реку удочки и возмечтали о щедром улове.

Все наши сценарии вернулись с формально-любезным ответом: «Благодарим за сценарий. Он очень интересен, но в производственные планы студии пока не ложится. Желаем удачи!»

Мы с женой усиленно молились, часами простаивая в церкви на улице Аргайл. Мы старались исправить положение, испросив прощения у Господа. В самом деле, неужели влюбленные не имеют права на счастье? Или это относится только к первой любви?

В то время мы много беседовали с владыкой Серафимом, девяностолетним старцем, нашим духовным наставником. Удивительные были глаза у владыки — васильковые, ласковые, детские. Несколько лет назад,

после гибели Наташиной мамы, он помог ей справиться с горем, сейчас помогал нам двоим. Вместе с нами он молился о здравии и благополучии детей, всегда терпеливо разъяснял таинства богослужений, исповедовал нас и благословлял. Он был очень слаб и не мог самостоятельно подниматься по крутым ступенькам дома на Ва-санта-Уэй. Однажды, поддерживая владыку с двух сторон, мы с Наташей оступились и едва не уронили старца. Мы были в ужасе — случись такое, его хрупкие косточки рассыпались бы в песок, но он, едва не упав, остался в том же благостном и спокойном состоянии, как и прежде. «Всё во власти Божьей», — словно говорили его глаза. Мы слышали, что именно с таким светлым, умиротворенным и богоблагодарным выражением лица он и отошел от мира сего — в русском монастыре под Нью-Йорком в 1996 году.

В церкви на Аргайл мы часто видели композитора Алексея (Эдуарда) Артемьева и его супругу Изольду. С Алешей мы были знакомы много лет (он писал музыку к михалковской «Рабе любви»). Мне всегда нравились его спокойный нрав и мелодичная, берущая за душу музыка. Работая в кино с такими режиссерами, как Тарковский, Кончаловский, Михалков, он сделал себе имя и стал одним из самых преуспевающих композиторов Союза.

В церкви он всегда стоял в одном и том же месте. Когда-то, в конце семидесятых, мне довелось ехать с ним в «Красной стреле». Заметив у него нагрудный крестик, я завел разговор о религии. Мы проговорили всю ночь. Несомненно, его вера не была данью моде или минутным порывом, и сейчас, спустя двадцать лет, он лишний раз подтверждал это — сосредоточенной, углубленной и сердечной молитвой. Артемьевы вот уже вторую зиму проводили в Америке. У Алеши был американский агент, который подыскивал ему работу, уже шли переговоры с продюсером, приближалась работа у Кончаловского («Ближний круг»), — словом, как и я, Артемьев совмещал полезное с приятным: греясь на солнышке, он готовил себя к щедрым голливудским контрактам.

Артемьевы снимали квартиру в Санта-Монике, и мы не раз бывали у них в гостях. В тот трудный, болезненный период Алеша искренне поддерживал меня, из природной деликатности не вдаваясь в детали нашей семейной жизни.

— Все получится, — говорил он. — Только не сдавайся. Ты знаешь, сколько лет Андрон (Андрей Кончаловский) не снимал? Он ждал дольше, чем ты! Сначала в Париже, потом здесь. И дождался. Сейчас не он посылает сценарии на студию, а ему присылают — уговаривают.

Пример Кончаловского, к которому я относился с почтением, мало утешал меня, так как я знал, кто отворил для него двери в большой Голливуд. Отнюдь не умаляя таланта Андрея Сергеевича, должен сказать, что без «звездного» участия знаменитой Ширли Маклейн, без ее авторитета и контактов Кончаловскому было бы много-много труднее. Говоря это, я прекрасно сознаю, что даже с помощью Ширли Маклейн всего не одолеешь — нужен талант, и талант незаурядный. Все это у Кончаловского было. И все же...

Нужна удача, кто-то должен в тебя поверить, поручиться за тебя.

Я познакомился с кинорежиссером Джереми Чечиком, который, сделав двадцатисекундную рекламу кока-колы, был замечен Стивеном Спилбергом и с его помощью получил на студии постановку, затем вторую, третью и т. д. Кто-то должен ввести тебя в круг. И это относится не только к Голливуду. Я помню, как милый, интеллигентный Лев Арнштам, режиссер и руководитель одного из мосфильмовских объединений, проникся искренней симпатией к молодому и свежему дарованию Сергея Соловьева и стал активно поддерживать его, особенно на первых порах. А я? Разве смог бы я чего-то достичь, не имей таких заботливых наставников, как Юлий Райзман и Нина Глаголева? Нет, разумеется.

Словом, я хотел верить, что все будет так, как предсказывал Артемьев, но в душе каркала ворона сомнений.

Пришло лето 1991 года. Так и не получив признания, а значит, и денег, я повесил нос. У Наташи тоже дела не ладились. Сбережения таяли катастрофически быстро, приближая день развязки.

На что мы рассчитывали?

Продать дом?

Возвращение в Россию обсуждалось, но все еще оставалось на периферии наших планов. Даже приглашение Параджанова не смогло перетянуть чашу весов. Побывать в России Наташе было интересно, но жить — страшно. Новый фильм Параджанова лишь слегка взбудоражил нас.

Сначала мне позвонил его ассистент и сообщил о запуске фильма под названием «Исповедь».

— В главной роли он видит только вас, — сообщил ассистент. — Это большая честь — сыграть самого Параджанова, не правда ли?

Сославшись на занятость, я отказался. Позвонил Параджанов:

— Родион, прошу тебя, не отказывайся. Представь, как важна эта картина. Это моя исповедь. Если ты откажешься, фильма не будет.

Незадолго до моего отъезда в США мы случайно встретились с Параджановым в коридоре «Мосфильма». Говорили о чем-то несущественном. По его пристальному взгляду я догадался, что он изучает меня. И вот телефонный звонок.

Мне помнились его «Тени забытых предков», «Цвет граната», но меня как актера никогда не воодушевляла стилистика фильмов Параджанова. Мне казалось, что вместо живых образов на экране передвигаются тени, очень упрощенные и одномерные. Вместе с тем я признавал его авторскую уникальность, мощную силу его киноэтнографии. Словом, у меня были смешанные чувства.

Юрий Ильенко, режиссер, а в прошлом кинооператор фильма «Тени забытых предков», много рассказывал о

нем. Не о «мальчиках» Параджанова, не о музыкальности его режиссерского видения, а о... лицемерии. «Да, Параджанов может подарить тебе какую-нибудь серебряную антикварную вещицу, — рассказывал Ильенко, — наговорить кучу комплиментов, от которых ты зардеешься, как невинная девица, но стоит тебе выйти за дверь, как вдогонку тебе раздастся его смех: "Вы видели, как он уши развесил?"»
Не забыл Юрий Ильенко и о том, как Параджанов умело «поддержал» его режиссерский дебют. На каком-то партийном праздничном застолье Параджанов поднял тост за своего друга Юрия Ильенко и за его первый фильм.
— Гениальный фильм! — сказал он. — Огромная победа кино! Шедевр! Ну и что, что он антисоветский? Это превосходный фильм превосходного режиссера. Давайте за них двоих и выпьем!
Партийное руководство Украинской Советской Социалистической Республики, вежливо чокнувшись, тут же запросило у Госкино этот антисоветский шедевр. Так, с легкой руки Параджанова, фильм Юрия Ильенко «Родник для жаждущих» впал в немилость и был практически уничтожен. Ильенко удалось выкрасть со студии первую (и единственную!) копию и таким образом спасти свое детище.
Мой телефонный разговор с Параджановым подходил к концу.
— Ну так что? — спросил он меня уставшим голосом. — Будешь сниматься?
— Я бы с радостью, — искренне сказал я, — но... — я выдержал паузу, — но я правда очень занят.
Я услышал, как на другом конце провода Параджанов вздохнул. Я стал говорить о погоде.
— Сколько ты еще будешь занят? — перебил он меня. — Я приостановлю подготовительный период.
— Н-не знаю, — уклончиво ответил я. — Думаю, что долго.
Я чувствовал, что мой отказ задевает его самолюбие, но ничего не мог поделать. Решение было принято'.
— Надолго занят... — раздумчиво повторил он мои слова.
— Да, надолго. К сожалению.
— Ну, что ж... Придется ждать.
— Нет, не надо жда...
Я не успел договорить, Параджанов повесил трубку.
— Мне кажется, я его обидел, — сказал я Наташе, испытывая неловкость, что придумал такую липовую отговорку. Что за глупость! Чем уж я так занят?
— Надо было согласиться! — сказала Наташа. — Сколько они будут тебе платить?
— Я не спрашивал.
Наверняка мало, да разве в этом дело? Как мог я уехать и оставить жену в такой трудный момент?
— Разве ты одна справишься? — обнял я ее. — Ведь чтобы продать дом, его нужно отремонтировать, привести в порядок. Собрать вещи. Потом куда-то съезжать. Разве одной это под силу? А потом... — я улыбнулся, — ты от ревности с ума сойдешь.
— Да, ты прав, — согласилась Наташа. И добавила: — Я бы так хотела поехать с тобой, но куда Катю, Лаки?
Мы начали заниматься ремонтом дома.
Красили стены, меняли ковры, складывали в коробки вещи — готовились к отъезду (хотя не знали куда). Наш милый песик Лаки, чувствуя грядущие перемены, ходил по дому как неприкаянный.
За два года я очень привязался к этому маленькому рыжему мудрецу. Бывало, поссоримся с Наташей, на сердце тяжело, хочется забиться в какой-нибудь дальний, темный угол и никого не видеть. И вот в притихшем доме я слышу дробные шажки Лаки: топ-топ-топ стучат по полу его лапки — сначала в спальне, над моей головой, затем в соседней комнате, потом в детской. Я так и вижу, как он недоуменно вертит своей пушистой лисьей головкой, ищет. Не найдя меня на втором этаже, он бросается вниз по лестнице. Я знаю, он не успокоится. Я прислушиваюсь к передвижениям собачки и молча жду. Мне всегда интересно воображать ночные картины по отрывочным звукам. Но вот Лаки рядом. Подденет мокрым носиком руку, заявляя о своем приходе, и тут же, успокоенный, ложится на пол рядом с диваном. Теперь мы оба можем наконец уснуть.
Он был очень чувствителен.
В дни ремонтных работ Наташа часто плакала, говоря о потере дома, о катастрофе безденежья, о страхе переезда в Россию. Лаки был невольным свидетелем этих сцен и смотрел на плачущую Наташу с таким серьезным вниманием, что казалось, обдумывает, чем он может помочь.
И вот через несколько дней, посреди наших сборов, мы заметили, что с Лаки происходит что-то странное: он стал ходить по кругу, волоча ноги и слабея с каждым шагом. Мы бросились к нему. Он опустился мне на руки и затих, безжизненно свесив голову. Я видел, как панически покидали остывающее тело Лаки его верные блохи.
Я впал в депрессию. Если раньше мне удавалось разложить все по полочкам, то сейчас эти «полочки» опрокинулись на меня и осыпали массой неразрешенных вопросов и непосильных дел. Я рухнул под их тяжестью. Я больше не знал, чего я хочу, чего добиваюсь и чего, собственно, стою. Зная мудрое правило жить сегодняшним днем, я жил, но как робот, ибо душа моя вся выпарилась, улетучилась. На полу громоздились десятки картонных коробок, в которые я механически складывал Наташины вещи (одежду, посуду, книги). Все мои вещи уместились в два чемодана. Я по-прежнему играл роль громоотвода, разряжая эмоциональные грозы Наташи. Но внутри меня самого все давно уже было опалено.
Известно, и на мертвом

Аккуратно идут часы,
Продвигая вперед
Время.
Но у сердца не осталось
Ни желаний, ни особых
Причин
Напрягаться,
И рассвету заниматься
Незачем.
Слишком тяжкое это
Бремя —
Отворять в пустоту
Ресницы.
Лишь седой одуванчик
Рассыпает во тьме
Летучих своих посланцев.
И к холодным камням
Припадает одно
Одуванчика нежное
Семя.

Продать дом так и не удалось. Не помог ни обновленный подъезд к дому, ни его уникальная архитектура, ни почетное соседство с виллой Чарли Чаплина, в которой тот жил в начале двадцатых годов (прямо напротив нас). Америка переживала экономический спад, и спрос на дома сильно упал. Наши денежные запасы приблизились к нулю. По бумагам мы давно уже были разорены, хоть продолжали жить в дорогом доме и ездили на престижном «мерседесе». Время, когда банк выкинет нас на улицу и отберет автомобиль, уже стучалось в дверь.

И вдруг наши молитвы были услышаны. К нам в гости заглянул известный певец — лидер английской рок-группы «Культ» Иен Аусбери. Ему и его юной жене так полюбился наш дом, что они захотели немедленно перебраться в него и предложили арендный контракт на год. В тот же день мы сговорились о цене, достаточной, чтобы покрыть основной банковский долг. От сердца отлегло. Новые жильцы стали ходить по дому, прикидывая, как его декорировать, а мы, забив своими вещами несколько комнат в камере хранения, огляделись по сторонам, не зная, куда податься.

От денег, полученных за аренду дома, оставалась небольшая сумма, которая давала нам возможность худобедно сводить концы с концами. Мы решили, что в России на эти деньги можно жить.

— Я готова ехать! — заявила Наташа.

— Я тоже, — согласился я. И задумался.

Меня никогда не беспокоила вынужденная «диета». Я был закален суровым детством и голодной юностью. Мысли были о другом. Мой американский вояж подошел к концу, и образ покинутой родины стал все более и более притягательным, точно ярко вспыхнувший на горизонте маяк. Я стал представлять в уме свое возвращение, приход на «Мосфильм», встречу с коллегами. В первое время воображаемые картины были радужными и мажорными, но постепенно к ним стали примешиваться мрачные краски и диссонирующие ноты. Я пришел к выводу, что в Москве меня никто не ждет: девочки наверняка еще сердятся, что я не принял их «ультиматум»; жилья нет; мои сбережения из-за девальвации теперь практически равны нулю и вместо «Жигулей» я мог приобрести на них лишь одно колесо. Если даже остались зрители, которые меня помнят, вряд ли кто-то из них пожертвует миллионы на постановку. Прошлые связи потеряны, а новые не сформировались. Что касается тех, кто мог бы помочь, то для них, для так называемых новых русских, мое имя олицетворяло некий забытый стандарт, никому не нужный прошлогодний снег. Словом, вслед за открытием Америки мне следовало открывать новую Россию. А сил путешествовать и начинать все сызнова у меня уже не оставалось.

— Давай немного подождем, — сказал я жене. — Я не осилю два переезда — один за другим.

— Устал? — спросила Наташа.

— Да. Я не думал, что переезжать будет так тяжело.

Наташа приняла мою усталость за чисто физическую, мышечную. Я же не хотел отягощать ее своими депрессивными раздумьями, тем более что она и сама не рвалась в бой и тоже хотела отдышаться. Мы отложили глобальный переезд в Россию до начала учебного года.

Лето было в разгаре, и мы, воспользовавшись приглашением Наташиной двоюродной сестры, перебрались на летнюю дачу неподалеку от всемирно известного Йосемитского национального парка. Это было здорово. Мы бродили по окрестностям, купались в озере, ездили осматривать исторические достопримечательности, даже выбрались однажды в город Лейк-Тахо и поиграли в казино.

Угли моих голливудских надежд тихо догорали. Лишь изредка вспыхивала в остывшей глубине какая-то нежданная искра. Так, позвонил Рон и сказал, что наша любовная история привлекла внимание компании «Прерия филм», президентом которой является замечательная актриса Джессика Ланг. Ничего конкретного, но приятно. Возможно, нас даже пригласят на беседу. Но возможно, и нет. Это Голливуд. Мираж. Иллюзия.

Слова.
Я залечивал раны и не хотел травмировать себя новыми надеждами. Все это булшит, обман: кто-то сказал, что кто-то читал, что кому-то понравилось. Хватит! Надо думать о реальных вещах. Как нам быть с пропиской в Москве, в какую школу там пойдет Катя, дадут ли мне мастерскую во ВГИКе. Не скажу, чтобы мне приятно было обо всем этом размышлять, но, во всяком случае, я чувствовал, что таким образом стою на земле, а не витаю в облаках.
Когда-то Анатолий Давыдов дал мне хороший совет. Чтобы как следует освоить английский, нужно больше времени проводить у телевизора. Вначале я смотрел и слушал, не понимая почти что ничего, мне казалось, что американцы не говорят,
а тараторят, выстреливая слова со скоростью пулемета. Но время шло, и я стал улавливать все больше и больше, потом и вовсе забыл, что телевизор — мой учитель. Телевизор стал моим приятелем. Особенно мне нравились новости. В те дни много говорилось о России, об огромных и позитивных сдвигах в общественной жизни страны. Ельцин в противовес Горбачеву вызывал всеобщую поддержку и расположение россиян, но американцам Ельцин не нравился. В своей привязанности они не изменили улыбчивому Горбачеву, как если бы он был и оставался их первой любовью. Даже сейчас, спустя семь лет, американцы скучают по милому пятну на лысине и недавно заплатили Михаилу Сергеевичу полтора миллиона, чтобы он скушал у всех на виду кусочек пиццы в рекламе «Пицца-хат». В общем, телевизионные новости дополняли нашу с Наташей довольно однообразную жизнь.
Говоря об американском телевидении в целом, должен сказать, что нахожу его очень слабым в художественном и творческом отношении. За исключением музыкальных клипов и фильмов, сошедших на малый экран с большого, остальное не стоит и выеденного яйца. Разве можно всерьез воспринимать так называемые «мыльные оперы», где красавцы и красавицы, точно куклы, сделанные под знаменитых кинозвезд, изображают на лице красивые, вафельные чувства? Или многочисленные игры-шоу, забавляющие обывателя и копирующие одна другую (у нас они тоже расплодились)? Или утрированные дискуссии и разговорные шоу типа «Мой муж — гомосексуалист» или «Любовь втроем»? Несмотря на то что некоторые, например «Шоу Джерри Спрингера», эффектно инсценируют драки на глазах у восторженной публики, сделано это крайне пошло. Приглашенные к Спрингеру гости, не успев выйти на сцену, бросаются друг на друга с кулаками, крича: «Ты, сволочь, спала с моим мужем!» или: «Ты надел мое платье, мерзавец!» Понятно, режиссура таких шоу примитивна, и я без труда улавливаю закадровый сговор: «Как только выйдите на сцену, бросайтесь на него!», или: «Рвите на ней волосы!», или «Плюньте ему в лицо!» — и т. д. Наготове стоят рослые парни, чтобы разнимать дерущихся. Удивительно при этом то, что публика принимает все за чистую монету.
Другими словами, «срежиссированное» на американском телевидении оставляло меня равнодушным, а «натуральный продукт» привлекал. Я до сих пор предпочитаю смотреть политические обозрения, новости, спорт, реальные истории и документальные расследования, потому что за подобными передачами я улавливаю настоящую, а не придуманную третьеразрядным автором жизнь.
Телереализм настолько захватил меня, что порой у меня резко подскакивало давление и бешено колотилось сердце. Я увидел, что в хваленой Америке многое устроено неразумно, глупо, несправедливо.
Как я уже говорил, мы собирались перебраться в Россию в сентябре 1991 года. Шел август. Россия бурлила, привлекая всеобщее внимание. Заканчивались мои американские каникулы. Оставались считанные дни до возвращения на Родину.
И тут раздался звонок.
— В понедельник нас ждут на киностудии «20-й век Фокс», — сказал Рон.
— Кто там будет? — спросил я.
— Лин Эрроуз (партнер Джессики Ланг), Элизабет Гейблер (вице-президент студии), ты и я. Все вместе мы пойдем к президенту киностудии Роджеру Бирнбауму.
— И... что это значит?
— Будем рассказывать сюжет. Элизабет сказала, что Роджер Бирнбаум уделит нам целых десять минут. Так что захвати еще и кассету «Зонтика для новобрачных», пусть увидят качество.
— Хорошо, привезу. Слушай, Рон, а может, им не рассказывать, а дать прочитать синопсис?
— Нет, Элизабет считает, что надо рассказывать. Так убедительней.
— Понедельник... Двадцать шестого августа? — спросил я. — Да. Двадцать шестого.
— Во сколько?
— В одиннадцать. Сколько тебе добираться до Лос-Анджелеса? — забеспокоился Рон.
— Шесть часов. Не волнуйся, не опоздаю. Я повесил трубку.
После стольких осечек не хотелось себя обманывать. «Всего десять минут? — рассуждал я. — Что значат эти десять минут? В свое время беседа с владельцем студии «Метро-Голдвин-Майер» длилась двадцать минут. И что? Горячее рукопожатие и пожелание успехов? Не будет ли и сейчас то же самое?»
Я старался сдерживать волнение, но оно все больше и больше охватывало меня.
У Наташи был давний друг Дэвид Джен, китаец, отец которого был известным тайваньским миллионером. У Дэвида пустовала квартира в Беверли-Хиллз. Решено было, что я выеду в воскресенье, переночую у Дэвида в Беверли-Хиллз (ключ он оставит в условленном месте), а утром в понедельник, свежий и спокойный, отправлюсь на студию.

В последнее время мы много говорили о святителе Иоанне Шанхайском. Архиепископ Иоанн Шанхайский долгие годы жил в Сан-Франциско, где его усилиями был построен великолепный храм. Наташе, тогда двенадцатилетней девочке, удалось повидать мудрого старца, и она запомнила эту встречу на всю жизнь. Святитель Иоанн очень любил детей и в свое время вывез из Китая (попросту говоря, спас) тысячи русских детей-сирот.
Наташа хранила маленькую бумажную иконку Иоанна Шанхайского, оставшуюся от мамы.
В воскресенье вечером, прежде чем уснуть, я прижал иконку к сердцу и вдруг почувствовал, что от маленького кусочка бумаги с изображением старца струится тепло. Это было так чудесно и приятно, что все мои волнения утихли, и я спокойно уснул.
В одиннадцать утра мы встретились с моложавым, чуть старше сорока, президентом студии Роджером Бирнбаумом. Он был в джинсах и в рубашке с короткими рукавами, слегка измятой.
— Приветствую. И извиняюсь, что заставил ждать, — сказал он и сел напротив нас. — Ну что ж, я весь внимание...
Рассказывали мы с энтузиазмом. Начал Рон, потом подключился я, потом продюсер фильма Лин Эрроуз, затем Элизабет. Мне показалось, что любовная история, которую мы с Ро-ном придумали, Бирнбауму понравилась, но потом он начал рассуждать вслух, придираясь то к одному повороту сюжета, то к другому. И чем больше замечаний он высказывал, тем более сникал. Стало очевидным, что «добро» на написание сценария мы не получим. Мы с Роном грустно переглянулись.
— Да, Роджер, ты прав, — решила вмешаться Элизабет Гейблер, которая организовала эту встречу, — но мы не собираемся делать фильм-однодневку, как ты говоришь.
— Никто не хочет! — холодно сказал Роджер Бирнбаум. — А получается. Вы видели новый фильм студии «Парамаунт» «Кузены»? А? Так вот, такое... нам не нужно!
Элизабет повернулась ко мне:
— Родион, вы принесли свою кассету? Я протянул ей «Зонтик».
— Роджер, мы намерены сделать реалистическую, серьезную ленту с великолепными актерскими работами. У Родиона есть фильм, который был для нас ориентиром. Стиль, манера...
Бирнбаум взглянул на часы и вздохнул:
— У меня две минуты, не больше.
Он явно не интересовался моим фильмом.
Как назло, видеомагнитофон президента оказался непослушным — то звук не появлялся, то цвет отсутствовал. Но пару сцен Бирнбаум все же успел увидеть. Смотрел он молча, и лицо его было непроницаемым, оставляя нас в тревожном неведении.
Ровно через две минуты Элизабет остановила просмотр, придя, видимо, к заключению, что ни стиль, ни манера русского фильма переубедить президента студии уже не смогут.
И вдруг Бирнбаум поворачивается к нам и говорит:
— Ну что ж, это другое дело. Это не «Кузены».
У нас с Роном отвисли челюсти. Флюгер резко качнулся.
— Я говорила тебе, Роджер! — воспряла духом Элизабет Гейблер.
Прощаясь, Бирнбаум крепко пожал нам руки:
— Работайте, ребята, и сделайте хороший сценарий.
Ни один из присутствующих на этой встрече не ожидал такого поворота событий.
— Что это значит, Элизабет? — спросил Рон, когда мы зашли к ней в кабинет.
Элизабет улыбнулась:
— Это значит, что я начинаю готовить документы. Мы быстренько подпишем с вами контракт — и все, начинайте писать.
По дороге назад я много раз прокручивал в памяти те самые десять минут, которые потрясли и изменили для меня мир. И всякий раз, когда я вспоминал молчание Бирнбаума во время просмотра «Зонтика», мне казалось, что именно в этот критический момент Святой Иоанн передал мою просьбу Господу.
Флюгер повернулся в нужную сторону.
Это случилось 26 августа 1991 года, в четный день календаря.
Возвращение в Россию откладывалось.
Как странно, вчера мы наскребали последние деньги на билеты в Москву, а сегодня должны искать жилище в Лос-Анджелесе, ведь дом на Васанта был занят квартирантами.
И снова Дэвид Джен пришел на помощь. У него на ранчо в Малибу был маленький дом для гостей. Дэвид предложил его нам.
Малибу — престижный район большого Лос-Анджелеса. Гуляя по пляжу или покупая продукты в магазине, мы не раз встречали голливудских знаменитостей, кино- и телезвезд. В школе, куда Катя пошла учиться, учились дети Ника Нол-те, Пирса Броснана (один из Джеймсов Бондов), певицы Оливии Ньютон Джон. Мы были рады, что недалеко от ранчо, где жили мы, жила Барбра Стрэйзанд. Словом, перебравшись к Дэвиду Джену, мы ощутили себя на достойной высоте.
Мы полагали, что подписание контракта со студией произойдет на «следующей неделе», но прошел месяц, второй, третий, а адвокаты (с нашей стороны и со студийной) всё еще упражнялись в формулировках. Невольно позавидуешь стандартному мосфильмовскому контракту в одну страницу. Поставь число и сумму

— и начинай работу. Мы же топтались на старте, не зная, когда завершится бумажная волокита.
В окончательном виде голливудский контракт содержал 72 страницы. Разобраться в нем смог бы лишь юрист высокого класса, да и то за большую плату. По рассказам наших адвокатов, они предусмотрели массу параграфов, пунктов, подпунктов и нюансов, защищающих наши интересы, но кто его знает, не морочили ли они нам голову? При ставке двести пятьдесят долларов в час это вполне возможно.
Контракт был подписан 2 февраля 1992 года.
На следующий день мы принялись за работу.
Мы с Роном жили друг от друга очень далеко, на дорогу уходил час, а то и больше. Поэтому мы решили найти место в Санта-Монике, где мы могли бы работать, не утомляя себя шоссейным маневрированием. Мы выбрали небольшое тихое кафе на пересечении улиц Бродвей и Третьей (пешеходной), как раз на полпути между Малибу и Сэнчури-сити, где жил Рон. Заказав кофе или чай, мы удобно располагались за столиком, раскладывали наши блокноты и начинали трудиться, детально обговаривая сцену за сценой. У нас уже был опыт совместной работы, поэтому дело двигалось быстро. Обычно наша ежедневная встреча длилась три-четыре часа, после чего Рон уезжал записывать обговоренное, а я возвращался в Малибу и, бродя по окрестностям, придумывал историю дальше.
Завершив сцену или две, мы обязаны были обсуждать написанное с нашим продюсером Лин Эрроуз. В целом она одобрительно относилась к тому, что мы предлагали. Но иногда бывала недовольна и резка.
— Должно быть ярче, чем в жизни! — заявляла она. — Зачем вы так смягчаете?
Мы спорили, отстаивая свои позиции, но порой я вынужден был соглашаться с ней: нашему сюжету и впрямь нужны были грубые встряски. Были претензии и к писательскому стилю Рона, неизменно интеллигентному и мягкому, несмотря на жесткие события нашей истории. Я объяснял это характером самого Рона. Я прочел несколько сценариев моего соавтора, и на каждом из них лежал отпечаток его прирожденной деликатности (даже в триллере «Психушка»). Это обстоятельство, однако, не помешало Роналду Паркеру стать сегодня одним из самых преуспевающих сценаристов на ТВ.
Ну что ж, время шло. Сценарий, если сравнивать его с ребенком, прибавлял в весе. Мы были довольны сделанным, студия тоже. Мы закончили первый вариант, обсудили его с руководством студии, получили рекомендации и принялись за второй. Мы обязаны были учесть пожелания студии, хотя некоторые из замечаний до смешного противоречили друг другу. Например, один редактор рекомендовал сделать нашего героя моложе. Но, омолодив героя, требовалось коренным образом изменить и образ Джессики Ланг, остававшейся сорокалетней. Мы с Роном упрямились, как могли, но спорить с редакторами трудно. «Эти люди платят, — сказали мы друг другу, — значит, они и заказывают музыку».
Второй вариант мы писали с меньшим энтузиазмом, будучи убеждены, что предложенные поправки ухудшают сценарий. Но аванс был получен, и мы обязаны были положить на стол Бирнбаума тот сценарий, и только тот, который был пропущен и одобрен его людьми. Так что, «наступив на горло собственной песне», мы дотягивали второй вариант.
Периодически я звонил в Москву, где жила Машенька с мамой, и в Ленинград, где жила Анюта с бабушкой. Девочки стали понемногу забывать о своих обидах и подолгу разговаривали со мной.
Иногда в их жизни происходили крутые перемены, но, к сожалению, я узнавал о них последним и мало что мог изменить. Так, я узнал, что Аня бросила Вагановское балетное училище и самовольно вернулась в Москву. Почему? «Просто я не хотела оставаться одна», — сказала Аня.
— Как одна, — спросил я, — а куда девалась бабушка?
— Бабушка уехала.
— Как уехала?
— А вот так, взяла да и уехала.
Выяснилось, что Вера, закончив свой фильм «Сломанный свет», стала ездить по фестивалям, поэтому Галине Наумовне пришлось оставить Аню в Ленинграде, а самой ехать в Москву, чтобы заботиться о маленькой Маше. Аня стала очень скучать. После отъезда бабушки она прожила в доме у чужих людей меньше месяца. Потом села в поезд и поехала домой.
Когда бабушка увидела ее в дверях, то чуть не упала в обморок: она умела переживать задним числом и наверняка представила себе маленькую Анюту, которой было чуть больше двенадцати, одну на вокзале, в ночном купе с неизвестными людьми.
Здесь я хочу сказать несколько теплых слов в адрес моей бывшей тещи. По профессии учительница, она с момента рождения девочек полностью посвятила себя им. Галина Наумовна могла бы устроить свою личную жизнь и не отягощать себя заботами о внучках. Но она пожертвовала всем, что имела и что могла бы иметь, и стала жить только для них. Во времена пеленок она весь день только и делала, что стирала да гладила, а ночью не отходила от девочек, не переставая нянчить и баюкать. Подрастали девочки, прибавлялось забот. То надо их покормить, то погулять с ними в парке, то почитать на ночь сказку. Куда они — туда и бабушка, куда бабушка — туда и они. Если, случалось, они напроказят, бабушка первая бросается их защищать. Кто больше всего обеспокоен кашлем Анютки? Бабушка. А плохим аппетитом у Маши? Бабушка. Самый лакомый кусочек — внучкам, самый сладенький — тоже им. Ну как не любить такую бабушку! Но время шло, и плотная, порой чрезмерная опека бабушки стала сковывать свободу нашим юным особам. Участились ссоры, взаимные претензии. Я бывал свидетелем некоторых сцен и, должен сказать,

всегда принимал сторону Галины Наумовны. Подросшие дети, узнав о своих правах — правах свободной и независимой личности, безоглядно бросаются в бой, чтобы настоять на своем и утвердить свой авторитет. И первыми жертвами этой революции, как всегда, оказываются те, кто рядом. Поскольку я был за океаном, а мама постоянно в разъездах, чувствительный удар приняла на себя бабушка.
Итак, Аня вернулась в Москву.
К счастью, несмотря на то что Аня самовольно бросила обучение в Вагановском, все обошлось: ее приняли в училище Большого театра, в класс Софьи Головкиной.
А Маша все реже и реже стала посещать художественную школу. Как и в случае с Аней, я ничего не мог с этим поделать. У Маши участились приступы аллергии, и поэтому врачи настоятельно рекомендовали лечение в специальном детском санатории. Какая уж тут школа, когда ребенок задыхается от аллергической астмы! Машу устроили в санаторий, расположенный в чудесном подмосковном лесу. Там она — без бабушки и без мамы — стала жить как вольная птица, не утруждая себя ни рисованием, ни учебой. Благо на пользу ей пошли чистый воздух и лечебно-оздоровительный курс.
Время от времени я посылал девочкам посылки. Это было огромной радостью — подбирать им платья, комбинезончики, курточки и свитера. Я воображал их в этих нарядах, и на сердце делалось тепло. К вещам прикладывал свои письма, печатая их на машинке, чтоб легче было прочесть. Мне хотелось письмами хоть как-то компенсировать отсутствие живого общения. Я писал подробно, но, как ни старался, писем Джавахарлала Неру к Индире Ганди у меня не получилось. Может, и в самом деле нужно отбыть срок в тюрьме, как великий индус, чтобы глубоко погрузиться в предмет разговора? Не знаю. Думаю, что я просто припоздал: времена эпистолярного жанра безвозвратно ушли. Девочкам значительно легче было трепаться по телефону, нежели отвечать на мои послания.
Понятно, я не задавал дочкам нескромных вопросов о маминой личной жизни. Да они бы и не ответили. Лишь потом я узнал, что сердце Веры в те дни уже безраздельно принадлежало другому человеку. А разве могло быть иначе?
В самом начале моего пребывания в Америке Вера порекомендовала мне обратиться за помощью к Фонду Сороса в России и назвала имя директора, ответственного за культурную программу. Так я впервые услышал имя будущего мужа Веры — Кирилла Шубского. Мы обменялись с Кириллом несколькими деловыми письмами. Фонд Сороса денег на фильм не дал, так как в это время реорганизовывался. Но имя Кирилла Шубского мне запомнилось. Потом я познакомился с ним лично. Высокий, обаятельный, немного похожий на Роберта Де Ниро, в прошлом профессиональный хоккеист, Кирилл оставил культурную программу Сороса и организовал (или продолжил, не знаю точно) свой собственный бизнес, связанный с кораблями. От культурных связей у него остался лишь контакт с популярной киноактрисой. Мне кажется, что Вере повезло: Кирилл оказался добрым и глубоко порядочным человеком.
Второй вариант сценария, который мы писали для студии «20-й век Фокс», двигался медленно. Поправки нервировали. Но полученные деньги надо было отрабатывать.
В Америке не принято спрашивать, какая у человека зарплата. Это считается неприличным. Но моим друзьям-читателям, конечно, хочется знать, какие в Голливуде авторские гонорары, поэтому я поделюсь информацией. Не будем брать в расчет низкобюджетные фильмы — там платят мелочь. Суще^ ствует узаконенная гильдией сценаристов минимальная плата за сценарий. Для художественного кинофильма это примерно тридцать тысяч долларов. Максимума при этом нет, ты можешь получить и несколько миллионов. Всё, как на рынке. Мы с Роном, новички, тем не менее получили вполне респектабельный гонорар в четверть миллиона долларов. Звучит эта сумма внушительно, но если разделить ее на месяцы (в нашем случае почти два года работы), то можно назвать ее скромной.
Как я уже говорил, в Америке долги опутывают тебя цепями. Нужен не единичный контракт, пусть даже и большой, а постоянно действующий денежный источник, избавляющий тебя от долгов. Мы с Наташей как проклятые только и делали, что расплачивались за дом, в котором не жили, за различные страховки, платили за телефонные звонки, тратились на одежду, питание, транспорт и т. д., и т. п. Всего не перечесть. Не случайно, стараясь избавиться от этих пут, многие голливудские профессионалы обзаводятся своим бизнесом, второй профессией, побочными пусть небольшими, но зато постоянными доходами. На одном кино не проживешь!
После английской рок-звезды наш дом арендовал молодой американский кинорежиссер Джордан Меламед, отец которого был известным брокером Чикагской фондовой биржи. В отличие от нас Джордан легко покрывал ежемесячную плату за дом на Васанта-Уэй, поэтому мог целый год наслаждаться прекрасной японской архитектурой. Мы же по-прежнему довольствовались двумя маленькими комнатками в доме для гостей у китайца Дэвида Джена в Малибу. Горы наших вещей громоздились в камере хранения и от времени покрылись пылью и подернулись паутиной.
Наш новый жилец Джордан Меламед был избалованным парнем, и бедная служанка не знала, как с ним быть: на вид зрелый человек, а не приспособлен к жизни, как дитя. Она рассказывала, что, приняв ванну, он мокрый идет в спальню и кричит, чтоб она скорей несла ему полотенце и вытерла спину. На ковре — лужи. Как-то в сильный дождь через неприкрытую дверь в дом брызнуло несколько капель. Джордан тут же прикрыл нос и рот специальной маской, убежденный, что дождевые капли ядовиты. Однажды в дом случайно забрел какой-то бродяга. Джордан соскочил с кровати и в панике бросился на улицу. Он бежал по ночному Голливуду совершенно голый. К своей служанке он относился, как к рабыне. «Какой он режиссер,

— подумал я, — если не знает реальной жизни и не проникся сочувствием к людям?»
Как-то он пригласил меня на просмотр своего короткометражного фильма. Действие происходило в огромном зале фондовой биржи. В тесной и шумной толпе брокеров затерялся маленький рыжий мальчик, похожий на рыжего Джордана. Он искал своего папу. Но взрослые не обращали на малыша никакого внимания. Грустное зрелище. Фильм короткий, но — «кодак», массовка, музыка — все как надо. Я понял, что был не прав: Джордан сделал фильм, даже не обладая зрелым житейским опытом. Наверное, подумал я, и ребенка можно поставить за кинокамерой, потому что опыт детства — вещь серьезная. Я пожелал Джордану успехов на режиссерском поприще, с завистью подумав при этом, что с таким папой найти средства для постановки не составит труда.
Говоря о детях богатых родителей, не могу не рассказать о Дэвиде Джене, приятеле-китайце, предоставившем нам крышу над головой.
Когда я впервые увидел его, то подумал, что ему чуть больше двадцати, но Наташа, давно знающая Дэвида, сказала, что ему все сорок. Итак, вот его история.
Пятнадцать лет назад, разозлившись на отца, Дэвид уехал в Америку (мама была с отцом в разводе). Без денег, без друзей, Дэвид влачил в Америке жалкое существование, но категорически не хотел зависеть от отца, поэтому никогда не звонил и не просил о помощи, самостоятельно зарабатывая себе на жизнь. Со временем ему удалось снять небольшую квартиру в Беверли-Хиллз — по соседству с Наташей, которая только что переехала в Лос-Анджелес из Сан-Франциско. Они подружились. Наташа советовала ему наладить отношения с отцом. Сначала Дэвид упрямился, но время и нужда сделали свое дело: Дэвид собрался с духом и набрал давно забытый номер телефона.
Отец так обрадовался блудному сыну, что стал одаривать Дэвида не тысячами и не сотнями тысяч, а миллионами долларов. У Дэвида закружилась голова. Что с этими миллионами делать?
Дэвид купил себе двухэтажную квартиру в Беверли-Хиллз. Затем еще одну — в Малибу. Затем — огромное ранчо в том же Малибу. Но дома домами, а Дэвиду хотелось славы, хотелось особого положения в обществе. Поразмыслив и поездив по миру, он нашел в Париже французскую косметическую компанию «Дарфан», которая рвалась на американский рынок, но не имела достаточных денег на рекламу. Дэвид заклю-
чил с «Дарфан» эксклюзивные дистрибьюторские права и развернул бурную деятельность. Он вложил, в дело несколько миллионов и пробил дорогу этой компании в США. Благодаря его усилиям «Дарфан» заняла достойное место рядом с ведущими французскими косметическими линиями в самых престижных магазинах Америки («Сакс Фифе Авеню», «Блуминг-дэйлс», «НиМен Маркус» и др.). Дэвид летал в Париж как к себе домой. По-королевски тратил деньги. И казалось, что счастье будет длиться вечно.
Мы радовались за нашего друга, но потом стали замечать, что Дэвид меняется. Из скромного, душевного парня, каким он был всего год назад, Дэвид превратился в сноба, избалованного и капризного.
Мы жили на ранчо, рядом с его домом, и видели, как бездумно он тратит деньги. Выписав из Англии знаменитого повара, он уволил его на второй день. Оказалось, англичанин не угодил с соусом. Дэвид оплатил англичанину дорогу туда и обратно, выдал двухмесячную зарплату и захлопнул за поваром дверь.
На ранчо постоянно работали четыре садовника, которым практически нечего было делать. Весь день они лениво сгребали листья, часами поливали территорию, переносили с места на место пустые корзины.
По двору слонялся личный архитектор Дэвида, которого держали на зарплате для пущей солидности, на случай, если вдруг понадобится что-нибудь достроить или перестроить.
У основания огромного искусственного водопада в пруду плескались сотни золотых рыбок, самая дешевая из которых обошлась Дэвиду в полторы тысячи долларов.
У Дэвида был офис в Беверли-Хиллз, ассистент, два секретаря, адвокат, бухгалтер. На него работали дизайнеры, менеджеры, продавцы. У Дэвида было два «мерседеса», джип, лошади, слуги. И вдруг... И вдруг, как в сказке о золотой рыбке, он оказался у разбитого корыта, потеряв абсолютно все. Это произошло на наших глазах. И виноват в случившемся был только один человек. Он сам.
Известно, что невзгоды и несчастья случаются по разным причинам, но, с христианской точки зрения, у всех у них одна цель: они призваны преподать нам урок. Дэвид не был готов к обрушившимся на него богатствам. Просто не был готов. Богатство ослепило его. Не заработав, а получив от отца дармовые миллионы, Дэвид стал создавать мир, основанный не на разуме, а на капризах и прихоти. Деньги не имели для него реальной цены. К празднику Дэвид регулярно получал от отца маленький подарок — чек на сто тысяч долларов (это сверх миллионов на бизнес и текущие расходы). Нужно ли заботиться о завтрашнем дне? Отец, не вникая, как его деньгами распоряжаются, все оплачивал и оплачивал растущие долги сына. А потом задумался: не летят ли его дары в трубу — на ненужных садовников, на архитекторов, на профессионально ничтожных секретарей и адвокатов? Он стал вникать в дела сына. Дэвид возмутился. Начались трения.
Отношения с отцом все больше и больше обострялись, и в конце концов Дэвид взбрыкнул и послал отца ко всем чертям. Тот, не долго думая, взял да и перекрыл Дэвиду кислород: перестал посылать деньги.
Гордый Дэвид послал отца еще дальше. Он был убежден, что созданный им мир подчинен его воле, а не указке «дурака отца». Но не тут-то было. Как только иссяк денежный источник, вся империя Дэвида Джена мигом рухнула. Французам бедный Дэвид был совершенно не нужен, и, вместо того чтобы войти в его положение, они предпочли не церемониться с китайцем, а просто убрали его с пути.

Сегодня Дэвид полностью разорен, он банкрот. Ему негде жить. Нечего есть. Если его поймает полиция, на него наденут наручники и отправят в тюрьму. За ним гоняются кредиторы. У него нет ни машины, ни водительских прав (они отобраны).
Чтобы заработать сотню долларов, Дэвид пару раз снялся в массовке. И приободрился,
— Ни о чем не надо думать, — сказал он. — Пошлют налево — идешь налево; скажут «сиди» — сидишь и ждешь. А деньги капают. Легко!
Дэвид решил посвятить себя новой карьере.
— Дэвид, — сказала ему Наташа. — Подумай сам, ведь это не профессия! Ненадежно, глупо и совершенно бесперспективно!
Дэвид глух к чужому мнению. Переубедить его нельзя, он уверен, что на этом поприще вскоре станет голливудской знаменитостью. Великий участник массовых сцен — Дэвид Джен!
— Ну что ж, — вздохнула Наташа, — одного урока ему недостаточно. Пусть снимается.
В дни нашей жизни на ранчо я познакомился с моим будущим соавтором Джоном Уэлпли. Это знакомство оказалось плодотворным: мы написали два совместных сценария, по одному из них поставили фильм под названием «Телепат» (в.английском варианте «Stir»). Но об этом — в свое время.
Дэвид Джен хотел, чтобы мы с Уэлпли поработали вместе. Задолго до нашей встречи он прожужжал Джону все уши рассказами обо мне.
— Хватит, убедил! — рассмеялся Джон. — Я согласен, давай кассету.
Дэвид бросился за кассетой «О тебе».
Джону Уэлпли фильм не понравился. Возвращая кассету, он в недоумении пожал плечами: нет, это его совершенно не тронуло, не в его вкусе, слишком символично. Дэвид показал ему другую мою работу. Фильм «Не стреляйте в белых лебедей» по Борису Васильеву сделал свое дело, Джон захотел со мной встретиться. Несмотря на то что он видел фильм без перевода, он понял его и прочувствовал. Особенно его тронули сцены между отцом и десятилетним сынишкой. Встретившись со мной, Уэлпли предложил написать что-нибудь вместе. В те дни работа с Роном подходила к концу.
Я придумал сюжет о двух неудачниках, которые выписали из России первосортных красавиц. Джону идея показалась привлекательной, и он с радостью согласился. «Русская рулетка» — так назвали мы нашу комедию. Уэлпли хорошо владел комедийным диалогом, и часто мы, сидя у компьютера, животы надрывали со смеху. Дэвид сказал, что давно не видел Джона таким жизнерадостным.
Как выяснилось, в последнее время моего соавтора упорно преследовали неудачи: его бросила жена, он потерял большой контракт на телевидении и ко всему во время недавнего пожара сгорела его квартира. Как потом признался сам Джон, наша «Рулетка» спасла его от нервного стресса и вернула к жизни.
Наташа же была не в восторге от «Рулетки». Сцены с красавицами ее раздражали. Возможно, она воображала эти сцены воочию: вот они, авантюрные, похотливые красавицы, прилетают в Америку, а навстречу им, широко раскрыв объятия, бежит... ее муж, режиссер.
Итак, мы работали над историей о русских девицах, приехавших искать приключений в Америку. А что же случилось со сценарием, который мы писали для студии «20-й век Фокс»?
Мы с Роном успешно дотянули его до конца. Получив третий (и последний) вариант, студия с нами распрощалась.
— Встретимся на съемках! — сказали нам.
Мы принялись ждать и ждем по сегодняшний день, тем самым присоединясь к армии других авторов, которые пишут впрок — для студийного портфеля. Чем объяснить такую задержку со съемками? Поисками режиссера или достойного партнера Джессике Ланг? Кто знает! А может, с уходом Роджера Бирнбаума студия остыла к проекту? Нет, оказывается, не остыла. Со слов Элизабет Гейблер, сегодня, спустя пять лет, студия не изменила своего решения сделать фильм. Мы даже обсуждали с Элизабет несколько возможных режиссерских кандидатур. Она при этом вздохнула: за хорошими режиссерами стоят в очередь, а здесь нужен очень хороший режиссер, так что надо набраться терпения и ждать.
Я вспомнил, как мучился в Америке великий Эйзенштейн. Ко всему прочему, ему еще и угрожали: Сталин востребовал Эйзенштейна обратно. Не хихи-хаха!
Со мной по-другому! Ельцин не востребует! Живи, как хочешь, Родион Нахапетов, дерись или сдавайся, твое дело, твой выбор.
То ли в зеркале,
То ли за дверью,
На закате
Иль поутру
Остановит меня
Посторонний
И подвергнет меня суду.
За безверие И за Веру, За привычку К чужим голосам,
Присуждает мне Высшую меру Посторонний По имени Сам.
Поднимаюсь я В светлую гору Или грешно Спускаюсь во тьму, Дай мне, Господи, В жизни опору,
Посторонний с собой Не в ладу.
— Добрый день! — раздается в трубке незнакомый мужской голос.

— Вообще-то... у нас глубокая ночь, — сонно отвечаю я и смотрю на часы. — Третий час. Кто это?
— Вы не знаете. Мне дал ваш телефон Сергей Муравьев.
— Му... Муравьев? — Я не могу вспомнить, кто такой. — Ладно. Я слушаю вас.
— Может, лучше в другой раз? Извините, у нас день, я не подумал.
— Теперь уже все равно, — вздыхаю я. — Слушаю.
— Не знаю, как это... — Мужчина переводит дух. Он очень взволнован.
Я догадываюсь, что речь пойдет о чем-то личном.
— Что-то случилось?
— У меня дочка. Олечка... Ей всего восемь месяцев... — Голос мужчины срывается, он не может говорить.
Наташа, разбуженная звонком, вопросительно смотрит на меня, не понимая, что случилось.
— Моя дочь умирает, — наконец произносит отец девочки. Я окончательно просыпаюсь.
— У нее порок сердца, — продолжает отец. — И врачи... врачи сказали, что спасти ее невозможно.
— Та-ак... — говорю я, — и что же?
— Мне сказали, что в Америке делают такие операции. Только они стоят сто тысяч. А у нас денег нет.
— Одну секунду, — говорю я и, зажав трубку рукой, объясняю жене ситуацию.
— Пусть позвонит завтра, — говорит Наташа. — Надо выяснить.
— Я знал, что вы поможете! — говорит отец девочки. — Муравьев сказал, что вы такой хороший человек! Вы... вы любимый артист моей жены, она все ваши фильмы знает.
Приятно, когда о тебе помнят («любимый» я отношу к преувеличению, связанному с просьбой). Но кто такой этот таинственный Муравьев?
После разговора с отцом больной девочки я не могу уснуть, ворочаюсь с боку на бок.
— Не спишь? — спрашивает Наташа.
— Почему именно мне позвонили? — рассуждаю я вслух.
— Да... — задумывается Наташа.
— Я вот лежу и думаю. Я работал с одним Муравьевым на картине, но он давно умер.
Мои мысли, взбаламученные ночным звонком, постепенно оседают на дно, я начинаю вспоминать. Отрывочные эпизоды, как перемешанные детские кубики, невольно начинают сдвигаться в ряд, образуя логическую цепь, нечто понятное и осмысленное.
Я вижу свою бабушку Машу в дверном проеме и слышу, как она в страхе говорит кому-то обо мне: «Как начнет плакать, синеет весь. И губки и пальчики синие, как у мертвеца». Я еще маленький, мне не больше пяти, но я понимаю, что говорят обо мне, я смотрю на свои руки — пальцы как пальцы. Зачем бабушка придумывает? Смотрю на себя в зеркало: нету у меня никаких «синих губок».
Дальше память переносит меня в детскую поликлинику Днепропетровска. Мне примерно тринадцать. Доктор хочет поговорить с мамой наедине. Я жду. Мама выходит заплаканная. Чем она расстроена?
— Что он сказал, мама?
— Что?.. — спохватывается она, утирая ладонью мокрую щеку. — Нет-нет, ничего. Надо беречься. Я тебе всегда говорю, носи шарф!
— А мне он сказал, — говорю я маме, — что у меня шумы в сердце.
— Все будет хорошо, — говорит мама, и я вижу, что на глазах у нее снова появляются слезы. — Надо быть внимательным к своему здоровью. Ты выбегаешь на улицу без шарфа. Ангина за ангиной.
В пятнадцать лет мне удаляют гланды, оберегая от осложнений на сердце. Мама впервые проговаривается:
— Хорошо. Вырезали — это хорошо. Сколько раз я тебе говорила: больное сердце и ангина... может плохо кончиться.
Мне двадцать один. Мама обречена, у нее рак, физически она очень страдает, но ее «сыночка» снимается в роли Ленина, и это наполняет ее безмерной гордостью.
— Если бы ты знал, сыночка, как я счастлива, — говорит она мне. — Только мать может это понять. Сколько страданий я перенесла. Как намучилась с твоим здоровьем. Я тебе не говорила, но... ты ведь родился с маленькой дырочкой в сердце.
— С дырочкой? — удивляюсь я. — Из нее ведь вся кровь убежала бы! Как можно с дырочкой жить?
— Вот видишь. Сказали, что кровь в эту дырочку билась, билась и набила мозоль. Дырочка и закрылась. Был у тебя простой порок сердца, а стал компенсированный. Но ведь тогда кто знал? В сердце ведь не заглядывали! Говорили, доживет ваш сынок до шестнадцати лет и не умрет, значит, будет жить дальше.
И вот живу. С компенсированным пороком сердца.
За окном нашего домика в Малибу занимается ясное калифорнийское утро. Я все думаю и думаю. О маленьком сельском мальчике Родине с синими губами, о его маме, уходящей из жизни, о незнакомой девочке Олечке, которой никто не может помочь.
Как все это странно.
Почему позвонили мне и почему позвонили именно тогда, когда душа моя металась в поисках опоры и смысла?
Я давно пришел к убеждению, что ничего случайного в жизни нет, даже если случайностью кажется. Отчего я так взволнован? Не от нахлынувших ли воспоминаний? Но ведь отчасти это профессиональный навык — вызывать воспоминания к жизни? Что ж тут нового? Может, меня тронула встреча с мамой, которой нет уже более двадцати лет? Может, и то, и другое, и третье. Но что сомкнуло эти чувства воедино? То, что я

нахожусь в душевном кризисе и не в ладах с самим собой?
И это тоже. Но есть что-то еще... Что? И вдруг... вдруг меня пронзает простая мысль. Да ведь это Муравьев! Тот самый неведомый, неизвестный Муравьев, который простодушно сказал, что Нахапетов — хороший человек. Это он зародил в несчастном отце девочки надежду.
Так вот в чем дело! Необходимость ответить на вопрос: хороший я человек или дрянь?
Да, я играл славных и хороших ребят, эти мои роли помнят и любят. Но кто я сам? Без игры, без булшита... Помимо просьбы, ночной звонок содержал еще и этот важный вопрос: кто я такой? Родион Нахапетов? Родин? Родина? Это был самый большой экзамен в моей жизни, и держал я его не перед Муравьевым, которого не помню, и не перед отцом больной девочки. Я должен был держать ответ перед самим собой. Не в этом ли и заключается тот смысл, которого я искал долгие годы, — быть хорошим, добрым человеком? Не казаться хорошим, а именно быть им.
Теперь я знал. Знал точно. Ночной звонок не только лишил меня сна мартовской ночью 1992 года, он символически разбудил меня к чему-то новому, к чему-то более важному и значительному, чем кино, которым я всегда был так упоенно занят. Меня ожидали испытания и эмоции, не шедшие ни в какое сравнение с голливудскими..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На следующий день после ночного звонка Наташа связалась с известным кардиохирургом Таро Ёкояма из госпиталя святого Винцента. В свое время Ёкояма сделал операцию на сердце Булату Окуджаве и продлил ему жизнь по меньшей мере на десять лет. Мы знали также, что, кроме взрослых, этот прославленный японец оперирует новорожденных детей, которым всего один-два дня от роду. И оперирует с большим успехом.
Доктор согласился сделать операцию бесплатно, но больница упрямилась: слишком большие расходы. Мы обрабатывали руководство «Святого Винцента» целый месяц, пока наконец не добились благотворительной, бесплатной операции. Нам нужно было заплатить лишь 8 тысяч за госпитальные услуги. Но это было ничто, это была победа.
Родители девочки поделились с нами своим горьким опытом, открывая глаза на многие факты. Мы узнали, например, что для того, чтобы получить от Минздрава разрешение сделать операцию за границей, ребенку должны отказать по меньшей мере в пяти различных местах. Полный абсурд! Ведь если, скажем, в Бакулевском институте не могут спасти твою дочь, к чему ехать в Рязань? Бакулевский центр — признанный авторитет, вершина. Если там отказали, какой смысл тратиться, разъезжая по другим больницам? Из-за лишней бумажки, отказывающей в помощи, бедным родителям и их детям приходится мигрировать по стране. Я так и вижу их, потерянных, подавленных отцов и матерей, обивающих больничные пороги. Одной рукой они прижимают к себе больного ребенка, а другой — потертый полиэтиленовый пакет с коробкой конфет или бутылкой коньяка, чтобы ускорить мучительный и в общем-то бессмысленный процесс.
Оле сделали операцию. Успешную. Таро Ёкояма совершил чудо.

— Вы второй отец моей дочери! — говорил японскому хирургу потрясенный папа. Из глаз его текли слезы. То были слезы облегчения и радости.
Олечка поправилась очень быстро, и уже через месяц мы провожали их в лос-анджелесском аэропорту. Забегая вперед, скажу, что через три года я снова встретился с очаровательной, уже четырехлетней Олечкой, той самой «безнадежной», с пятью отказами. Живая, здоровая. От прошлого у нее осталась на груди лишь тоненькая — с волосок — линия. Без лупы не разглядишь.
— Мы сначала думали не говорить ей об операции, — мать отстегнула пуговку на детском платье. — Видите, ничего не видно! Но потом решили: пусть знает... — голос матери дрогнул, — пусть знает, что есть на свете хорошие люди.
Девочка вырвалась из материнских объятий, выбежала На середину комнаты и принялась кувыркаться на ковре. Как маленькая заводная обезьянка — вперед, назад.
— Кончились для нас врачи! — рассмеялась мать.
Я смотрел на неутомимую Олечку и не мог нарадоваться.
Но я забежал вперед, в 1997 год.
Вернемся в 1993-й.
Известно, родители больных детей не теряют связь друг с другом, образуя большую и дружную семью. Любая информация — печальная или радостная — распростраНяется между ними со скоростью звука. Стоит ли говорить, что наш телефон стал надрываться от звонков. На стол ложились сотни писем с вложенными детскими фотографиями и с мольбами спасти больных детей — так же, как девочку Олю, бесплатно.
Мы поняли, что никуда нам от этих просьб не деться. Надо помогать. Спросили у Таро Ёкоямы, не может ли он поднапрячься и спасти еще хотя бы одного ребенка.
— Я готов, — ответил он. — Но больница сказала «нет». Большие расходы.
Мы стали названивать по всей Америке. Должен сказать, что никого особенно не прельщают благотворительные операции, и все же нам удалось спасти еще одиннадцать тяжелобольных детей. Наших

детей оперировали в больницах Лонг-Айленда и Бруклина, Сан-Франциско и Альбукерки (в штате Нью-Мексико), в клиниках Калифорнийского (в Лос-Анджелесе) и Стэнфордского университетов. Размах большой. Но представьте, каково было огранизовывать это. Если в Лос-Анджелесе вести переговоры с больницей и обустраивать гостей было непростым делом, то заниматься этим на расстоянии тысяч километров — и вовсе немыслимое. Одному Богу известно, как мы справлялись. Но ведь справились. Дети вернулись домой здоровыми.

Но не всегда и не все шло гладко.

Был у нас семилетний мальчик Витя Зубанов, худенький, с большими умными глазами. Жил он под Казанью — в сарае у чужого дедушки. Отца у Вити не было, мать не вылезала из психушки — алкоголичка. Стони Брук госпиталь согласился принять Витю на операцию. Но как он поедет в Америку — один? Я стал названивать в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, чтобы они отправили мальчика с временным опекуном. Ясное дело, желающие опекать нашлись. Кто откажется слетать на две-три недели в Америку — за чужой счет?

Вместе с Витей прилетела солидная дама, культурная, представительная, к тому же владеющая английским языком. Мы нашли для них дом — недалеко от больницы.

Операция прошла успешно.

По предыдущему опыту я знаю, что через три-четыре недели после операции ребенок может спокойно лететь домой. Но вдруг у Вити резко поднялась температура. Оказывается, в зубе у него таилась микроскопическая каверна, которая отравила кровь грибком фангас. Что только не предпринимали, чтобы сбить температуру! Казалось, весь госпиталь занимался сиротой из России. Столько внимания и неподдельной любви я еще не встречал. Но с каждым днем Вите становилось все хуже и хуже. Иммунная система мальчика совершенно не работала, как если бы у него был СПИД. Нас приготовили к самому худшему.

— Это может случиться в любой момент! — предупредил нас его лечащий врач. Приближался Новый год. И тут солидная дама-опекун заявила, что уезжает: с ней договаривались только на три недели и срок этот истек. Не ее вина, что мальчику стало хуже.

— Поймите, — говорила она, — это Новый год, у меня дети, муж. Не могу же я сидеть здесь вечно.

Возмущению моему не было предела. Как можно оставить ребенка в такой критический момент — он ведь привязался к ней, как к матери. Ее отъезд травмирует его!

Но дама была непреклонна.

После ее позорного бегства я, бросив все дела, все свои «Рулетки», полностью посвятил себя мальчику. Витя был славный мальчишка, приветливый, ласковый. Я думаю, что его личным обаянием во многом объяснялась любовь к нему медицинского персонала.

Время шло, смерть не забирала мальчика, но и не отпускала. Недели бежали за неделями. Он по-прежнему находился в отделении интенсивной терапии, ежедневно обходясь госпиталю в пять-шесть тысяч долларов. Благотворительность выходила американцам боком. Витя Зубанов никак не выздоравливал, и счета за его лечение росли не по дням, а по часам. Они уже перевалили за триста тысяч! Дирекция госпиталя вызвала меня на ковер.

— Мы удовлетворили вашу просьбу, — сухо сказали мне, — и приняли ребенка, но мы не можем держать его бесконечно.

— Что это значит?

— Вы должны его забрать. Мы, конечно, снабдим его всем необходимым (Витя лежал под капельницей, с кислородной маской). Если надо, пришлем медсестру.

Я был в шоке. Кто рискнет взять мальчика к себе домой в таком состоянии? Православная церковь организовала группу русских эмигрантов, которые старались навещать мальчика, но одно дело бывать в больнице, а другое — иметь ее в своем доме.

Я позвонил в Лос-Анджелес.

— Безобразие! — возмутилась Наташа. — Я не могу поверить, что такое происходит в Америке!

И позвонила директору.

— Как вам не стыдно! — с трудом сдерживая слезы, начала она. — Как вы смеете выбрасывать на улицу умирающего ребенка, сироту!

Директор попытался вставить слово.

— Не надо мне ничего объяснять! Это преступление! Если вы уберете Зубанова из больницы, вам не сдобровать! Я работаю на телевидении. Мы расскажем всему миру, что американский госпиталь выбрасывает на улицу русского сироту. Си-эн-эн, «60 минут», Ларри Кинг — да все! Все бросятся на такой сюжет!

Директор дрогнул.

— Договорились? — спросила Наташа после короткой паузы.

Да, с грехом пополам договорились. Что бедному директору оставалось делать?

Эта атака, безусловно, спасла мальчика, но, думаю, она же поставила и последнюю точку на гуманитарных акциях этого престижного госпиталя.

Почти три месяца продолжалась борьба за жизнь.

И тут история с Витей вошла в новое русло.

Из русских эмигрантов, регулярно навещавших Витю, обращал на себя внимание некий Миша, средних лет господин, который испытывал к мальчику огромное сострадание. У него была американка-жена, был большой дом, постоянная работа, деньги, но у Миши не было детей.
Стоило Мише увидеть несчастного Витю Зубанова, как сердце его забилось с такой тревогой и беспокойством, точно это был его собственный сын. Он сидел у постели мальчика, прижимая к груди его худенькую, исколотую иголками руку, и молился. Спустя две недели Миша признался, что мечтает усыновить его. Мальчик стал называть его папой. У нас не оставалось сомнений, что, разлучи их, мы совершим непоправимую ошибку.
Рассказы нового папы о богатом десятикомнатном доме, где мальчика с нетерпеньем ждут, придавали больному сил. Вите страстно хотелось как можно скорее сменить больничную койку на кровать в своей собственной комнате.
Он стал поправляться.
Восемьдесят три дня его пребывания в госпитале вылились в большую «копеечку». На наш лос-анджелесский адрес еще долго приходили больничные счета — то на семьдесят, то на сто, то на триста тысяч. Посылая эти астрономические счета, госпиталь, видимо, хотел продемонстрировать колючую бухгалтерию благотворительности. Мы понимали их и сочувствовали, отмечая при этом, что, несмотря ни на что, дело доведено до конца и ребенок спасен. Мы направили руководству госпиталя благодарное письмо от Фонда дружбы Нахапетова (фонд уже был создан к этому времени). Письмо было такое искреннее и сердечное, что директор госпиталя даже растрогался, позвонил Наташе, и они, забыв прошлое, окончательно помирились.
Для того чтобы решить вопрос усыновления, требовалось согласие родной матери (закон требовал этого, невзирая на ее психическое нездоровье), поэтому я написал матери письмо.
Никогда не забуду ее ответ.
«Как же я буду без моего Витеньки? Пусть ему будет хорошо. Фрукты, витамины — это хорошо для здоровья. А я бедная. Я слышала, что у этих людей много денег. Если они такие хорошие, скажите им, чтобы они мне заплатили. Витя, маму не забывай. Посылаю ему свою фотографию, чтобы вставил в рамку и повесил на стенку. Мама больная. Я совсем бедная. Я получала за больного сына Пособие. А я буду получать, если он там? Скажите. Пусть ему купят шерстяные носочки, я ему обещала, но у нас были только колючие, от которых ноги чешутся. Если мне дадут помощь и заплатят, пускай остается. Но я его потом увижу? Витя, помнишь, как мы ездили в парк и я тебе покупала хрустящую картошку в пакетике? Не забывай маму».
Я обратился в Минздрав республики с просьбой оставить ей пособие по болезни ребенка. Они обещали это сделать.
Недавно мы получили письмо от «папы Миши» из Нью-Йорка. Он радостно сообщил, что мать Вити дала официальное добро на усыновление и Витя остался в Америке навсегда. Мальчик хорошо учится, здоров и весел.
Мне жаль мать мальчика, но я убежден, что судьба распорядилась правильно: в дедушкином сарае, на хрустящей картошке ребенок с вшитым кардиостимулятором прожил бы недолго.
Несмотря на успехи, мы понимали, что спасение двенадцати детей — это капля в море. Число детей, нуждающихся в операциях на сердце, в десятки тысяч раз превышало наши возможности. Не создавать же для этого тысячи фондов, подобных нашему!
Да и прошла в Америке волна сочувствия к российским преобразованиям. «Раз в России, — говорят нам, — появилось такое количество миллионеров, надо, чтобы они же своим детям и помогали».
Мы, однако, видели решение вопроса не в обрабатывании новых русских, а в том, чтобы помочь русским врачам и больницам наладить работу на месте. Я убежден, что наши врачи, имей они то, что имеют их заокеанские коллеги, справились бы с операциями не хуже американцев.
Мы сколотили команду врачей из лос-анджелесского Института сердца, возглавляемую нашим знакомым Таро Ёкояма, и отправились в двухнедельное путешествие по России. В Москве мы были приняты медицинскими светилами, беседовали с рядовыми врачами, медсестрами. Это помогло американским врачам составить вполне объективное впечатление о положении дел в области детской кардиологии и кардиохирургии в России и дать нашему фонду очень важные рекомендации и пожелания. Но то была деловая сторона вопроса. Эмоциональная же потрясла нас и озадачила. Одно дело неспособность русских врачей помочь детям, другое — невозможность помочь детям вообще. И не по причине того, что отсутствуют медикаменты, аппаратура, средства. А потому, что поздно! Тысячам детей следовало бы сделать операцию в раннем возрасте, когда в легких еще не наступили необратимые процессы. Сейчас же у них не оставалось шанса на выживание ни в России, ни в Германии, ни в Америке — нигде!
Пожилая женщина протягивает мне кипу медицинских документов.
— У моей внучки тетрада Фалло (несколько сердечных дефектов). Вот посмотрите, пожалуйста.
Я беру ветхие листочки и читаю:
«Маркова Нина Михайловна, рожд. 17 августа 1983 года, впервые обратилась к врачу в возрасте шести лет с жалобами на боли в области сердца...»
— Я, знаете, не специалист, — извиняюсь я, ознакомившись с диагнозом и безнадежными прогнозами. — Я ничего не понимаю, но... думаю, что американцы, которых мы привезли, посмотрят и сделают свое

заключение.
— Ниночка не приехала, она очень слабенькая, но я привезла ее последние анализы и историю болезни. Ниночка не может ходить, а инвалидной коляски у нас нет, достать ее невозможно, куда я только ни писала... Знаете, как я Ниночку ношу? Беру на плечи вот так... — женщина показывает, как она кладет больную внучку на плечи, — и переношу с места
на места. Только сил-то у меня уже нету. Ниночке исполнилось десять, не маленькая. Ее здесь обследовали, и Семен Владимирович ее помнит, и Анна Тимофеевна — это главврач отделения, хорошая женщина. Я раньше каждый год Ниночку в Москву привозила. А сейчас боюсь, а вдруг ей станет совсем плохо. У меня ведь дочь так умерла, ее мать, тоже сердечница была, в двадцать шесть лет умерла. Сейчас, говорят, и техника стала лучше, и врачи стараются лучше, но мою Ниночку почему-то не хотят оперировать. Говорят, бесполезно. А в прошлую субботу мы прочитали в «Комсомолке», что Нахапетов привез американских врачей и они будут бесплатно осматривать детей. Отбирать на операцию в Америку. Ниночка как узнала об этом, так не может успокоиться, знаете, стала кричать на меня, чтоб я ехала. Мы в Белгороде живем. Не близко. Она мне говорит: «Что ты сидишь? Чего ты ждешь, бабушка? Американцы мне помогут!» Она у меня очень умная девочка, ее учитель сказал, что таких сообразительных и умных учеников, как наша Ниночка, он еще не знал. Она новый ранец попросила, — женщина достает из-под сиденья ярко-синий ранец с английской надписью. — Я купила, пусть радуется. Скажу, что американцы подарили. Мне ведь для нее ничего не жалко. Жизнь бы свою отдала за нее!
Женщина замолкает.
Ознакомившись с историей болезни десятилетней Ниночки Марковой и обсудив ее состояние с русскими врачами, американцы вынуждены были признать девочку неоперабельной, а ситуацию — безнадежной. Опытный детский кардиолог доктор Ирвинг Тесслер обнял женщину за плечи и сказал:
— Поверьте, мы сделали бы все возможное, чтобы спасти вашу внучку, но слишком поздно.
— Как поздно? — переспросила женщина.
— В ее случае операцию нужно было сделать в грудном возрасте. Вы же обратились к врачам слишком поздно. Слишком поздно.
Я видел, как приняла этот приговор несчастная женщина. Казалось, она постарела вдвое. Слабым голосом она поблагодарила врачей и, пошатываясь, направилась к выходу. Я вышел следом.
Женщина опустилась на диван прямо у двери. Хотела перевести дух. На коленях у нее лежал ярко-синий школьный ранец — «подарок» от американцев.
Я не знаю, как можно утешить в подобном случае. Я сел с женщиной рядом. Мы сидели молча минуту или две. Потом я предложил ей деньги — на лекарства. Она из деликатности отказалась, но, подумав, согласилась взять.
Спустя месяц мы отправляли в Россию гуманитарную медицинскую помощь и вместе с мониторами, респираторами, катетерами положили в контейнер и несколько инвалидных колясок. Одну из них адресовали Ниночке Марковой в Белгород.
Но помощь из-за океана пришла слишком поздно. Ниночка умерла.
В один из наших медицинских визитов в Россию мне передали личную просьбу президента Республики Татарстан Мин-тимера Шаймиева приехать с американскими кардиоспециали-стами в Казань. Суверенная Республика Татарстан является частью России, и поездка в Казань не требовала оформления виз, так что мы выкроили время, сели в поезд и поехали. Фирменный поезд «Татарстан» отбывал из Москвы в восемь вечера и в восемь утра прибывал на место. Очень удобно. Есть время выспаться. Кроме нас, в вагоне находилось еще четверо пассажиров. Узнав меня, солидные господа пригласили к столу. Захватив с собой две бутылки коньяку, а также всю команду (девять человек, включая Наташу), я распахнул дверь в их купе.
От плотной массы людей и несмолкаемого гвалта стены купе, казалось, прогнутся и лопнут по швам. Поднимались тосты за дружбу, за детей, за врачей, за женщин, за мир во всем мире и за все, что положено в этом случае. Пели песни, плакали, обещали друг другу никогда не забывать об этом поезде и об этом купе. Не знаю, как мои татарские друзья, но американские врачи не забыли об этой ночи — они слегка перебрали.
Мы провели в Казани всего один день, но он оказался очень продуктивным. Мы побывали в больнице № 6, где американцы обследовали свыше сорока детей с тяжелыми пороками сердца. После этого хозяева показали нам новую детскую

больницу, оборудованную по последнему слову техники, но не функционирующую, так как медицинский персонал был еще неопытен. Американцы сразу же заметили несуразицу: в больнице № 6 есть опытные, квалифицированные специалисты, но нет нужного оборудования, в детской же больнице наоборот — есть первоклассное оборудование, но нет специалистов. Мне пришла в голову идея воспользоваться детской больницей как базой, где можно было бы с помощью американских врачей провести несколько показательных операций, спасти, скажем, двадцать-тридцать детей и при этом обучить молодой персонал больницы.
На встрече с Минтимером Шариповичем мы обсудили возможность высадки подобного медицинского десанта. Президент поддержал идею с энтузиазмом. Дело оставалось за малым — организовать группу американских врачей, обеспечить их всем необходимым и привезти в Казань. Фонд взялся .за проведение этой огромной гуманитарной акции.

Президент Шаймиев произвел на всех нас впечатление хорошего и заботливого хозяина. Не бюрократа, погрязшего в цифрах и бумагах, а человека, знающего боль и нужду людей.
— Ко мне часто обращаются за помощью. Помогите моей дочери! Спасите моего единственного сына! Если бы вы знали, как тяжело и больно отказывать. Вы ведь понимаете, когда ребенок тяжело и неизлечимо болен, а больницы не оснащены необходимым оборудованием и врачи не имеют опыта, это настоящая беда, просто катастрофа. Мы не можем мириться с подобной ситуацией.
Мы сознавали, что с помощью американцев можно будет поправить это положение, ведь среди так называемых неизлечимых (с точки зрения местных врачей) есть и такие дети, которых еще можно спасти с помощью квалифицированной и своевременной операции.
Поддержка президента окрылила нас. Мы стали прикидывать, когда, на какие средства, с какой группой поедем. Мы понимали, что команда Таро Ёкоямы слишком мала для подобной акции, а лос-анджелесский госпиталь святого Винцен-та недостаточно авторитетен. На Наташу легла ответственность уговорить руководство одной из крупнейших в Америке клиник, детской клиники Стэнфордского университета, чтобы они выделили из своего медперсонала группу примерно в
двадцать-двадцать пять человек, которые поехали бы на две недели в Казань и бесплатно там поработали.
Минздрав Республики Татарстан согласился оплатить расходы экспедиции на участке Москва—Казань. Основные же расходы, куда входили авиабилеты из Сан-Франциско в Москву и обратно, грузовые перевозки, все расходы по организации группы, согласованию, переписке, междугородным и международным звонкам, должен был оплачивать наш фонд (то есть мы с Наташей).
Прежде чем я расскажу, в какие расходы мы вошли и как эти деньги нам доставались, остановлюсь немного на одном недоразумении, связанном с моими многочисленными национальностями.
Когда мы прощались с Шаймиевым, он обнял меня и спросил:
— Успели побывать у памятника Ленину? Нет? — Президент повернулся к помощнику и отдал распоряжение: — Проводите Родиона Рафаэльевича к памятнику.
— Да, это упущение, — шутливо пожурил меня помощник, когда мы выходили на улицу. — Татарин играет Ленина и не знает исторических мест татарской столицы. Ай-ай-ай!
Так вот что! Помимо того, что я был «признанным» украинцем, узбеком, армянином, литовцем, я теперь, оказывается, еще и татарин. Вообще-то, в одном из интервью я сам заикнулся о Татарии, сказав, что знаю об отце лишь то, что он был инженером-нефтяником и работал в Татарии в г. Бав-лы-Нефть. Этот адрес пришелся татарам по душе.
О трансформации моего имени известно из первых глав. Помните: Родина, Родин, Родион? Теперь пришло время рассказать о трансформации моей национальности.
Неопределенность моей национальности (отцовской половины) объяснялась тем, что мама и сама толком не знала, какой национальности был отец.
— Бог с ним, с этим отцом, — говорила мне мать. — По матери ты украинец.
Мое детство прошло на Украине, я знаю украинский язык, люблю украинские песни, мои предки по материнской линии все чистокровные украинцы. Понятно: я — украинец.
Но вот в начальной школе кто-то сказал, что в Северной Осетии много таких фамилий, как моя, — Агабеков, Нагобеков. Кто знает, может, отец был родом из Северной Осетии. Почему бы и нет?
Мама любила петь грузинскую песню «Сулико» (я тоже могу спеть ее в оригинале) — оказывается, мой отец свободно говорил по-грузински (грузин, что ли?). Не исключено, думал я, что и я грузин.
В деревне Скалеватка, где жили мои дедушка и бабушка, их называли не по фамилии — Прокопенко, а по прозвищу — «Литвины» (то есть литовцы). Объяснялось это тем, что предки моего дедушки были переселенцами из Литвы. «Литва? Где это, бабуль? Расскажи!» — приставал я к бабушке с расспросами. И решил, что я — литовец.
В одиннадцать лет я, наконец, впервые увидел отца. Я боялся его о чем-либо спрашивать, но узнал от него, что слово «наапет» — корень фамилии Нахапетов — по-армянски значит «предводитель», «староста». Я был так рад установленной наконец национальности, что с гордостью объявил в классе, что я армянин. Меня, конечно, поздравили. И долго еще вслед раздавалось: «Армяшка, армяшка, жопа-деревяшка».
Но история с национальностями на этом не кончилась.
В фильме «Влюбленные», созданном на киностудии «Узбекфильм», я сыграл героя по имени Родин Иногамов, узбека с примесью украинской крови. Фильм стал популярным, и так как имя героя Родин мое настоящее имя, то мне приписали заодно и узбекские корни. Для многих я стал узбеком.
И вот я татарин. Я ничего не имею против. Мне нравятся татары. Да и вообще мне нравятся все национальности, населявшие нашу некогда славную Отчизну. Я скучаю по прошлому, по многонациональной моей Родине — великому Союзу Советских Социалистических Республик. И пусть на меня не обижаются отделившиеся от Союза республики — мне жаль, что Союз распался. Очень жаль. Во мне самом слилось столько национальностей, что развал Союза как бы и меня рассек на куски.
Ну ладно, вернемся к вопросу о предстоящей поездке врачей.
Мы прикинули, что одни лишь авиабилеты из Сан-Франциско, где находилась клиника Стэнфордского университета, в Москву и обратно обойдутся нам в тридцать семь-тридцать
восемь тысяч долларов. Упаковка и пересылка грузов — еще семь-восемь тысяч. Международные телефонные переговоры, факсы — не менее пяти тысяч. Кроме того, мы отдавали себе отчет в том, что

понадобятся дополнительная аппаратура и медикаменты, за которые фонду придется заплатить — если не всю сумму, то все же достаточно большую. Другими словами, без сотни тысяч долларов нам не обойтись. Обошлось дороже.
При первой же встрече с руководством Стэнфорда нам заявили, что без предварительной, ознакомительной, поездки группы специалистов о большой поездке и речи быть не может. Пришлось вывернуться наизнанку и достать еще тринадцать тысяч долларов на полет в Казань. Несмотря на непредвиденные дополнительные расходы, должен признать, что разведывательный визит врачей был крайне необходим. Только вернувшись из поездки, Стэнфорд дал нам окончательный ответ и согласился идти с Фондом дружбы в одной упряжке.
Фонд дружбы и Стэнфорд! Звучит гордо и обещающе. Мы были уверены, что в союзе со Стэнфордом преодолеем любые трудности. В какой-то мере это было так. Но деньги, деньги... Увы, это как было, так и осталось самой большой и трудноразрешимой проблемой.
Фонд дружбы создавался группой друзей. Но отнюдь не миллионерами. Линда Конрад — фотограф, Жерар Кассл — молодой адвокат, Том Тазарве — экономист, Наташа Шляп-никоф — продюсер. И я — режиссер. Вот и все руководство фонда. Кроме нас с Наташей, никто не вложил в казну фонда ни цента. Наши друзья отдавали фонду время, не скупились на советы, спорили и утверждали планы, но не тратились.
Наших же с Наташей вложений в фонд было недостаточно, чтобы осилить предстоящую благотворительную акцию.
Мы обратились за помощью в церковь Покрова Святой Богородицы на улице Аргайл. Настоятель церкви отец Александр Милеант (ныне архиепископ) всегда очень сочувственно и с пониманием относился к делам и усилиям фонда. В этот раз в одной из своих проповедей он особо отметил добрую и бескорыстную деятельность фонда. У входа в церковь был положен подписной лист. В общей сложности прихожане пожертвовали почти три тысячи долларов. Это была скромная, но в
каком-то смысле очень важная помощь, поскольку без моральной поддержки, которую давала Церковь, с большим делом не совладать.
Дальше. Я поехал в Нью-Йорк, где встретился с руководством Российского Детского фонда, и выпросил у них еще шесть тысяч. Этот фонд в основном опекает русских скаутов, но на сей раз поддержал и нас.
В том же Нью-Йорке я попал на прием к сыну знаменитого Гарри Уинстона — Роналду, тому самому, который выдает бриллиантовые украшения звездам Голливуда — на один вечер (вечер вручения «Оскаров»). Внимательно выслушав меня, господин Уинстон-младший обещал выделить на доброе дело целых десять тысяч долларов. В течение трех месяцев мы периодически напоминали господину Уинстону о себе, пока нам не стало ясно, что он никаких денег не пришлет — по-видимому, передумал.
Мы готовили поездку Стэнфорда в Россию девять месяцев.
Даже рассказ об организации этого дела занял бы добрую сотню страниц. Но не будем топтаться на месте. Понятно, девять месяцев — большой срок, и он ушел на сбор средств, аппаратуры и медикаментов, на встречи с врачами и проработку возможных трудностей и неожиданностей, на переговоры с Минздравом Татарстана, на визы, факсы, опись и документацию всех грузовых отправлений и т. д., и т. п. Организация предстоящей медицинской экспедиции напомнила мне подготовительный период в кино. И там и здесь все должно быть предусмотрено, просчитано, построено, договорено. Существенное различие, однако, заключалось в том, что в кино съемочная группа добивается воплощения фантазий, а в случае со Стэнфордом мы готовились к реальному спасению трех десятков детских жизней.
Пока шла подготовка к поездке Стэнфорда в Россию, мы с Джоном Уэлпли находили время и для нашей профессиональной работы. Дописали комедию «Русская рулетка» и принялись за американскую версию фильма «Не стреляйте в белых лебедей», от которого Уэлпли был в восторге (я получил от Бориса Васильева разрешение на написание сценария).
Фантазировать новых «Лебедей» было нелегко. Особенно, поначалу. Новые обстоятельства, незнакомые имена и харак-
теры. Но скоро история повлекла нас за собой — так, что мы едва успевали записывать. В ней все было по-другому, но при этом оставался тот же, что и у Васильева, внутренний прицел и тот же катарсис — в конце. Я не люблю повторов в работе, но в этом случае я с огромной радостью снял бы американскую версию «Лебедей».
Мы увлекли идеей «Лебедей» продюсера Алекс Роз, которая до этого сделала несколько кинокомедий с актрисой Гол-ди Хоун, получила «Оскара» за «Норму Рэй» с Салли Филд, сделала добротный фильм «Франки и Джонни» с Аль Пачино и Мишель Пфайфер. Нашему продюсеру довелось также сотрудничать и с таким замечательным артистом, как Том Хэнке.
Мы договорились о встрече с Томом Хэнксом на студии «20-й век Фокс». Алекс Роз опоздала, поэтому пришлось начинать переговоры без нее.
Несмотря на бурную славу, Хэнке в жизни оказался скромным, дружелюбным парнем, в чем-то сродни сыгранным персонажам. У него были большие добрые глаза и слегка припухшие губы (будто у недавно плакавшего ребенка). После фильма «Большой», в котором Том играл взрослого парня с душой десятилетнего мальчика, мне особенно нравилась детскость Хэнкса, его сердечная чистота. Как и в Егоре Полу-шкине Бориса Васильева, так и в нашем Джо Уистлере (Свистуне) это качество было самой важной чертой характера. Разговаривая с Хэнксом, я мигом вообразил его в роли непутевого, но доброго героя «Лебедей». «Только бы он согласился!» — мысленно взмолился я.

Том полистал мою биографию, изобиловавшую «достижениями» в актерской, режиссерской, сценарной, а также композиторской деятельности (я написал музыку к двум документальным фильмам), и улыбнулся.
— Человек Ренессанса! — воскликнул он. — Много граней, и все хороши, а?
Мне стало неловко оттого, что Хэнке мог воспринять мой послужной список как желание прихвастнуть. Я небрежно откинул в сторону страницы с биографией и сказал:
— Здесь всего так много просто потому, что... я жил долго.
— Ну, вам, надеюсь, не семьдесят?
— О нет, конечно. Хэнке рассмеялся.
В это время появилась Алекс Роз. Они по-приятельски обнялись с Томом, перекинулись парой-тройкой слов о своих общих знакомых. А потом перешли к делу.
— Том, — сказала Алекс, — у нас есть идея сделать американскую версию одного русского фильма. Я думаю, тебе понравится. Сейчас мы покажем несколько сцен. Наташа поможет с переводом.
— С удовольствием. — Наташа вставила кассету в видеомагнитофон.
Том придвинулся к экрану телевизора и стал смотреть. Я искоса поглядывал на него, но Хэнке был одинаково серьезен и непроницаем от начала до конца сеанса.
— Ну что ж, очень интересно, — сказал Хэнке, когда просмотр закончился. — Характер мне нравится. Только как это все перенести на нашу почву? Вы решили, где снимать?
— В штате Монтана, — ответила Алекс Роз. — Но идея-то тебе приглянулась или нет? Маленький человек пытается исправить этот ужасный мир. Чаплиновский характер.
— Да, идея хорошая, — почему-то задумчиво произнес Том. — Я недавно озвучивал фильм «Радиополет». Я согласился писать голос автора за кадром. И знаете почему? Только потому, что меня потрясло то, как написан сценарий. Великолепный сценарий. Вот в таком бы ключе сделать и ваш фильм.
Том назвал имя молодого автора. О том, что «Лебедей» уже начал писать Джон Уэлпли, мы решили не упоминать (Уэлпли — телевизионный автор), просто чтоб не отпугнуть Хэнкса раньше времени.
— Я буду ждать сценария. Желаю успеха! — сказал Том Хэнке на прощание и проводил нас до двери.
Алекс Роз любила фильм, но к Уэлпли относилась скептически. Мне кажется, что она держала на прицеле автора, которого рекомендовал Том Хэнке. Отказавшись предать Уэлпли и взять рекомендованного автора, я тем самым автоматически лишился и Хэнкса. А без Хэнкса проект уже не имел для Алекс Роз никакого смысла. Денег на фильм не найдешь. Я всего этого не знал тогда, но, даже если бы знал, поступил точно так же. Я не мог предать своего друга.
Уэлпли так никогда и не узнал о переговорах за его спиной: к чему огорчать и без того нервного писателя. Да, мы потеряли хорошего продюсера, но зато остались с хорошим сценарием на руках. Нечего отчаиваться. Кстати, подобное случилось и со сценарием «Русской рулетки», которым заинтересовался продюсер Билл Баталато, известный по кинопародии «Обнаженное оружие» и фильму «Сломанная стрела». Более года Баталато уговаривал меня расстаться с Уэлпли. Ему безумно нравилась придумка, история, идея, но раздражала сценарная запись.
— Очень отдает телевидением, — заявил Баталато. — Вам трудно это уловить, но поверьте моему вкусу, Родион, от этого сценариста надо избавляться. И как можно быстрее. Я возьму другого, перепишем и начнем снимать.
Я снова отказался. Я не верю в благополучие тех, кто ходит по трупам. Мне кажется, что их всегда будет мучить совесть. Но не только из этических соображений я не совершил подлости. Я до сих пор убежден, что оба сценария — и «Рулетка» и «Лебеди» — хорошие. Что касается литературного стиля, то, согласен, я могу и не улавливать нюансов, но считаю, что для того и режиссер, чтобы внести свои художественные поправки, осмыслить сценарий на новом уровне, на новом этапе.
Расставшись с Алекс Роз, мы наивно полагали, что Том в следующий раз примет нас и без нее. Раз ему понравилась история, значит, он с интересом будет читать сценарий. Все оказалось сложнее, чем мы думали. Пробиться к Тому Хэнксу напрямую мы не смогли, нас перекинули к агенту Хэнкса, а агент сразу же спросил, есть ли у нас деньги на производство (Том запрашивал десять миллионов долларов). Денег у нас, естественно, не было.
Спустя примерно восемь месяцев после первой (и последней) встречи с Хэнксом неожиданно позвонила Алекс Роз.
— А вы знаете, дорогие, — объявила она, — мы ведь дали Тому хорошую идею. Он начал сниматься в роли недоделанного дурачка, но с добрым, любящим сердцем. Как у Родиона. Материал идет великолепный.
— Кто снимает?
— Земекис.
— Это который снимал «Назад в будущее»?

— Да, он. Так что поздравляю, — с горькой усмешкой произнесла Роз, — мы были на правильном пути. Да только припоздали.
То был знаменитый «Форест Гамп». Фильм потряс меня и обрадовал одновременно: ничего схожего с нашей историей в нем не было. Но пронзительность и мощь образа были так захватывающи, что я понял: выше этого мы не сможем подняться, а на меньшее Тома не уговоришь теперь ни за какие миллионы.
Когда Том под овацию зала сжимал в руке золотую статуэтку «Оскара», я был так счастлив за него, что в ту

же минуту написал ему письмо.
Я не ждал ответа, просто посчитал своим долгом немедля присоединиться к тем, кто приветствовал Хэнкса в «Шрай-нерс аудиториум».
Каково же было мое удивление, когда ответ пришел. Том, оказывается, был тронут моим письмом, сказал, что помнит о нашей встрече, о просмотре «Лебедей» и надеется, что мы непременно будем работать вместе, и очень скоро.
Как я уже говорил, после «Фореста Гампа» я очень засомневался в том, что Том спустится до «Лебедей». Я думал так не потому, что история наша была слаба, а потому, что она была недостаточно яркая, недостаточно броская. Самокритичность парализовала меня, сковала инициативу. Я решил, что не буду посылать Хэнксу сценарий, чтобы, не дай Бог, не разочаровать его. Я считал, что важнее сохранить хорошие человеческие отношения, нежели перейти на деловые и потерять взаимную симпатию. Глупость, конечно, если вдуматься, но я так действительно считал. Да и к тому же, при всем различии характеров, Форест Гамп и наш Джо Уистлер были одного поля ягоды. Вряд ли обладатель «Оскара» захотел бы повторяться.
Я оказался прав: в фильме «Филадельфия» Том сыграл драматическую и совсем не чаплиновскую роль. Это был совершенно новый Том Хэнке. Прямая противоположность Форес-ту Гампу. Первоклассная актерская работа, настоящее перевоплощение. Ролью в «Филадельфии» Том добился второго «Оскара». Два «Оскара» подряд! Редчайший случай. До этого лишь великий Спенсер Трейси смог добиться подобного успеха. И снова в восторженном порыве я написал Тому. И сно-
ва получил ответ, такой же теплый и искренний, как и в первый раз.
Будь я посмелее да понаглее, наверное, смог бы воспользоваться моментом и завязать более дружеские отношения с Хэнксом. Но я слишком медлителен, слишком деликатен в подобных вопросах. Я всегда держу ногу на тормозе. Таков негативный аспект моей сдержанности.
Ну что ж, не будем витать в облаках и вернемся на землю.
Я хочу рассказать о том, как мы работали с Джоном Уэлпли.
Как правило, Джон приезжал к нам в Малибу. Он садился за компьютер, я же располагался за его спиной — так, чтобы видеть, что он пишет. На телевидении Джон прошел школу коллективного писания, где на одном шоу уживаются пять-семь, а то и больше авторов, так что наш дуэт был пустячным делом, настоящим отдохновением для Уэлпли.
Сначала мы строили каркас истории, определяли характеры и их развитие, придумывали связки и параллельные сюжетные линии и только потом принимались за диалог. Диалог — это конек Джона. Мне все еще трудно записывать живую речь. Иной раз я разыгрывал перед Уэлпли целые сцены, изображал то одного героя, то другого, и это приводило моего друга в полный восторг. Не умаляя моих режиссерских и прочих талантов, Джон всерьез считал, что актерское дарование дало бы мне больше денег.
— Возьми агента. Заработаешь большие деньги и поставишь на них фильм. Чем не выход из положения?
— У меня акцент, — объяснял я, — это во-первых. А во-вторых, я люблю командовать. — Я нарочно повысил голос: — Ты думаешь, почему я режиссер? А? Так что не мешай мне.
— Командуй, цар! — шутливо парировал Джон, не справившись с мягким знаком в слове «царь», и мы возвращались к работе.
Иногда мы работали у Джона.
Чтобы нам не мешал его пятилетний сын, Джон отправлял мальчика с няней на пляж, но тот рвался домой, и она не могла его удержать. Прямо с порога он бросался к отцу, осыпая песком и водорослями наш рабочий стол.
— Донован, пожалуйста, — робко останавливал сына
Джон. — Ты видишь, папа работает. Видишь, мы с дядей Родионом работаем. Пойди в свою комнату, поиграй.
— Н-не-е! — вывертывался из рук отца маленький Донован. Джон вставал из-за стола и нес брыкающегося мальчика в
детскую. Но Донован упорно возвращался к Джону на колени.
— Донован, пожалуйста, — Джон уносил Донована на балкон и обкладывал его стеной из любимых игрушек. Но едва Джон садился за компьютер, как мальчик снова был тут как тут.
В конце концов Джон сдавался. Извинившись передо мной, он садился на пол играть с сыном, а я уезжал домой.
Я давно уже обратил внимание на то, что в Америке очень церемонно обращаются со своими детьми. Родители не умеют отказывать им ни в чем и слишком часто водят их на прием к психоаналитику.
Вот пример.
Донован проснулся в страхе — ему приснился дракон. Ничего удивительного: мальчик насмотрелся драконов в мультфильмах. Но его отец в панике. Он немедленно отправляется к детскому психоаналитику.
— Вы в разводе с матерью Донована, не так ли? — говорит тот. — Так вот, ваш мальчик нуждается в серьезной терапии. Я рекомендую приводить его ко мне три раза в неделю. Если вам это не по карману, можно, конечно, ограничиться одним сеансом в неделю. Но я бы рекомендовал три раза.
Этот доктор берет 150 долларов в час.
Джон водит бедного Донована к психоаналитику вот уже четвертый год. Убежден, что жадность врача никогда не позволит ему признать, что Донован здоров. Изнеженность и избалованность мальчика видны

невооруженным глазом, но доктор хорошо промыл мозги Джону, и тот будет водить к нему сына до тех пор, пока не разорится.
Согласен, что нужно просвещать родителей, издавать теоретические работы по психоанализу, распростр Анять популярные книги-советы (по примеру доктора Спока), но это не снимает с родителей ответственности за психологическое здоровье детей. Излишнее увлечение психотерапией, на мой взгляд, сделало американское общество чересчур инфантильным и неприспособленным к трудностям жизни.
Я убежден, что роль психолога должен исполнять не чужой дядя, получающий за это деньги, а мать или (и) отец. Именно родители должны разговаривать со своими детьми, играть с ними, проводить свободное время. Словом, делать все то, что я не делал, оставив Аню и Машу на произвол судьбы.
Я скучал по ним безумно.
Правда, в последнее время я видел их чаще, но это не компенсировало недостаток общения в прошлые годы.
За время подготовки «гастролей» Стэнфорда я побывал в Москве несколько раз. Девочки очень выросли, очень похорошели. В них появилось что-то новое, незнакомое мне. Возможно, и я изменился. Говорят, появился акцент. Образ «того» папы сменился образом «этого».
Родные мои доченьки, приходило ли вам когда-нибудь в голову, что нас разделяет не только океан, но еще и время? Новый папа уже никогда не будет рассказывать вам сказки, не будет играть с вами в футбол или плавать на дельфине, как бывало раньше. Время ушло. И уходит — каждый день. Если раньше слово «папа» значило для вас полмира, то сейчас, в бурной подростковой жизни, папа — всего лишь клочок лоскутного одеяла, лишь мазок краски на разноцветной палитре.
Я ездил по городским больницам и брал девочек с собой. Притихшие, они ходили по палатам, приглядываясь к больным детям. Они видели оборотную сторону жизни и то и дело переспрашивали меня, тяжело ли больна вон та худенькая девочка и выживет ли тот спящий мальчик. Они сочувствовали бедным детям, речь их потеплела, лица смягчились. Но особенно трогательно было то, что на виду у врачей они прижимались ко мне, брали под руку, что-то нашептывали, хотели быть ко мне как можно ближе. Я чувствовал, что они неотъемлемая часть всего того, чему я отдал свое сердце.
В дни моего пребывания в Москве я видел Веру. Она ждала ребенка. Широкие балахоны, длинные свитера. Она выглядела точно так же, как в былые времена — в 1978 и в 1980 годах. Время не тронуло ее. Она больше походила на старшую сестру моих дочерей, нежели на их мать.
Свершилось! В сентябре 1995 года Фонд дружбы привез в Казань двадцать пять американских специалистов из Стэнфорда, среди которых были кардиологи, анестезиологи, кардиохирурги, реаниматоры, медсестры. За одиннадцать дней американские врачи продиагностиро-вали свыше трехсот больных детей, произвели тридцать бесплатных операций на сердце, обучили новой технологии русских врачей.
Фонд дружбы подарил казанской больнице № 6 крайне необходимую аппаратуру и медикаменты — на сумму в два с половиной миллиона долларов.
Значение этой гуманитарной акции трудно переоценить, но я режиссер, и мне, помимо результата, всегда интересен процесс.
Вот несколько записей из дневника.
Рита Ёкояма (жена Таро) была так тронута приемом россиян, что плакала беспрестанно. особенно слушая тосты.
— вот летишь на самолете, — поднимает бокал чиновник. — Десять, двадцать часов летишь. и думаешь, как огромна наша земля. а сейчас я сижу с моими американскими друзьями, пью водочку и думаю — нет, Земля маленькая, раз я могу дотянуться и запросто пожать руку моему далекому другу. За дружбу, друзья!
Рита вытирает слезу.
— Женщины — украшение жизни! — подхватывает другой чиновник. — Но когда за столом такие женщины, как Рита Ёкояма, жизнь — настоящий подарок!
Слезы льются из глаз Риты пуще прежнего. Чувствительность Риты заразительна. Я поднимаю тост за Наташу.
— Я не просто люблю мою жену, — говорю я и вижу, что лицо Риты совершенно мокро от слез. Наташа тоже всхлипывает. — Любить можно и дуру. Я не только люблю Наташу, я... — я вдруг останавливаюсь, потому что у меня у самого перехватило горло, — Я ее ува... Уважаю.
Я не был пьян. Но, подобно рите, готов был разрыдаться. Странное чувство. Театральные актеры знают, как заразителен бывает неожиданный смех зала или смешливый партнер. Чем больше ты сопротивляешься смеху, тем вернее он тебя настигает. То же самое происходит в трогательные, чувствительные моменты.
Во время операции переводчица закатывает глаза и падает на пол без сознания. Наташе приходится переводить врачам в течение всей операции. До этого дня она не видела ни одного хирургического инструмента. Операция тем не менее проходит успешно.
Застолье доконало доктора Тэсслера. Он объяснял свою слабость стрессом и тем, что вынужден был отказать четырнадцатилетней девушке в операции. его рвало и слабило. всю ночь уважаемого доктора откачивали, отмывали, отпаивали его коллеги. На следующий день Ёкояма с Тэсслером не разговаривал.
Утром мать больного ребенка вручила Наташе огромную живую рыбину.

— Это муж ночью поймал. Для вас!
Наташа стояла посреди больничного коридора и держала скользкую рыбу за хвост. Мимо нее, косясь и принюхиваясь, проходили американские врачи.
— сСсегодняшнего дня в отеле отключают горячую воду.
— Почему? — спрашивают американцы.
— Проверяют трубы.
— Авария?
— Нет, просто проверяют. Во всем городе воды не будет.
— Как долго?
— Целый месяц.

Наташа берет на кухне ведро горячей воды и относит чете Ёкояма. Таро, смеясь, сливает воду на голову своей жене, согнувшейся над ванной в три погибели. супруги привыкли к иным условиям: у знаменитого доктора вилла в Беверли-Хиллз за 14 млн долларов и позолоченные унитазы в шести туалетах.
Вместе с врачами из Стэнфорда вылетела съемочная группа документального фильма «Вопрос сердца». Весь перелет из Сан-Франциско в Москву, длившийся четырнадцать часов, кинооператор Дэвид Айзенбис не сомкнул глаз. Улыбка не сходила с его лица. Он шутил, рассказывал анекдоты, ходил по салону взад-вперёд, не давал покоя другим. Прилетели в Москву. Паспортный контроль, таможенные формальности — суровая процедура. Но Дэвид, как ни в чем не бывало, продолжал радоваться. Пересели в самолет, вылетающий чартерным рейсом в Казань, но не вылетели, а стали загружать в самолет медицинское оборудование и загружали целых девять часов. Все падали от усталости. Один лишь Дэвид Айзенбис не сдавался.
— Чему вы так радуетесь, Дэвид? — спросил доктор Райтс, главный кардиохирург клиники стэнфордского университета.
— Как же не радоваться? — ответил Дэвид. — Скоро мы прибудем на место!
Глядя на него, я подумал, что иметь такого оптимиста в группе — большая удача.
— Я не могу поверить, что еще немного, еще каких-нибудь два-три часа — и я ступлю на российскую землю! — добавил счастливый Дэвид Айзенбис.
Лишь на вторые — бессонные — сутки мы прибыли в Казань.
Встреча в аэропорту, цветы, речи. Садимся в автобусы. И вот наконец долгожданный первый шаг, тот самый, о котором мечтал Дэвид.
Дэвид спустил ногу со ступеньки автобуса и... сломал лодыжку. Вот и все его путешествие! Сорок восемь часов беспрерывного возбуждения — и такой конец! Из всей России Дэвид Айзенбис только и видел, что тьму в иллюминаторах и далекие огоньки казани. В тот же день мы вынуждены были отправить его обратно в Сан-Франциско. Сожалея о случившемся и сочувствуя бедному Дэвиду, мы провожали его с грустными физиономиями. он же, напротив, улыбался — на этот раз остроумию судьбы, подставившей ему подножку в самый ответственный момент. у судьбы определенно есть чувство юмора.
Нищий сидит, понуро свесив голову. На табличке написано: «Помогите больному, которому срочно нужна операция. Нужны деньги на операцию — подайте бедному человеку». Американские врачи обступают нищего и живо интересуются, какая именно операция ему нужна, что за болезнь, где он живет и т. Д. Вопросы, вопросы, но денег никаких. Нищий равнодушно отворачивается от назойливых чужестранцев.
Во время операции русские врачи обсуждают новейший, последнего слова техники аппарат искусственного кровообращения, который мы привезли с собой. Наташа в операционном халате стоит рядом и невольно слышит их разговор. Ребята принимают ее за американку и говорят в ее присутствии не стесняясь.
— Втирают очки эти американцы! — говорят они. — Смотри, смотри — справа, видишь? поналепили индикаторов. у нас дешевле, но есть все, что надо. а тут огоньки мигают, все эти мониторы-хуеторы, понацепляли украшений, как на елку! Набивают цену! я бы выкинул половину этой фигни.
Наташа не выдерживает и говорит на чистом русском языке:
— Мы привезли этот аппарат для вас!
Русские в шоке.
— Мы оставляем аппарат вам. в подарок!
Пауза.
— Понимаете? Мы его дарим! Он ваш!
Наконец русские оживают.
— Да? Ух ты!
— Здорово!
— Вот спасибо!
— А мы тут смотрим — такого навертели американцы! Ну, молодцы! Космический корабль, а не аппарат искусственного кровообращения. Наш уже старенький, на ладан дышит. Половины того, что здесь, у нас вообще нет.
— а вот там справа, что это?
— Да-да! А для чего вон то? Наташа прерывает этот поток:
— я не знаю, я не специалист. такой-то все вам объяснит. Еще долго молодые врачи шепчутся, пожирая

глазами драгоценный подарок.
Завтрак в казанском санатории потряс американцев своим изобилием. Вот наш утренний рацион: сосиски с вермишелью, мясные беляши, котлеты с гарниром, куриные ножки, ветчина, колбасы, сыр, яичница с беконом, антрекоты, гречневая, пшенная и рисовая каши, творог со сметаной, овощи, фрукты, оладьи с вареньем, блины с мясом и с творогом, соки, минеральная вода, чай, кофе, молоко, кефир, йогурт, конфеты, булки, пирожки. все это — в один раз, на одном столе.
если принять во внимание, что американцы завтракают легко, то казанский завтрак останется в их памяти навсегда.
Когда я спросил, зачем такое изобилие в шесть утра, мне резонно ответили: «Врачи уходят на весь день — вот мы и выдаем им суточную норму, чтобы работали в полную силу!»
Однажды случилось невероятное: во время операции отказал новейший респиратор, который мы привезли. Возможно, сказалась разница в напряжении или что-то еще. Пришлось взять на вооружение русский респиратор двадцатилетней давности. Забавно: русские врачи обучали американцев, как пользоваться старинной машиной. ребе-нок был спасен.
Доктор Джон Коулсон сидит на автобусной остановке. Откуда-то появляется пожилая женщина, дает ему розу и удаляется.
из разговора американцев.
— Вначале я страшно скучала по дому, как будто я на другой планете. Но потом потекли дни, рутина: госпиталь, санаторий, госпиталь, санаторий. Я о доме и думать перестала. Кстати, какое сегодня число?
— Четырнадцатое... мне кажется.
— Нет, я думаю, тринадцатое.
— погоди, мы вылетели в воскресенье, так?
— Да.
— Значит, понедельник было восьмое, вторник девятое... Кстати, какой сегодня день недели?
— Н-н-не знаю...
Женщины смеются. Одна из них ложится на больничный диван, другая устраивается в глубоком кресле, и обе вмиг затихают. минута отдыха. Звенит телефон. Обе вскакивают и бегут в реанимационную. Некоторые врачи предпочитают спать в больнице, чтобы держать ситуацию под контролем-
— Наши впечатления о поездке невозможно выразить словами, это, знаете, как ветераны вьетнамской войны встречаются и вспоминают былые дни. со стороны ничего не поймешь. нужен общий опыт. Совместный опыт — это нечто!
Говорит американская медсестра:
— Вначале они (русские реанимационные медсестры) стояли в сторонке и наблюдали, как мы работаем. потом осмелели и стали подступать к больным детям все ближе и ближе. а вчера они просто отодвинули меня в сторону — хватит, насмотрелись! — и стали сами управляться с больным ребенком. быстро освоились. умные девочки.
Директор санатория предложил гостям попариться в сауне. Заказал массажиста. Массажист — молодой парнишка, лелеял давнюю
Мечту побывать в Америке. Он не взял с врачей ни копейки, но намял их от души — так, что на следующий день они все охали и ахали, показывая друг другу синяки и кровоподтеки.
Выходной день. Прогулка по Волге на небольшом речном пароходе. Оглядываюсь, Наташи нет. Только что стояла рядом — и нет. Ищу на палубе, в трюме, на капитанском мостике. Не выпала же она за борт? Через час появляется — дрожит от страха.
Оказывается, она пошла в туалет, прикрыла за собой железную дверь — и все: дверь заклинило. Наташа толкалась, орала, пыталась пролезть в иллюминатор. безуспешно. зная о ее клаустрофобии, я легко могу себе представить, что с ней творилось.
Когда она делилась со мной своим туалетным приключением, я невольно улыбнулся.
— Я могла там умереть, а ты смеешься.
— В конце концов мы бы тебя нашли.
— Не нашли бы. А нашли — не открыли бы. Дверь в сортир я закрыла изнутри, а там еще другая дверь. И все железное, представляешь?
Вернемся к кино.
На этом фронте без перемен: все мои «великолепные» сценарии скучно легли на полку. «20-й век Фокс» как ждал, так и ждет удобного момента, чтобы запустить в производство фильм с Джессикой Ланг, но она к тому моменту наверняка уже станет бабушкой. «Лебеди» и «Рулетка» еще передвигались по Голливуду, но очень вяло. «Небольшой дождик в четверг» и «Психушка» примерзли к полке, бездыханные.
Когда твой сценарий не покупают, у тебя есть несколько путей поправить положение. Первый — сменить агента. Второй — переписать сценарий с учетом тех замечаний, которые высказывались. Третий путь — начать писать что-то новое. Я остановился на последнем.
У меня появился новый соавтор — Эрик Ли Бауэре, талантливый молодой автор, с которым мы написали сценарий триллера под названием «Кора».
Я очень люблю сюжет «Коры». Мысленно вижу фильм. Но история Коры Берн — кинозвезды, которая из причуды живет в натурной декорации, оставшейся после съемок, оказалась слишком необычна для большой

студии. Значит, снова промах? Сунуть в дальний ящик стола и забыть? Нет, я не согласен! Надо что-то предпринять! Но что? Кто даст деньги на «Кору»?

Москва! Дорогой моему сердцу город! Как много нового, незнакомого, иностранного появилось в твоем древнем лике, точнб кто-то насильно надел на тебя маскарадную маску. Город озарился рекламой: красные флаги, некогда пестревшие на сером небе, уступили место ковбою с сигаретой во рту, курящему верблюду и бутылке виски.

Прежде чем рассказать о поисках финансирования для «Коры», хочу поделиться впечатлениями о новой, капиталистической Москве.

Мы гуляли по Новому Арбату с нашим американским приятелем Джорджем Бигелоу. Джордж снимал на видео московских прохожих. Вдруг я заметил, что он держит на прицеле двух молодых парней, вышедших из казино и уговаривающих проститутку. Девица артачилась. Парни мрачного мафиозного типа — в длинных кожаных пальто, лица такие озлобленные, что девице, видимо, страшно было уединяться с ними.

— Ладно, две тысячи! — Парень цепко держал проститутку за ворот шубы.

— Я же сказала, я ухожу! — пыталась она вырваться.

— Не зли меня, паскуда, а то ноги выдерну! Дам три! За двоих! Час — и ты свободна, блядь!

— Мне надо уйти!

Джордж, не понимая, что ситуация напряженная, стал приближаться к разъяренным парням. Я дернул его за руку, но было поздно: парни его заметили. Ну, все, подумал я, влипли в историю. Парни отпустили девицу и, засунув руки в глубокие карманы (за оружием?), медленно двинулись на нас.

— Они нас убьют, — прошептала Наташа по-английски. — Бежим отсюда! Джордж, ты слышишь?

— Что-что? — улыбаясь, спросил Джордж, продолжая снимать.

Парни, грубо оттолкнув Джорджа, подошли ко мне. В нос ударило перегаром. Глухая, темная ненависть. Ближний ко мне парень стал медленно вынимать руку из кармана. Я как завороженный следил за его угрожающим движением, не сомневаясь, что вынимают «Макарова».

— Что вы хотите? — спросила Наташа, влезая между мной и парнем.

Парень вынул из глубоких недр кармана руку и протянул мне. Голую, безоружную руку.

— Дай пять! — мрачно сказал он. Я дал.

— Ты мой любимый артист! — сказал он. — Нету лучше! В ответ я промямлил что-то вроде «ну что вы, что вы...». Парню не понравилось.

— Не надо скромничать! — резко сказал он. — Я знаю, что говорю!

Не отпуская моей руки, парень повернулся к приятелю:

— Узнал его?

Приятель кивнул. Тогда парень повернулся к Наташе и Джорджу и спросил:

— Это вы увезли его в Америку?

— Он сам уехал, — сказала Наташа.

— Сам? — Парень сплюнул на асфальт и со злостью добавил: — В России его любят, бля! Понимаешь ты или нет?

— Там его тоже любят, — вставила Наташа.

— Там? — переспросил парень. — Не верю!

Джордж Бигелоу переводил взгляд с одного на другого, не понимая, о чем мы толкуем. И вдруг произошло неожиданное.

Парень склонился к моей руке.

— Будь здоров, Нахапетов! — сказал он и поцеловал мою руку.

Я дернул руку, но было поздно: парень повернулся и пошел прочь. Его приятель последовал за ним. Наташа начала смеяться.

— Что такое? Кто эти люди? — недоумевал Джордж.

— Ты видел? Этот тип поцеловал Родиону руку, как крестному отцу! — Наташа, смеясь, обняла меня и полуиронично, полупочтительно добавила: — Родион Корлеоне — любимец русской мафии! Попросил бы у него денег на фильм.

— Не говори глупости! — сказал я.

В России бурно развивался класс богачей (не рублевых, разумеется). Карманы криминалов оттопыривались, набитые зелеными банкнотами. Но кругом — разборки, перестрелки, кровь. Не просить же, в самом деле, денег у этой уголовной братии!

— А почему бы и нет? — донимала Наташа. Она была измучена голливудскими иллюзиями, бесконечными ожиданиями. А тут — конкретные люди, реальные деньги.

— Пожалуйста, Наташа, — втолковывал я ей, — не дави. Я не собираюсь работать с бандитами.

— Почему?

— Да потому. Ты думаешь, им нужна старуха Кора? Им подавай голых красоток.

— Ну, не знаю. Но надо что-то делать. Мы так можем всю жизнь сидеть и ждать. А здесь тебя любят...

Мы пошли в «Пекин» на площади Маяковского в надежде поесть тофу.

Огромный зал был набит до отказа. Метрдотель ресторана узнал меня и предложил столик у сцены.

— Тайфу? — недовольно переспросил официант, — Это барахло. Зачем вам тайфу? Какая-то тряпка из

сои. У нас есть чудесные табака. Шашлык по-карски...
Наташе все эти блюда были неизвестны.
— Нет, — сказала она. — Мы хотим тофу. Это китайский ресторан?
— Китайский, — ответил официант.
— Мы хотим тофу.
Не успел официант отойти, как заиграла музыка и на сцену выскочили полуголые девушки. Они закружились в танце вокруг нашего стола.
— Это правда китайский ресторан? — спросила меня Наташа. — Или это «Мулен Руж»? Поесть спокойно не дают.
— Хм, я не знал, что в «Пекине» есть шоу.
— Сейчас еще стриптиз начнется, — возмущалась жена. — Пойдем отсюда. Или тебе нравится? Я вижу, ты уже не можешь глаз оторвать.
Мы ушли, не дождавшись тофу.
Москва стала другая. Наташа вспомнила свой первый визит в Москву в 1971 году. Она была тогда с мамой и из всей двухнедельной туристической поездки ей запомнились лишь две вещи: творог со сметаной в буфете гостиницы и — шпионы в кустах. Нет, не пионы, я не оговорился, а именно шпионы. Наташа была маленькая, но прекрасно помнит, как из-за кустов за ними подглядывали дяди в бежевых плащах. Мама назвала их шпионами.
Сейчас шпионов нет. Ни слежки, ни подозрительности.
Делай что душе угодно. Пиши, снимай, пой. Полная свобода. Но почему тогда нет кино? Я имею в виду кино в былом его масштабе и качестве. Грустно сознавать, но на фестиваль американского эротического фильма в Москве стояли километровые очереди, в то время как на отечественные фильмы народ идет после долгих уговоров. Знаю, что это временная ситуация и она скоро выправится, но прежнего зрителя мы потеряли, а новый еще не созрел. Молодежь жадно поглощает культуру Запада. Доверия к родительскому вкусу, поворачивающему детей к России, нет, авторитет «стариков» подорван. Дети смотрят на старших как на путаных дураков, которые что-то строили, строили, а потом взялись ломать.
Другой московский ресторан.
Легкий развлекательный аукцион. Прежде чем предложить посетителям дорогую красотку, для раскачки разыгрывается роза. Начинается с десяти долларов, доходит до тысячи! Интересно, знают ли участники аукциона, что в больнице, за углом ресторана, умирают дети — без антибиотиков?
— Господин со второго стола — эта роза ваша! Вы настоящий ценитель прекрасного! Красота должна принадлежать тому, кто может дать за нее настоящую цену.
Господину, заплатившему одну тысячу долларов, вручают цветок. Он хохочет и отмахивается: на кой черт ему эта роза?
Его взгляд устремлен на сцену — там сейчас выставят на аукцион юную красавицу. Вот это настоящий товар!
С одной стороны, сумасшедшие деньги, с другой — сумасшедшие «ценители». Новое время, новые люди. Незнакомо и чуждо, хоть и по-русски широко.
В эти дни я познакомился с неким Андреем Шамаевым, который заинтересовался «Корой» и согласился ее финансировать. Началась новая история, соответствующая новому времени, — увлекательная и разрушительная одновременно.
— Я несколько лет работал провайдером в американском банке — по заданию... — Андрей понизил голос, — по заданию, ну... понимаешь? А сейчас я финансовый директор фирмы такой-то...
Он выглядел солидно, понимал, о чем говорит, и обладал той покладистостью и сговорчивостью, которая в одинаковой степени могла свидетельствовать как о его интеллигентности,
так и о профессиональной кагэбистской школе поведения — за рубежом.
Он обещал финансировать «Кору». Подписали мы с ним контракты, поставили печати и... Началось мучительное вытягивание жил. Все бы ничего, если бы мы не начали уже подготовительный период и не потратились. Мы слишком верили ему, видно, хотели верить («Деньги вышли Свифтом! Со дня на день получите! Не пришли? Выясняю. Опять не пришли? Но ведь я отправил!»).
Чтобы разобраться, приходится лететь в Москву.
Андрей, как всегда, полон оптимизма, но я, слушая его путаные объяснения, все больше и больше сникал. Мне стало ясно, что финансовый директор еще больший мечтатель, чем я. Он слепо рассчитывал на чудо, надеясь, что в результате его банковских операций в осадок выпадет несколько шальных миллионов.
— Андрей, ты знаешь, что я потратил сто семьдесят тысяч. Уже потратил. Если в результате мы все же «Кору» снимем, тогда еще ладно. Но если продолжения не будет, деньги потеряны, выброшены на ветер. Мои личные деньги, понимаешь?
— Понимаю.
— Напоминаю, по контракту ты обязан эти деньги вернуть.
— Я понимаю. Я уже почти добил. Ты когда уезжаешь?
— Через неделю, а что?
— Я постараюсь, чтобы ты уехал с банковским распоряжением. В неделю я постараюсь уложиться. Я не смогу выписать сразу все одиннадцать, но пять — это реально (это о миллионах долларов).

Конечно, никакого банковского распоряжения я не дождался. И долг в сто семьдесят тысяч так и остался непогашенным. Феномен Шамаева остался загадкой.
С тех пор прошло более трех лет. Ничего не изменилось. И не изменится. Даже если и через десять лет я позвоню Андрею, уверен, первые его слова будут: «Ну, все, добил! Можем начинать».
До сих пор не знаю, считать ли Шамаева проходимцем, водившим меня за нос, или же неудачником, которому катастрофически не везет.
В любом случае опыт сотрудничества с новой Россией вышел нам боком. Мы потеряли не только деньги, но и доверие к русскому бизнесу.
Возможно, таков русский деловой стиль — соглашаться на любое предложение о сотрудничестве. Какое-нибудь да выгорит!
Андрей Шамаев так и не сказал нам «нет». Мы сами догадались. До нас дошло наконец, что эта дорога никуда не ведет. Я был лишь расстроен, но Наташа — убита, раздавлена, уничтожена. Я переживал за Наташу и чувствовал себя виноватым во всем — ведь это я уверял ее, что Андрей не обманет, что ему можно верить. Ему можно было верить, да. Но — не следовало.
Я видел, как страдала Наташа, и сердце мое разрывалось от стыда: семья тонула, а я не знал, как ее спасти. Легче было с больными детьми, всего семь часов операции могли переключить все с минуса на плюс. Но что делать с семьей, безнадежно и неумолимо соскальзывающей вниз? Наташа искала работу, но не находила ее, я искал деньги для фильма — и опростоволосился. Крах, полный крах!
В этот тяжелый период к нам прилетела Маша. Погостить.
Она заполнила собою Пространство, некогда пустое: Аэропорт, шоссе и двор, И даже сетчатый забор Раздвинул перед ней границы, И наши пасмурные лица Разгладились. В согласьи с ней Запели птицы веселей.
Она заполнила собою Ночной простор над головою При звездном небе, и во сне, И в освеженном новом дне. Все изменилось. В мой дневник Горячий смех ее проник, И всю страницу под рукою Она заполнила собою.
Маша — типичная заводила. Неуемная, авантюрная, она всегда в движении. И это пугает.
Когда-то во дворе на Тишинке Аня качалась на качелях, а Маша носилась с мальчишками поблизости. Бац! Качели ударили ее по голове, и она рухнула, потеряв сознание. Все подумали, что ее убило. Через минуту Маша очнулась, потерла ушибленное место, поойкала — и давай снова бегать.
Таких сотрясений, падений и ушибов у Маши не счесть.
Катя была очень рада приезду энергичной, инициативной и бесстрашной сводной сестры. Под шумок, который создавала Маша, Катя наконец брала свое. До появления Маши жизнь десятилетней Кати протекала однообразно и скучно — без ящериц и мышек. Но с приездом Маши в жизнь Кати ворвался свежий ветер перемен. Не скажу, чтобы Катя так уж. любила ящериц или змей, но ей позволено было (за компанию с Машей) то, что не позволялось прежде, и она с удовольствием переключилась на зверей и насекомых — взамен музыкальных уроков и чтения детских книжек.
Эмоции в нашем доме били через край. То крики, то смех, то слезы. Однажды утром Маша обнаружила, что ее мышка умерла. Маша не могла поверить своим глазам. Она нежно зажала трупик между ладошками, качала, встряхивала, дула на бездыханное тельце, но когда поняла, что ничего уже сделать нельзя, разразилась такими рыданиями, что я не знал, как ее утешить. Вскоре и Катина мышь заболела и сдохла. Катя надула губы, стараясь подражать расстроенной Маше, но это было больше для виду. Пришлось покупать им новых мышат.
Когда вышел на экраны мультфильм «Лев — царь зверей», у Маши появилась навязчивая идея — создать танец под музыку фильма. Эта музыка измучила меня: она звучала в доме, на улице, на пляже, днем, ночью. Девочки всё никак не могли наслушаться ею. Они танцевали упоенно, без устали.
— Папа! — обиженным голосом вдруг заявила Маша. — Почему ты меня не отдал в балетную школу, а Аню отдал?
— Тебе нравится танцевать?
— Безумно!
— Мы уговаривали тебя, но ты не хотела.
— Надо было настоять!
Кто знает, может, и надо было. Да только страстью маленькой Машульки было рисование, а не танец. Вообще-то, вопрос заключался не только в том, кто и что хочет. Родители стараются распознать скрытые таланты у своих детей как можно раньше, чтобы направлять их интересы в нужном направлении. Не думаю, что мы с Верой ошиблись в выборе профессий для наших девочек, но колебаний и у них, и у нас еще будет много.
Я сажаю Машу за лист ватмана и говорю:
— Машулька, хватит бегать, угомонись. Месяц прошел, а ты еще ничего не нарисовала.
— Папа, я не знаю, что рисовать. Вечное препирательство.
— Что видишь, то и рисуй. Вот банановое дерево. Смотри, какой рисунок у листа. А вот водопад. Попробуй передать теченье воды.
Маша вздыхает и начинает рисовать, но не водопад, а своего любимца Флаша, прикорнувшего у дерева. Как все-таки великолепно она схватывает форму и передает характер! Увлекшись, Маша переходит на других собак, благо у нас их четыре. Я любуюсь ее набросками и вижу, что она тоже довольна. Но вот до нее

доносятся звуки пианино из соседней комнаты — это Катя скучает одна, Маша тут же отбрасывает листы и выбегает за дверь. В следующее мгновенье я вижу девочек, убегающих в дальний конец двора, в бамбуковые заросли. Следом за ними несутся собаки.
Каникулы были славные.
Маше так понравилось у нас, что она решила остаться, чтобы учиться в американской школе. Мы были счастливы такому повороту и отдали ее в знаменитую (по телесериалу) школу «Беверли-Хиллз 90210». Там она успешно проучилась два года.
Я сказал «успешно», хотя не уверен, считать успешными ее отметки или же реальные знания.
Столкнувшись с американской системой школьного образования, я пришел к выводу, что наша советская муштра имела больше смысла, нежели здешняя разлюли малина. Оказывается, в Америке ученик сам выбирает, какие предметы ему подходят, никто ни на чем не настаивает, полная демократия, свобода и — распущенность. Как объяснила Ната-
ша, именно по этой причине дети берутся за ум лишь в последний год обучения. А потом, уже в колледже, нагоняют отставание. Так вот, наша резвая Маша в первый год выбрала два английских урока, два урока рисования, футбол и историю. И больше ничего. Легко и просто. Понятно, оценки по этим предметам у нее были преотличные, но движения вперед — никакого.
— Почему у тебя нет геометрии, литературы или еще чего-нибудь — поинтересней, чем просто... футбол гонять? —-спросил я.
— Папа, — резонно ответила Маша. — Ну подумай сам, как я могу заниматься геометрией с моим английским?
Да, конечно, трудновато. Но тут примешивалось и другое: Маша всегда была охоча не до того, что трудно, а что весело и живо. Таков у нее характер. И все же на следующий год, когда десятый класс подошел к концу, она всерьез задумалась, оставаться ли в популярной школе и дальше бить баклуши или же поднатужиться и завершить обучение в Москве. Маша решила вернуться в Москву. Как нам ни грустно было расставаться, но все же я вынужден был согласиться с твердым и, думаю, разумным решением дочери. Школа разгильдяйства 90210 ничего Маше не дала.
С отъездом Маши наша жизнь вернулась в прежнее русло. Катя тут же избавилась от ящериц, признавшись, что они ей надоели. Дом притих. Ни танцев, ни крика, ни смеха. Мы снова чинно-благородно стали ходить в кино, читать книги, смотреть телевизор и ждать чуда.
Позвонил старый Наташин приятель Дик Робертсон, президент студии «Уорнер Бразерс» (ТВ).
— Родион, — обратился он ко мне, — хочешь встретиться с Горбачевым?
— Конечно, хочу. А где он? В Лос-Анджелесе?
— Нет, он прилетает только в конце следующего месяца. Получать какую-то премию, награду, — не знаю. Соберется городская общественность. Горбачев — это интересно! Я уже заказал стол (как выяснилось, за 10 000 долларов) и приглашаю тебя. Будешь сидеть за столом «Уорнер Бразерс». Идет?
— Конечно, идет!.
Конечно! Ведь не каждый день удается увидеть живого Горбачева. Он — человек-легенда. Как бы я ни относился к Михаилу Сергеевичу сегодня, ореол президента Советского Союза, лидера великой державы, все еще имел магическую, притягательную силу.
Михаила Сергеевича и Раису Максимовну американцы приветствовали стоя.
Зал, в котором происходила встреча, был празднично украшен. Десятки столов, сервированных к обеду, располагались таким образом, чтобы отовсюду была видна сцена с трибуной.
Стол студии «Уорнер Бразерс» располагался рядом со сценой, так что я мог видеть Горбачева и его супругу совсем близко и аплодировал изо всех сил.
Раиса Максимовна выглядела прекрасно, как всегда, и ' Михаил Сергеевич нисколько не изменился, как будто он все еще был в силе и власти. Важные московские гости занимали места на сцене с таким достоинством, что мне на мгновенье почудилось, что я не в лос-анджелесском отеле, а в Кремлевском Дворце съездов, где Первый (или Генеральный, не помню) секретарь КПСС будет отчитываться о проделанной за пять лет работе.
Михаилу Сергеевичу вручили какую-то статуэтку за выдающиеся заслуги в области экологии. Поздравлял президент организации «Зеленый крест», членом совета директоров которой являлся и Горбачев. Затем выступил он сам.
Не буду долго останавливаться на его речи. То были разумные, но очень общие слова о необходимости сохрАнять нашу планету в чистоте. Оберегать от загрязнения.
Михаил Сергеевич несколько раз посмотрел в мою сторону, но, думаю, не узнал. Может, «не навел фокус» или был ослеплен светом из зала или, что вполне вероятно, он вовсе не знал, кто я такой. Мне, однако, показалось, что Раиса Максимовна задержала на мне взгляд, явно припоминая знакомое лицо.
Как только торжественная часть закончилась, я направился к Горбачеву, успев заметить, как Раиса Максимовна шепнула мужу: «Смотри, кто идет».
Горбачев, широко улыбнувшись, протянул мне руку:
— Родион? А вы что здесь делаете?
— Пришел вас повидать, послушать!
Раиса Максимовна подошла тоже.

— Миша, помнишь его в «Валентине»?
— Да, конечно. Я давно его заметил, только мне и в голову не приходило... Хороший фильм. Я помню, помню. «Валентина»... По Вампилову, да?
Подойдя к сидевшему на сцене Горбачеву, я нарушил протокол. Публика из зала решила, что им тоже надо быть посмелее, и повалила к сцене. В следующее мгновенье я оказался оттиснутым толпою.
— Ваша дочь еще ходит в балетное? — громко, чтобы быть услышанной, спросила Раиса Максимовна (я знал, что внучка Горбачева тоже учится в балетном).
— Да, — так же громко ответил я, чувствуя, как возбужденная публика отодвигает меня все дальше и дальше. — А как ваша внучка? Она, по-моему, на год младше нашей Ани..
— Внучка делает успехи, — Горбачев на секунду оторвался от автографов и подключился к нашему разговору. — Очень любит балет, очень любит...
Последние слова я разобрал лишь по движению губ. Гвалт стоял невообразимый.
Горбачев придвинулся к микрофону и сказал:
— Господа! Я рад был бы провести с вами больше времени, но мне надо уезжать. Еще раз благодарю вас за столь радушный прием и желаю вам всего хорошего. До свидания!
— Михаил Сергеевич, — остановил я Горбачева на выходе, — мне так хотелось бы с вами поговорить.
Горбачев неожиданно перешел на «ты»:
— Ты собираешься в Москву? Или здесь — бесповоротно?
— Нет, я в Москве бываю очень часто. У меня есть фонд, мы помогаем детям с пороками сердца.
— Ну так позвони и заезжай на чашку чая. Вообще, это очень грустно, что ты уехал.
— У меня здесь жена. Но я российский гражданин.
— О! Я еще помню вас в «Рабе любви», — вспомнила Раиса Максимовна и протянула горбачевскую визитную карточку. — Непременно позвоните.
— Конечно! С радостью! — воскликнул я.
— Да, да! — Михаил Сергеевич тоже вспомнил. — Как же, «Романс о влюбленных»!
— Нет, Миша, — поправила Горбачева Раиса Максимовна. — Родион был в «Рабе любви». «Романс» — это другой фильм.
— Да, конечно! — согласился Горбачев. — Звони и заходи. Горбачев, окруженный свитой, удалился, а я вернулся к
своему столу — рассказать Дику Робертсону, какой Горбачев хороший, простой и легкий в общении человек. Все сидевшие за столом студии «Уорнер Бразерс» повернули головы в мою сторону и слушали затаив дыхание.
Когда спустя несколько дней Уэлпли узнал о моей встрече С Горбачевым, он очень воспрял духом.
— А Горбачев видел «Не стреляйте в белых лебедей»? — спросил он.
— Не знаю, я не спрашивал.
— Если он видел... Представляешь, получить от Горбачева записку, что ему твой фильм нравится! А мы потом покажем эту записку, скажем, Тернеру. Ты понимаешь — с нами сразу же начнут разговоривать как с людьми.
— Джон, я не привык пользоваться такими приемами.
— А что в этом предосудительного? Мы должны продвинуть вперед наш сценарий. Американская версия фильма, который нравится Горбачеву. В Америке это сработает, поверь!
В следующий мой приезд в Москву я первым делом позвонил Горбачеву. Мы договорились о встрече в его фонде, у метро «Аэропорт». Наша застольная беседа, начавшаяся без пятнадцати девять вечера и продлившаяся сорок пять минут (крепкий чай, бутерброды с копченостями, печенье и конфеты), еще раз убедила меня в том, что Горбачев активен, мудр и бодр духом. В те дни уже началась подготовка к выборам, и Горбачев был настроен соответственно. Он помнил моих «Лебедей» и согласился черкнуть пару строчек, поддерживающих идею. Горбачев находил это вполне естественным, поскольку в фильме речь шла о защите окружающей среды, а это прямая задача Горбачева. Разговор был очень непринужденный, мне показалось даже, что Горбачев, беседуя, со мной, отдыхал после тяжелого трудового дня. Мы поговорили об общих знакомых, о его внучке, о новом времени (критикуя, Горбачев ни разу не назвал имя Ельцина), много толковали об искусстве.
Закончив беседу, мы обнялись как друзья.
Горбачев обещал в ближайшее время послать записку о «Лебедях» Тэду Тернеру, которого лично знал.
По какой-то причине записка Горбачева до Тернера не дошла.
Я позвонил помощнику Михаила Сергеевича, прося послать записку вторично, однако помощник уверил, что все было сделано своевременно, посылать второй раз нет надобности. Что случилось на самом деле, мы так и не узнали. На наше письмо Тернер любезно ответил, что от дорогого друга Горбачева он ничего пока не получил, но рекомендует тем не менее, послать сценарий обычным порядком в его компанию.
Мы послали и через три месяца получили формальный ответ, что сценарий хороший, но никому к черту не нужен (шучу, конечно, «черта» в ответе не было).
Отношение мое к Горбачеву от недоразумения с Тернером не изменилось. Когда я узнал, что во время президентских выборов Горбачеву удалось собрать всего один процент голосов, я искренне огорчился. И удивился тому, как быстро летит время, как быстро и как далеко отбрасываются бывшие политические

деятели. Даже выдающиеся.
Я уже говорил, что Лос-Анджелес — это уникальный город, в котором все семь миллионов жителей так или иначе связаны с кино, подобно тому как в Лас-Вегасе все замешано на игорном бизнесе.
Лос-Анджелес — столица кино. Едва ребенок родится, родители тут же фотографируют его для актерской карточки, подыскивают голливудского агента и принимаются ждать. Ведь если не в игровом кино, так хотя бы в рекламных фильмах может понадобиться неповторимый писк их младенца.
Я не встречал в Лос-Анджелесе ни одной семьи, в которой не мечтали бы сняться в кино, будь то престарелый дед, красивая невестка, уродливый брат или больной сын, даже собака с кошкой имеют шанс.
Конечно, в Лос-Анджелесе вы найдете и русских эмигрантов, и перебежчиков мексиканской границы, и корейцев, и китайцев, и арабов, и всех прочих, которым нет дела до кино, но в процентном отношении их не так уж много. Наверное, поэтому — в каком бы учреждении я ни был, каких бы людей ни встречал: строителей, полицейских, таксистов или врачей — мне всегда казалось, что люди
эти работают временно, что все они притворяются адвокатами или официантами, а на самом деле спят и видят, что их вот-вот вызовут на киностудию. О, они с легкостью бросят тогда свой проклятый завод, пациента или жену, только бы попасть в мАнящий мир кино.
Лос-Анджелес — город бесконечного ожидания. Конечно, постоянно работающие кинематографисты живут припеваючи и ждут лишь прибавления гонорара. Но это профессионалы. Их в Голливуде сколько? Десять-пятнадцать тысяч? А остальные? Чем занимается огромная армия любителей? Нетрудно догадаться: прозябают в ожидании. Год, другой, третий — всю жизнь.
Вот уже пять лет и я стою в очереди за Синей Птицей. И никакого просвета. Впереди меня семь миллионов потенциальных кинематографистов, таких же талантливых и таких же наивных, как я. Неужели я настолько упрям, что верю в успех моего безнадежного предприятия?
Каков же выход?
Мы знали одного серба, который давал уроки тенниса богатым клиентам, в основном женщинам. У серба было упругое, тренированное тело и горячий взор! Когда его потянуло на широкий голливудский простор, он обошел своих милых женщин. Одна дала ему пять тысяч, другая пятнадцать, третья — семь, словом, помогли. Таким образом серб собрал достаточную сумму, чтобы снять фильм (в главной роли выступил, естественно, он сам). Разумеется, долг сербу был прощен. Известны сотни других случаев, когда скидывались состоятельные родственники и субсидировали кинокартину своего племянника, сына или мужа дочери. Ничего стоящего из этого не получалось, но амбиции тщеславного любителя были удовлетворены.
Одному российскому драматургу, преподававшему в Лос-Анджелесе, удалось раскрутить некоего миллионера, которому захотелось увидеть себя на большом экране. Сейчас этот инвестор рвет на себе волосы, не зная, как продать фильм, где он дебютировал и который обошелся ему в два с половиной миллиона долларов. Но — дело сделано.
Я слышал, что Евгений Матвеев, разъезжая по России с творческими встречами, собирал деньги на свой новый фильм. Я не осуждаю его: нужда заставила.
Во всех перечисленных выше случаях деньги, полученные на картину, можно было не возвращать. Прекрасное решение вопроса, но, к сожалению, в силу многих причин для меня неприемлемое.
Что же делать? Как все же снять фильм?
По какому-то странному недоразумению в этот период нас буквально завалили кредитными карточками (платиновыми и золотыми), каждая из которых предлагала взаймы тысячи и тысячи долларов. Кредиторы рассчитывали получить с нас большие проценты. Гарантией возврата для них служили, по-видимому, большой дом на Васанта-Уэй, белый «мерседес» и наши громкие голливудские профессии. Впрочем, не важно, что думали банковские служащие, давая кредит, — важно, что подумал я. Так вот, я подумал, что, набрав в каждой кредитной карточке по максимуму, мы могли бы получить примерно сто пятьдесят тысяч.
Сто пятьдесят тысяч, ни много ни мало!
И я предложил жене-продюсеру:
— А почему бы не снять фильм на кредитные карточки?
— О Господи! — испугалась Наташа. — Еще не хватает потерять дом и машину! Отберут ведь, если не заплатишь. Как ты собираешься возвращать эти долги?
— Постепенно. Понемногу. Дают ведь в рассрочку на пять лет. А за один год фильм заработает столько, что мы легко рассчитаемся со всеми карточками. Не бойся.
— Легко сказать «не бойся», а вдруг фильм не получится?
— Получится! Непременно получится!
Если бы я заколебался, Наташа ни за что не согласилась бы. Но моя безапелляционная уверенность сломила ее сопротивление и помогла справиться с обуревавшими ее сомнениями.
На следующий день Наташа пришла домой радостная.
— Я достала еще пятьдесят!
— Как?
— Уговорила Алекса Кеворкяна. Я сказала, что мы могли бы сделать фильм за пятьдесят тысяч, потому что ты настоящий профессионал.
— Ну, это ты погорячилась — за пятьдесят!
— Если бы я попросила у него больше, он бы ни за что не дал. Ты думаешь, я дура?

В тот же вечер позвонил Алекс и спросил:
— Родион, вы что, в самом деле можете снять фильм за пятьдесят тысяч? Это же нереально.
— Почему нереально? — спокойно ответил я. — Наташа имела в виду чистое производство, без актеров. Актеров оплатим мы сами. У нас уже есть сто пятьдесят тысяч.
— А-а-а! Это другое дело. И когда вы собираетесь вернуть мне долг?
— Год, считай, уйдет на производство, ну и год — на продажу.
— Хорошо, я дам вам пятьдесят тысяч на два года под средний банковский процент.
Неплохое начало!
Мысль рискнуть своими деньгами — мысль отчаянная. Пожалуй, на подобный шаг мог пойти только заядлый игрок, любитель острых ощущений, или такие, как мы с Наташей, аутсайдеры, у которых не оставалось никакого другого выхода.
Единственный вопрос, на который мы не могли пока ответить, о каком фильме идет речь. Мы подсчитывали деньги, предназначенные для производства, но не знали, что будем снимать. Телега оказалась впереди лошади.
— Ты хочешь снять «Кору»? — спрашивала Наташа.
— За двести тысяч? Не справлюсь.
— А «Психушку»? В Москве, наверное, все дешево.
— Сегодня в Москве даже самый простенький фильм обходится в миллион-полтора.
— А что же тогда? Для «Русской рулетки» нужно пятнадцать миллионов. «Лебеди» еще дороже. «Небольшой дождик в четверг»?
— Нет, не потянем.
— Вот это да! А на кой черт тогда мы всё это затеяли?
— Я думаю, надо написать что-то попроще, подешевле.
Я назначил встречу с Эриком Ли Бауэрсом и сказал ему, что, несмотря на то что «Кору» мы по-прежнему любим, после катастрофы с Шамаевым мы не можем больше рассчитывать на чужие деньги. Мы решили вложить свои собственные средства, но их на «Кору» не хватит. Следовательно, нам надо придумать новую историю, поменьше масштабом.
Эрик слушал меня равнодушно, он все никак не мог смириться с крахом «Коры». Жена Эрика и вовсе не хотела с
нами разговаривать. В тот день мы разошлись, ни о чем конкретно не договорившись.
Я знал, что Эрика можно заинтриговать лишь интересно закрученной историей. Как всякий творческий человек, он натура увлекающаяся. Но у меня пока не было такой истории. Мне следовало ее придумать.
Интересно, как путешествует мысль. Меня никогда не увлекали глобальные идеи. Небольшая заметка, мимолетное наблюдение, деталь, мелочь, случайное слово — и зернышко пускает корешок. Разумеется, «пустячок» только кажется пустячком, он должен тебя задеть, и задеть за живое. Душа предчувствует глубину и вибрирует в ответ. Говоря о формировании идеи, я умышленно подчеркиваю: душа и сердце, потому что сердечное, эмоциональное в творчестве для меня важнее всего. Мозг лишь подхватывает желание сердца и придает возникшим эмоциям словесную, музыкальную или ритмическую форму и наделяет ее смыслом. Конечно, существует бесконечное множество иных толкований, приоткрывающих завесу над таинством творчества. Но спросите, что подвигло художника, писателя или композитора на создание того или иного произведения, каков был первый импульс. Уверен, он сошлется на что-то, тронувшее душу. Зародыш художественного творения гнездится в сердце.
Впрочем, не исключаю, что моя теория наивна, что в мире искусства многие отдают предпочтение работе мозга. В своих рассуждениях я лишь опираюсь на собственный опыт и опыт тех, чьи художественные творения вызывали во мне эмоциональный отклик.
Какую же историю мне хотелось придумать? Что послужило толчком, импульсом?
Как вы знаете, в сентябре 1995 года мы отправили в Казань группу кардиоспециалистов Стэнфордского университета и спасли тридцать маленьких детей. Все они теперь бегают здоровые и больше не жалуются на сердце. Но были и такие, которым не повезло. Среди детей «отказников» была и шестилетняя Люда Игнатьева.
Смешная, похожая на маленького гномика, она была очень обаятельна. У Люды был очень сложный порок сердца и узкая аорта, поэтому американцы решили не рисковать.
Мы привязались к Люде и были очень расстроены решением врачей. Она жила в небольшом поселке, и поездка в Казань была непростым делом: семья Игнатьевых едва сводила концы с концами. Мать Люды, Мария, вот уже пять лет ездила с девочкой по больницам России и всюду получала один и тот же ответ: Люд очка обречена и никто не может ее спасти. Мнение американских врачей подтвердило трагический прогноз.
— Брюс, — обратились мы к хирургу Брюсу Райтсу, — неужели ничего нельзя сделать?
— Здесь, в Казани, однозначно нет. Возможно, в Америке... еще можно было бы попытаться.
— Правда? Значит, шанс есть? А что, если мы привезем Люду к вам в Стэнфорд?
— Я... я не уверен, что мы решимся делать ей операцию. Риск слишком велик.
Несмотря на отказ Райтса, у нас затеплилась надежда, что если не в Стэнфорде, то в другом месте все же могут рискнуть. Прощаясь с Людой, мы пообещали ей, что пригласим в Америку и покажем знаменитый

Диснейленд. Она не могла поверить своему счастью, а мы в свою очередь твердо решили сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти девочку.
Мы выполнили свое обещание. Спустя полгода мы встретили Люду и ее маму в аэропорту Лос-Анджелеса. А через две недели прославленный кардиохирург Альфредо Тренто из Си-дар Сайнай госпиталя сделал уникальную по сложности операцию: полностью исправил Людочкин порок сердца и расширил аорту. А еще через две недели она вихрем носилась по Диснейленду и не могла нарадоваться своему здоровому сердечку, сказочным аттракционам и жаркому февральскому солнцу.
Люда и ее мама останавливались у нас дома, и я имел возможность насладиться общением с озорным и жизнерадостным чертенком. Утром она прибегала в нашу комнату, влезала на кровать и начинала меня щекотать. Наблюдая бьющее через край жизнелюбие и смеясь забавным выражениям ее лица, я подумал, что шестилетняя Люда Игнатьева определенно не лишена актерских способностей. Как бы между прочим я давал ей небольшие актерские задачи и смотрел, как
она их решает. Однажды я сказал ей, что буду изображать пьяницу, и тут же свалился на пол. Люда начала тормошить меня. Я не реагировал.
— Папа, папа, — со слезами в голосе произнесла она, — вставай, папа! Ты слышишь?
Она сказала это с таким горестным, безнадежным чувством, что я был тронут до слез. «Уж не пьяница ли ее настоящий папа? Очень натурально у нее выходит», — подумал я.
Нет! Выяснилось, что отец девочки этим недугом не страдал.
И вдруг как молния вспыхнула идея: отец, алкоголик, привозит больную дочь в Штаты. У него есть деньги, чтобы заплатить за операцию, но от обилия возбуждающих впечатлений отец срывается и запивает. Его дочь целыми днями слоняется по Венес-Бич, знакомится с людьми, играет с животными, помогает бездомным. А часы неумолимо отсчитывают время ее жизни. Очухается ее отец в конце концов или нет?
История грустная, но с веселой и жизнелюбивой Людой в главной роли она виделась мне в трагикомическом чаплиновс-ком духе.
Все дни я мысленно примеривался к забавному ребенку, прикидывая то одну сцену будущего фильма, то другую. Я даже думал предложить Люде главную роль, но вовремя спохватился, потому что история быстро видоизменялась и из нее вылетел не только пьяница отец, но и больная дочь. Так что я отпустил Люду и ее маму домой, не сказав о своем замысле ни слова.
Что же случилось? Куда унесла меня фантазия?
А было так. Однажды, раздумывая над историей, я воочию представил себе номер отеля, из которого вот уже пятый день не выходил отец девочки. На подоконнике, залитом солнцем, валялись остатки еды. Посреди комнаты, как раскрытая пасть, торчал чемодан, из которого вываливалась наружу грязная одежда. Пьяница с открытым ртом лежал на кровати и храпел. Я приблизился к нему. Синюшное, обросшее щетиной лицо, склеившиеся ресницы, мерзкое дыхание. И вдруг на подушке, под щекой пьяницы, я заметил мокрое пятнышко. Меня буквально передернуло. «Наволочку-то поменяют, — брезгливо подумал я, — но все равно, не дай Бог
прислониться к этой подушке: приснится какой-нибудь пьяный бред и не будешь знать отчего».
Я без сожаления расстался со своим незадачливым героем, но идея подушки, способной сохрАнять в пуховой своей глубине след от спавшего до меня человека, осталась.
Я подумал, что при особом настрое и чувствительности подушка вполне могла бы поведать мне чужую тайну. А что, если приложиться к подушке преступника?
Брр! Страшно подумать!
Итак, телепатия. Несколько странный аспект ее, но все же — телепатия. Я пришел к убеждению, что не только душа, но и вещи содержат в себе невидимый отпечаток владельца, несут скрытую информацию. Вопрос лишь в том, как расшифровать ее.
А вообще говоря, в реальной жизни верил ли я когда-нибудь в невидимую, подсознательную, телепатическую связь?
Да, верил.
Первая моя встреча с этим необычным явлением произошла, когда мне было девять лет. У моей тети был сын Павлик. Однажды, гуляя в поле, он нашел старый, еще со времен войны, снаряд и стал его разбирать. Когда раздался взрыв, мать в ту же секунду выбежала на крыльцо.
— Павличек! — закричала она. — Моего Павличка убило!
Она неслась по селу с криками, что ее сына убило, а люди смотрели и не понимали, что стряслось. Пробежав два километра, она рухнула на колени рядом с сыном. Люди долго потом балакали, кто ж это и как мог сообщить матери о случившейся трагедии.
Мать объяснила тайну просто: «Я в это время гладила. Глажу его беленькую рубашку и чувствую, что кто-то на меня смотрит. Повернулась, вижу — Павлик стоит в углу, под образами, и смотрит на меня. «Ты уже вернулся, Павличек?» — спрашиваю. Он не отвечает, просто смотрит. У меня сердце так и сжалось. И вдруг как бабахнет! Глядь, а сыночка-то в углу и нету. Не стало Павлика».
Материнское сердце — вещун, это общеизвестно. Вспомним, у скольких женщин сжималось сердце в годы войны. Есть научное обоснование подобного явления. Но меня как режиссера волнует не объяснение, а интуитивное, художе-
ственное ощупывание особой духовной субстанции, связующей людей, как живых, так и мертвых.

В одном из американских штатов проживает телепат, услугами которого пользуется полиция. Этот человек вглядывается в фотографию убитого, видит с «его помощью» сцену убийства и наводит полицию на след преступника.
Есть также женщина-телепат, которая находит потерявшихся детей.
Таких примеров можно привести тысячи.
Тема эта и в искусстве не нова.
В шекспировском «Гамлете» принцу Гамлету является тень убитого отца и открывает ему глаза на совершённое преступление. 1
И вдруг мне пришла в голову мысль: а что было бы, если бы Гамлет был не юноша, а пятилетний ребенок? Выдержал бы он натиск кошмарных видений? Не сошел бы он с ума?
Я вспомнил о сыне Джона Уэлпли, маленьком Доноване, который лечился у алчного психоаналитика.
Задумался я и о преступлении. Кто, когда и как мог его совершить, чтобы подушка могла потом об этом «рассказать»?
Так, шаг за шагом, блуждая во тьме, я двигался в направлении будущего фильма, пока наконец история не обрела четкий рельеф.
Сразу после отъезда Люды я назначил еще одну встречу с Эриком Ли Бауэрсом. Я надеялся, что на этот раз смогу увлечь его своей «закрученной» телепатической идеей.
Я не ошибся.
Сценарий под названием «Телепат» был написан за два месяца. Начало было положено. Рене Клер как-то сказал: «Сценарий написан, осталось его только снять». Для французского классика сценарий был квинтэссенцией творческого процесса, а съемка — лишь формальным делом, переносом действия с бумаги на экран. Альфред Хичкок, кстати, тоже любил создавать фильм на бумаге, а потом лишь воссоздавал его на съемочной площадке.
Думаю, что я еще не созрел для подобного шика. Я расту внутри фильма, по мере его создания. Сценарии, с которыми я имел дело, мало было просто снять. Их нужно было еще и совершенствовать — актерской игрой, движением камеры,
монтажом и музыкой. Я пользовался как бы недозрелыми, зелеными сценариями. Но именно их незрелость и предоставляла мне свободу творчества — на съемочной площадке, за монтажным столом, в зале звукозаписи.
Кстати, если бы все сводилось к созданию фильма на бумаге, то в моем багаже вместо девяти таких фильмов было бы уже десятка два. Как будто и дело — писать сценарии, да все же чего-то недостает.
В общем, меня тянуло поскорее увидеть «Телепата» на экране.
Мы стали прикидывать, какая сумма потребуется, чтобы снять фильм. Прикинули и повесили носы: скромный бюджет в двести тысяч долларов, на который мы рассчитывали и который с грехом пополам могли осилить, на деле вылился в миллион и сто тысяч. Таких денег у нас не было. Мы снова вернулись к сценарию и стали выбрасывать из него дорогостоящие массовые сцены, полицейские машины и вертолеты, компьютерные эффекты и парковые аттракционы.
Говорят, что ограничения будоражат воображение. Я согласен, но не на все сто. Некоторые эпизоды требуют больших организационных усилий и финансовых затрат, в противном случае теряется энергия фильма, его удельный вес, его «форте». Согласитесь, в фильме о землетрясении не обойдешься дребезжащей ложечкой в стакане.
В «Телепате» таким кульминационным моментом был взрыв многоэтажного строения, в котором укрывался злодей. Мы загодя готовили зрителя к подобному эффекту. Не могли же мы разочаровать его пиротехническим дымком вместо взрыва. Словом, кое-что мы ужали и обрезали, но ключевые сцены оставили без изменений. В результате бюджет наш лишь слегка облегчился, упрямо держась у миллионной отметки.
Никаких кредитных карточек, никаких частных займов не хватило бы на производство «Телепата», не приди на помощь мой друг Джон Уэлпли.
То был самый благополучный период в жизни Джона: он как раз подписал огромный контракт с телесериалом «Бевер-ли-Хиллз 90210». Таким образом у него появились деньги, которые он мог вложить в какое-нибудь прибыльное предприятие.
Прочитав сценарий, Джон сказал, что готов пожертвовать на производство нашего фильма триста тысяч долларов. Добавив при этом, что хочет поддержать мой талант, но не сценарий, который, по его мнению, хоть и хорош, но нуждается в доработке.
Вот это уже дело!
Не сложись все так удачно с Уэлпли, не видать бы нам «Телепата».
Интересно, что незадолго до принятия решения Джон ходил к знаменитой в Малибу предсказательнице. Та уверила Джона, что его ждет большой успех и что успех этот связан с каким-то иностранцем. Так как я был единственным иностранцем, которого Джон знал, вопрос был решен немедленно.
Ну разве не чудо? Особенно если учесть то обстоятельство, что сразу же по завершении работы над «Телепатом» бедный Джон тут же потерял контракт с «Беверли-Хиллз 90210» и погряз в многочисленных долгах.
Вообще создание фильма «Телепат» было актом сверхъестественным, можно сказать, чудесным, ибо

делался фильм вопреки непреодолимым препятствиям и проклятью.
Проклятью?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Неужели в конце двадцатого века еще существуют проклятья?
Трудно поверить, но — существуют. И наверное, будут существовать. Часто людям нужен реванш за собственные неудачи, и нужен не на том свете, а сегодня, сейчас. Вот тогда-то и вступают в силу гадалки, профессора черной магии, заклинатели, шаманы или служители культа вуду.
Я не могу утверждать наверняка, но с некоторых пор в моей жизни произошел слом. Все, за что бы я ни брался, стало натыкаться на жесткое, непреодолимое сопротивление или прерывалось, как если бы кто-то из баловства вложил в программу разрушительный вирус, блокирующий нормальное течение дел.
Вначале я думал, что неудачи, преследующие меня, даны в наказание за горе, которое я причинил Вере и девочкам. Возможно, что и так. Но со временем я обнаружил, что у моих неудач странное «выражение лица». Все дела срывались в самый последний момент, на самом интересном месте. Вместо рукопожатия мне протягивали фигуру из трех пальцев. Не думаю, что ехидство или злорадство свойственны Господу. Тут было замешано что-то другое, человеческое.
Я бы мог привести сотню примеров, подтверждающих это. Единственное, чего я не знал, — кто заказал проклятье и какой мне уготован конец.
В один из моих московских визитов мне Позвонил некий почтенный господин и предложил свои услуги.
— Вас ждет беда! — торжественно заявил он. — Я давно вас разыскиваю. Вообще, я убираю проклятья за деньги, но вам помогу просто так, из уважения.
— Какое проклятье? — спросил я.
— Вы знаете, как убили Игоря Талькова?
— Да, знаю.
— Если я не помогу, вас ждет то же самое.
Когда я рассказал об этом звонке своим знакомым, они возмутились:
— Глупости! Рекламный трюк! Потом будет трепаться на каждом углу, что он-де спас Нахапетова от верной смерти. Если хочешь, мы его проверим, тряханем как следует. Где, ты говоришь, он принимает?
— Не надо, пожалуйста!
Я не хотел злить «профессора». Кто знает, может, он и вправду силен в оккультных науках. Наташа встревожилась:
— Что все это значит? Он говорит, что тебя убьют, да? Так надо же что-то предпринять!
Она не случайно приняла сказанное всерьез, ведь несколько лет назад насильственной смертью умерла ее мать.
— Наташа, — успокоил я жену, — он сказал это только лишь для того, чтобы я побывал у него. Чтобы потом похвалиться, что у него бывают знаменитости.
— А может, все-таки лучше было бы сходить, может... наши дела пошли бы лучше, — сказала Наташа.
Она даже больше, чем я, была уверена в тяготеющем над нами проклятье.
— Схожу в следующий раз, — ответил я.
Я не пошел: забыл фамилию, не нашел телефона, да и, если честно, не хотел идти. Я пришел к убеждению, что отделываться от проклятий нужно с Божьей помощью, а не с платной, человечьей. Наташа согласилась со мной.
Мы стали усиленно молиться. Особенно ночью, перед сном.
Вполне возможно, что нас прокляли и не втыкая иголок в тряпичные куклы, как делают жрецы вуду, а просто от всей души, всем сердцем пожелали безденежья и всяческих неудач! Ведь если пожелания счастья и здоровья способны врачевать, почему бы не отдать должное и пожеланиям типа «Чтоб ты сдох!» или «Не видать тебе счастья вовек!»? И то и другое имеет точный адрес и нацелено прямо в сердце. Разница известна: добрые пожелания рождены энергией любви, а проклятья — энергией зла, энергией низменной.
В общем, с молитвами или без них, ко времени начала работы над «Телепатом» мы стали замечать, что сила проклятья
ослабевает. Более того, появление Джона Уэлпли с его тремястами тысячами и вовсе показалось нам чудесным. Эти перемены случились сразу после успешной медицинской акции, и поэтому мы сочли, что доброе, гуманное дело наряду с молитвами тоже помогло избавиться от проклятья, создав своего рода защитный экран, предохрАняющий нас от всего дурного.
Возвращаясь к рассказу об усердных молитвах, хочу добавить пару штрихов. Представьте такую картину: двое взрослых людей, закрыв глаза, бормочут псалмы, в руках у них стаканы с водой, чтобы очиститься от злых духов, а перед ними глухая восточная стена (важно, что восточная). А еще представьте солидного режиссера, ведущего деловые переговоры и при этом зажимающего в кармане «заколдованный» камень и перевязанный резинкой бумажный доллар, чтоб повезло. Да, бывало и такое. Сейчас это кажется смешным...
Да, мы еще не совсем избавились от суеверий и предрассудков, от всех этих черных кошек, тринадцатых чисел и прочего. Можно бы, казалось, быть выше этого, да только человек порой думает так: на всякий случай поберегусь, хуже не будет. И перекрестится, или зажмет пуговицу, или перейдет на другую сторону улицы. Кстати, в Лос-Анджелесе, в здании, где мы арендуем офис, вовсе нет тринадцатого этажа (после две-

надцатого сразу идет четырнадцатый): строители сделали это «с умом», на всякий случай.
Итак, мой первый американский фильм «Телепат».
Берясь за рассказ о съемках малоизвестного фильма, я понимаю, что рискую наскучить. Однако мой опыт работы в Голливуде независимо от результата был во многом необычен и странен, поэтому я уделю фильму «Телепат» целую главу. Количество страниц к достоинствам фильма отношения не имеет. На моем счету были фильмы и получше, но лишь «Телепат» явился настоящей киношколой, значение которой я не хочу преуменьшать. Никогда не знаешь, что окажется полезнее — большой арбуз или маленькая виноградина.
Как известно, в бывшем Советском Союзе киноделo субсидировалось государством. На производство фильма выделялась определенная сумма, которой распоряжался директор кинокартины. Режиссер, как правило, хотел большего, нежели предполагалось сценарием или бюджетом, и из-за этого возникали трудности — на уровне объединения, студии или Госкино. Зрительский успех был приятен, но гоняться за ним считалось унизительным. Именно поэтому мы постоянно говорили о кино как об искусстве, но никогда не опускались до рассуждений о прибылях. Кассовый успех мы считали своего рода уступкой качеству. Мы больше ценили самый процесс создания фильма, и кинопоиск был важнее переполненных залов. Нас не интересовало, сколько заработало наше произведение. А если чемпионом проката становился такой фильм, как «Пираты XX века», то подобный успех казался даже чем-то постыдным. Другое дело — признание критики или победы на фестивалях! Однако вспоминаю, сколько язвительных замечаний было высказано по поводу мирового проката фильма «Москва слезам не верит», который, по мнению киноэлиты, потакал низменным вкусам публики. На премию «Оскар», полученную Владимиром Меньшовым, наша культурная общественность отреагировала с таким презрением, как будто это были тридцать сребреников Иуды. Интересно, что пятнадцатью годами позже тот же самый «Оскар», врученный Никите Михалкову, отмечался как огромная победа российской кинематографии. Я, признаться, тоже был тронут до слез. Изменились времена.
Раньше мы вежливо приветствовали наших маститых кинодеятелей, подчас не признавая за ними таланта. Нам каза-* лось, что они продались партийной власти и их искусство должно быть низложено вместе со знаменами коммунизма. И что же оказалось? Социализма не стало, а мы почему-то скучаем о наивных и добрых фильмах, сделанных предыдущим поколением мастеров. Странные метаморфозы проделывает время. И все же Героев Социалистического Труда никто больше не почитает, мы отдаем предпочтение новым богам — нашим новым героям, тем счастливчикам, которые сумели устроиться при настоящем режиме.
Можно сказать, что многое изменилось, но можно сказать, что и ничего. Я вспомнил, как забавно меняют рисунок металлические опилки в зависимости от магнита, передвигаемого под столом. Меняется форма, но принцип остается прежний: авторитет власти склоняет нас то в одну, то в другую сторону. - Но вернемся к «Телепату».
Итак, мы вложили в этот фильм свои собственные деньги. Это обстоятельство спасло меня от творческого простоя, но оно же и омрачило жизнь. Мне постоянно приходилось напоминать себе, что бюджет ограничен, что надо быть экономным, что нельзя просто забыться и в упоении творить. Следовало учитывать, куда и на что потрачены деньги. Все это, в общем-то, не ново, но если раньше, в Союзе, это были мимолетные мысли, то сейчас — неотступные: я имел дело с суровой бухгалтерией, с которой нельзя было не считаться. Будучи исполнительным продюсером (наравне с Уэлпли), я то и дело заглядывал в бюджет и ужасался несоответствию между планируемыми и реальными затратами. Мой карман не был бездонной бочкой, и я знал это, как никто другой. Просчитавшись в одной-двух сценах, мы очень легко могли оказаться на финансовой мели и не дотянуть даже до конца съемочного периода. А это было бы настоящей катастрофой, ибо контракты с актерами (по условиям актерской гильдии) чрезвычайно жесткие и в конечном итоге разорительные. Так что, если бы мы вдруг приостановили съемки хотя бы на месяц, нам неминуемо пришлось бы объявить вслед за этим и банкротство. Все пошло бы коту под хвост. С малобюджетными фильмами такое бывает.
Другими словами, опасность перерасхода и последующего за этим разорения держала меня в постоянном напряжении — от первого до последнего дня съемок. От этого тяжкого бремени я не избавился и сегодня, поскольку деньги возвращаются много медленней, чем хотелось бы, а долги непомерно растут.
Пойдем, однако, по порядку.
Начав подготовительные работы по фильму, мы должны были расшириться, то есть иметь достаточно места для размещения съемочной группы. Мы добавили две комнаты к уже существующему офису и перво-наперво стали подыскивать административную группу. Даже на «Мосфильме», где я проработал пятнадцать лет, собирать группу было нелегко: тот хорош, но занят, а этот свободен, но плох. С годами я приобрел некоторые знания в этой области — по своим фильмам, по фильмам коллег. В Голливуде же тебе присылают так называемые резюме на рекомендованного специалиста, но по листу бумаги трудно что-либо решить. Ты можешь, конечно, позво-
нить, навести справки, но не всегда подобная информация бывает точна. Так что полагались на интуицию.
Трудная доля выпала Наташе. На ней как на продюсере замыкались все финансовые и организационные вопросы. Мы с Уэлпли, хоть и считались исполнительными продюсерами, были всего лишь у нее на подхвате, решая общие вопросы, не требующие ежеминутной ответственности. К тому же мы были заняты прямыми своими делами: я старался сосредоточиться на творческих вопросах, Уэлпли пропадал на своем

шоу.
При чрезвычайно коротком съемочном периоде (в три раза короче, чем на «Мосфильме») на бедную Наташу наваливалось слишком много забот. На фильме «На исходе ночи» у моего директора (продюсера) Ефима Голынского, как я помню, было три заместителя и три администратора. На «Телепате» по бюджету Наташе полагался всего лишь один профессиональный помощник — производственный менеджер.
Наташа остановила свой выбор на очень энергичной, толковой женщине по имени Лори Пост. За ее плечами было около двадцати фильмов, и рекомендации у нее были самые отменные. Один из продюсеров отметил, что она может работать сутки напролет. Лори Пост и впрямь оказалась неутомимой, то и дело она засиживалась с сослуживцами до двух-трех ночи.
Единственным недостатком Лори, который мы обнаружили лишь во время съемок, было то, что она держалась на наркотических таблетках. Ни с того ни с сего она вдруг принималась хохотать или застывала, как парализованная, уставившись в одну точку. Помощники, которых она себе подобрала, были ей подстать. Всё бы ничего, но, возглавляемые Лори, они образовали тайную анти-Наташину коалицию и постоянно вставляли нам палки в колеса. Лори, по-видимому, задевало то, что Наташа, не имея достаточного опыта, занимала более почетное место в табеле о рангах, нежели она. Обнаружив внутри административной группы подрывную деятельность, мы стали выгонять этих партизан, но дров они успели наломать предостаточно.
Подготовительный период проходил очень бурно, хотя в нем и не было ничего нового для меня, разве что английский язык. Поиски актеров, выбор натуры, беседы с художником-постановщиком, кинооператором — все это одинаково и в Голливуде, и в Москве, и в Киеве.
Но не все давалось легко. За день до начала съемок наша художница по костюмам не явилась на съемку. Все костюмы, взятые на прокат, возвращать отказалась. Полиции она заявила, что она — это не она, а сестра. Счета за аренду костюмов тем временем росли. Наконец выяснилось, что наша художница уже не первый раз совершала подобные кражи. Ее арестовали и посадили на семь месяцев в тюрьму. Костюмы в конце концов нам вернули. Но где гарантия, что спустя семь месяцев, выйдя из тюрьмы, эта сумасшедшая баба снова не разошлет по городу свое резюме и не подцепит на крючок еще одну съемочную группу?
Дальше. В главной роли в нашем фильме должен был сниматься Питер Грин (он играл полицейского, насилующего негра, в фильме «Криминальное чтиво» Тарантино). Высокий блондин с лучистыми голубыми глазами, Питер с энтузиазмом начал готовиться к съемкам. Всякий раз, репетируя, Питер так возбуждался, что глаза его, казалось, вылезут из орбит. Он кипел даже тогда, когда по роли ему следовало быть спокойным. Его буквально захлестывал темперамент. Я подумал, что наш герой (злодей на поверку, но милый и привлекательный поначалу) в буйном исполнении Питера Грина выдал бы себя с головой и подсказал бы зрителю финал в первую же минуту. Я стал присматриваться к актеру более внимательно.
Посреди репетиции он то и дело убегал в туалет. Возвращался оттуда довольный, машинально потирая нос. Не зная наркотических симптомов, я принимал преувеличенный темперамент Грина за энтузиазм и страстное желание блеснуть в роли.
Поскольку герой фильма биохимик, я решил показать Питеру настоящую биохимическую лабораторию, где велась разработка вакцины против СПИДа. Следовало соблюдать предельную осторожность. Питеру все было нипочем. Он бесцеремонно отодвигал ученых от микроскопа, поправлял предметные стекла, хватал голыми руками пробирки, зараженные вирусом, то включал, то выключал вибрационные машины, натыкался на столы.
— Я — Питер Грин! — кричал он. — Я должен знать все! Показывайте! Насрать мне на СПИД!
Пришлось вывести Питера из лаборатории.
Меня охватил страх. Я рассказал Наташе о посещении лаборатории. Мы собрали группу, взвесили все за и против и в конце концов пришли к убеждению, что с таким неуправляемым артистом фильма нам не снять. Он завалит дело. Опытная Лори Пост убедила нас, что Питер принимает героин. А это покруче алкоголизма. Мы расстались с Грином накануне первого дня съемок и тем самым спасли фильм (Питера уложили в клинику через неделю), но удар был очень чувствительный. Кого возьмешь за день до начала съемок? Я вспомнил об актере Эндрю Хеклере, который понравился мне на пробах. Если бы Эндрю был занят, фильм пришлось бы закрыть. Эндрю, к счастью, оказался свободен.
Несмотря на катастрофу с костюмами и потерю главного героя, мы начали съемки фильма вовремя. Для нас было чрезвычайно важно следовать графику. Как я уже говорил, отсрочка даже на один день могла привести нас к печальному результату. Характерно, что Лори Пост, воспользовавшись неприятностью с Питером Грином, стала настаивать на расторжении контрактов со всеми актерами — с тем, чтобы начать (?) настоящую, полноценную подготовку. Если бы мы послушались ее совета, мы бы и сегодня еще готовились. Ее призыв заключал в себе тайный маневр, своего рода подводный риф, который мог легко погубить всю нашу работу. Потратившись на лишний месяц подготовки, мы никогда не наскребли бы денег на продолжение и неминуемо распустили бы команду. Лори и ее друзьям удалось бы таким образом избежать тягот съемочного периода, ничуть не ущемив себя в зарплате. Мы не послушались совета Лори Пост и решили снимать.
Можно было бы выкинуть саму Лори Пост, но это тоже повлекло бы за собой остановку производства. Пришлось приноравливаться к ее взбалмошному характеру и терпеть.
И еще один подводный камень оказался на пути.
У нас снимался Майкл Джей Поллард, забавный комедийный артист, который когда-то прославился в

фильме «Бонни и Клайд». В самый ответственный день съемок он вдруг заболел и потребовал продюсера.
— Наташа! — заявил он. — Если ты не достанешь мне то, что нужно, я не выйду на съемочную площадку.
— Что такое, Майкл?
— Умираю... Голова болит.
Руки Полларда дрожали, и глаза были воспаленными.
Наташа позвонила доктору, лечащему Полларда, умоляя выписать болеутоляющие таблетки. Доктор отматерил Полларда заочно и предупредил, что делает это в последний раз.
— Болеутоляющие! — съязвил он. — Проследите, чтобы Майкл не принял больше одной таблетки. Это наркотик!
Поллард проглотил все четыре таблетки сразу. Дрожь в руках тут же унялась, взгляд стал осмысленнее. Поллард явился на съемочную площадку в хорошем настроении, знал текст, гибко реагировал на замечания и в результате сыграл сцену великолепно. То же повторилось и в последний день съемок. Если бы не Наташа, не досняли бы мы Полларда из-за его неотступной головной боли.
Бывали и смешные моменты.
В одной из главных ролей снимался негр Тони Тодд, известный по заглавной роли в фильмах ужасов «Конфетный человек». По ходу сюжета он должен был рухнуть на пол. Снимали мы в заброшенном здании, прогнившем, полном крыс и всякого мусора. Мы отдушивали подвал лимонным спреем целых два дня, но унять вонь так и не смогли. Съемочная группа демонстративно работала в защитных масках. Я же — так же демонстративно — маски не надевал.
— Я не буду валяться в таком дерьме, — услышал я позади возмущенный голос Тони, — пусть меня хоть застрелят — не буду!
Я сделал вид, что не услышал, и принялся объяснять Тони задачу.
— Значит, так. Ты получаешь удар ножом в спину и медленно... вот так, — показываю я, — сползаешь на пол.
Я сползаю на пол, в самую грязь. На мне белые джинсы, светлая шелковая рубашка.
Тони смотрит на меня с недоумением. Я поднимаюсь.
— Или можно так, — продолжаю я. — Ты чувствуешь сильный толчок сзади, ступаешь вперед, хочешь оглянуться и... — показывая, я снова падаю лицом в грязь, — и валишься наземь.
Отряхнувшись, я поднимаюсь и предлагаю еще один вариант:
— Нет, я думаю, что лучше будет упасть вот так.
Я снова падаю. Лежу посреди мусора как ни в чем не бывало.
Тони не выдерживает:
— Я понял! Вставай!
После съемок я видел, как Тони отчаянно пытался смыть с тела крысиный помет, матерился сквозь зубы, но съемки провел безупречно.
Вообще, Тони проникся ко мне большой симпатией и даже уговаривал сделать вместе с ним фильм о прадеде Пушкина. Особое уважение у него вызвало то, что я написал в сценарии хорошие, полноценные роли для негров и что в актерском составе «Телепата» был не один и не два негра, как обычно в «белых» фильмах, а целых четыре.
— Это потому, что ты из России! — сказал Тони. — У вас там нет расизма.
Я не принял его слов всерьез. Возможно, потому, что никаких расистских чувств и в самом деле не испытывал. Негры хороши не только в спорте и на эстраде, но и в кино. Вспомните Эдди Мэрфи. Они естественны, темпераментны, прекрасно импровизируют, а это как раз то, что нужно! Потребовалось бы — написал бы для них ролей и побольше.
Съемочный период был коротким, а потому очень напряженным. Почти ежедневно мы работали свыше четырнадцати часов. Держались чудом. Но в последний день съемок усталость все же дала о себе знать.
Взорвался оператор:
— Пока не дадите три тысячи, снимать не буду. Возроптала съемочная группа:
— Если не ггривезете горячий обед (в два часа ночи!), разбежимся!
Требовали актеры:
— Заканчивайте к черту!
Гримерша, разрыдавшись, заявила о своем уходе. Ассистенты ругались друг с другом. Актриса Трейси Лордз кипела от злости.
— Если бы кто только знал, как я его ненавижу! — сказала она.
— Кого? — спросила Наташа.
— Ясно кого, — зло буркнула актриса. — Родиона!
— О-о-о, — искренне поддержала ее Наташа. — Я тоже. Разорвать готова!
Я чувствовал, что я один, один, как голый хребет. Я отделял себя от других, чтобы не сломаться. Если бы я позволил себе в ту минуту расслабиться, наступило бы всеобщее облегчение. Но это было бы облегчение, равносильное смерти: фильм не был бы доснят.
И вот я сговариваюсь с бунтующим оператором. Заставляю Наташу тащиться за ночным обедом. Успокаиваю гримеров. Шучу с актрисой. И довожу съемку до конца.
Об актрисе Трейси Лордз.

Из всех актрис, пробовавшихся на роль мамы, элегантная молодая актриса Трейси Лордз показалась мне наиболее подходящей. Мне хотелось, чтобы в образе матери была некая тайна, которая предполагала бы ее возможное участие в преступлении. В Трейси Лордз такая скрытность присутствовала, и я ее утвердил.
На следующий день художник-постановщик сообщил, что уходит с картины.
— Что случилось, Пол? — удивился я.
— С Трейси Лордз ни один уважающий себя кинематографист не будет работать, — заявил он.
— Правда? Но ведь она хорошая* актриса, — попытался возразить я.
— Хороша ноги раздвигать! Ты знаешь, что она была порнозвездой?
— Слышал. Но это было много лет назад. Она хочет забыть об этом. В нашем контракте даже специально оговорено — не показывать ее обнаженной.
— Она была проституткой с детских лет! Все это знают!
— Я этого не знаю. Да и не хочу знать. Я только знаю, что она хорошо играет.
— Она погубит нас. Никто не купит фильм с Трейси Лордз! Я не мог с этим согласиться. Всегда хорошо дать артисту
шанс. Зритель, думал я, поймет правильно. Как выяснилось, высокий уровень игры Трейси Лордз все же не смог перевесить ее позорное прошлое: некоторые кинопрокатные фирмы, японские в частности, были разочарованы, что не увидели в «Телепате» полового акта.
У меня не было времени наводить справки о Трейси Лордз. Но по окончании съемок я узнал о ней больше. Оказалось,

что у нее полно почитателей. В Интернете я обнаружил десятки страниц о ней, мог послушать ее песни. Она записала несколько альбомов с танцевальной техномузыкой, очень яркой и запоминающейся. Конечно, ее порнографическое прошлое перевешивало сегодняшние серьезные роли, но публичный интерес к Трейси был по-прежнему горячим. Кстати, Трейси была первой среди порнозвезд, которая заработала на порнофильме ни много ни мало миллион долларов. Это был не наш «Телепат», разумеется.
Повторяю, я был свободен от предвзятости к актрисе и удовлетворен ее игрой, но с грустью должен признать, что шлейф прошлого оказался сильней, чем я предполагал. В свое время Трейси сотворила не одну сотню «шедевров», которые горячили кровь миллионам мужчин. Они по-своему почитали ее, но уж никак не хотели признать в Трейси скромную и порядочную маму, любящую своего мужа, и лишь его одного.
Я не ставлю своей задачей создать впечатление, что то была не работа, а каторга или, что хуже, сумасшедший дом. Напротив, рабочие дни проходили слаженно и, несмотря на напряженный график, очень интересно. Актеры с полуслова понимали меня, а когда не понимали, я им показывал. Актеров так забавляли мои показы, что они часто подначивали меня поиграть. В одном из интервью актриса Карен Блэк («Беспечный ездок», «День саранчи» и многие другие) особо отметила мое умение ладить с артистами и то, что я не командую, не давлю, а ненавязчиво подвожу исполнителя к тому, что от него требуется. Мне трудно судить. Возможно, это и так. Я уже говорил, что, снимая документальные фильмы, я приучил себя к выжиданию, вылавливанию момента, к легкой провокации. Эти приемы, как видно, работают и в художественном кино.
Когда-то я спросил у Анатолия Эфроса, каким образом он добивается от актеров естественности в игре. Он ответил, что секрет прост: нужно поставить перед актером правильную задачу. То есть не сбивать актера с толку, не взваливать на него свою заумь и не сгибать его в бараний рог.
Сравнивая наших актеров и американских, должен сказать, что не нахожу большой разницы ни в уровне профессиональной подготовки, ни в методе, ни в подходе к роли. Пожалуй,
единственное, что бросается в глаза, — американцы не слоняются по площадке, не зная, чем себя занять: у каждого актера есть комната в специальном вагончике, где они проводят свободное время. Подобная изоляция, на мой взгляд, дает возможность сосредоточиться, повторить текст роли, поправить грим.
И еще поразили меня дисциплина и порядок на съемочной площадке. Даже если съемка назначена на пять часов утра, все собираются без опозданий. По российскому опыту знаю, как расхолаживает группу ожидание проспавшего актера или очередь на бензозаправке. Я не встретил ни одного бездельника, которому мы платили бы зря. Единственное, что требовалось от компании Ар-джи-ай, — это не задерживать с кормежкой. Вообще, на съемочной площадке у нас всегда было изобилие всяких вкусностей, и группа, думаю, прибавила в весе. Все были так довольны, что отведать наших даров наряду со съемочной группой приходили многочисленные друзья, невесты, родственники. А бывало, что и случайные прохожие.
Что еще преподал мне Голливуд?
В сравнении с «Мосфильмом», где все цеха, все работники, все усилия сосредоточивались в одном месте, в Голливуде производство расползается на весь Лос-Анджелес. Кинокамеру мы брали в одном месте, проявляли пленку в другом, монтировали в третьем. Материал постоянно находился в пути. На «Мосфильме» все было под рукой, и потому казалось, что все делается быстро и как бы само собой. А здесь нужно найти подходящий склад реквизита, или надежный парк съемочной техники, или недорогой прокат костюмов, а удалены они, бывало, на десятки километров друг от друга. Кому-то нужно развозить коробки, кому-то сторговываться о цене, оплачивать долги, подписывать контракты. Возможность выбирать — прекрасная возможность, но очень обременительная, когда решать предстоит тебе самому. Ведь прежде, чем решить, ты должен потратить время на то, чтобы найти лучшее. Так вот, занимаясь всем этим, я невольно

познал весь технологический процесс создания фильма — не как режиссер, а как продюсер. Это было для меня ново.
И еще.
В Америке, как известно, авторитет женщины много выше, чем в России. Существует большое количество престижных компаний, которыми успешно руководят представительницы слабого пола. По старой советской привычке я всегда относился к женщинам с уважением, но в больших делах предпочитал обходиться без них. И вот сейчас, по иронии судьбы, основную позицию в производстве фильма, моего фильма, заняла женщина. У меня не было колебаний по поводу назначения Наташи, но, признаюсь, первое время я волновался, что моего продюсера могут сбить с толку нерадивые помощники, что она запутается в миллионах технологических мелочей. Но очень скоро тревога улеглась, более того, я почувствовал, что только благодаря Наташе я и могу спокойно заниматься режиссурой. Я знал, что она старается. Пока я снимал, Наташа готовила следующую съемку, из кожи лезла вон, чтобы обеспечить всем необходимым, а это было ох как нелегко.
Взять хотя бы такой пример.
Чтобы снимать в том или ином месте, мы должны были иметь специальное разрешение от городских властей. Казалось бы, чего проще? Но это только так кажется. Снимая, к примеру, на Венес-Бич в Лос-Анджелесе и получив разрешение (платное, разумеется) на съемку на тротуаре, мы и шагу не могли ступить на песок того же самого пляжа, а оплатив разрешение ступить на песок, не имели права войти в воду. Обязательным условием съемок на натуре является присутствие полицейских. НАняв их, группа как бы сама же себе надевает наручники, щедро оплачивая из своего бюджета неусыпный контроль. Полицейский на съемочной площадке призван обеспечивать порядок, оберегая нас от ротозеев, но тот же самый полицейский строго следит за тем, чтобы киногруппа не нарушала распоряжения городских властей. Снимая в интерьере, мы брали на себя еще один контроль — пожарный. Мы не имели права даже спичкой чиркнуть, не удовлетворив требований по технике безопасности. Пожарный на съемочной площадке — это дополнительные, и часто большие, непредвиденные расходы: поди узнай, какая опасность таится в том или ином интерьере — сквозняк или бумажные обои. Ни пожарный, ни полицейский, хоть и оплаченные нами, не были членами съемочной группы. Сменив место съемки, мы вынуждены были нанимать и новых блюстителей порядка. А это значит, что войти с ними в близкие отношения у нас просто не было времени. Они оставались суровыми, неподкупными и посторонними — с первого дня до последнего.
Замучили нас и ежедневные поиски автостоянок. Помимо служебных автомашин, вагонов для артистов, грузовиков с техникой, гримерных и костюмерных комнат, нужно было разместить еще и два-три десятка личных автомобилей. Для этого требовалась большая площадь. А если учесть, что Лос-Анджелес плотно сбитый, перенасыщенный автомобилями город, то можно себе представить, с какими трудностями мы столкнулись.
Накануне последнего съемочного дня случилась беда: нам отказали в стоянке. Что делать? Лори Пост, наш верный помощник, стала настаивать на том, чтобы мы отменили съемку и принялись искать другое место. Конечно, Лори Пост знала, чем грозит отмена съемок. Мы подсчитали, что пролонгация съемочного периода даже на один день обойдется нам в восемьдесят тысяч долларов.
Я схватился за голову. Наташа расстроилась тоже.
— Неужели нельзя было найти какую-нибудь другую стоянку? — спросила она.
— Нет! — ответила Лори Пост. — Там нет места для стоянки. Вы даже понятия не имеете, что это значит — найти стоянку в центре города.
— Понятно. Но, может, я все-таки попробую? — сказала Наташа. — Не отменяйте съемку. Ладно?
Лори засмеялась:
— Не верите? Ну что ж, в добрый час! Спустя два часа Наташа вернулась.
— Так, — спокойно сказала она. — Стоянка есть. Снимаем.
— Ты гений! — обрадовался я.
— Есть стоянка? Не в противоположном ли конце города? — съехидничала Лори.
— Ближе не бывает! — с достоинством ответила Наташа. — За углом нашего здания.
Лори скисла.
А Наташа отвела меня в сторону и тихо сказала:
— Ты знаешь, со мной сейчас произошло чудо. Не смейся, пожалуйста, самое настоящее чудо!
Я заметил на ее глазах слезы.
— Что случилось? — спросил я.
— Я не хотела при ней говорить, — стала рассказывать Наташа. — Никакой стоянки там не было. Только та сволочная, где нам отказали. Обошла все кругом и поперек. Ничего! Села в машину и стала реветь. Реву, реву. Что делать, не знаю. А потом думаю, может, Блаженная Ксения поможет? Она нам не раз помогала. Стала молиться: «Помоги, Ксения! Услышь молитву мою! Все рушится, не справляюсь я!» Помолилась и стало немного легче. Завела машину и поехала. Поворачиваю за угол и вдруг вижу городских рабочих в касках и в униформе. Вышла из машины и, заплаканная, подхожу к ним. Сама не знаю зачем. «Что с вами?» — спрашивает меня один из рабочих, чернокожий. «Да вот так и так, — я ему рассказываю. — Это моя первая картина, если не найду стоянку — позор. Все летит в пропасть». «Когда у вас съемка?» —

спрашивает он. «Завтра. Один день». И вдруг этот человек — просто так — протягивает мне связку ключей и говорит: «Если вам подойдет, можете пользоваться. Вот ключи. Я работаю от города».
Представляешь? Он отпирает замок на воротах и проводит меня на пустую стоянку прямо позади нашего здания, под эстакадой. Этот «рабочий» оказался большим городским начальником. Ну разве это не чудо, скажи? Это все Ксения!
— Да... — сказал я.
Я отдавал должное святой Ксении. Но и своей жене тоже.
Доверие и надежность — вот основа взаимоотношений между продюсером и режиссером. Если этого нет, все лезет по швам. Одно дело декларировать, другое — следовать этому. Между мной и Наташей доверие было полное. Надежность, верность слову, честность тоже были проверены временем. Да, это большая удача быть с продюсером заодно.
Когда я снимал музыкальный фильм «О тебе», директором картины был молодой человек по фамилии Предыбайло. Работал он с холодком, к сценарию относился цинично. Я пригласил его повечерять. Мы выпили по рюмочке, поговорили о том о сем. Как бы ненароком я перевел разговор на фильм, стал проигрывать музыкальные фонограммы, записанные заранее, и рассказывать, что и как будет происходить на экране. Я увлекся сам. Разыгрывая под музыку Сергея Баневича сцены из фильма, я видел, как Предыбайло оживает. Он с удовольствием провел три часа в театре одного актера и ушел, напевая одну из мелодий. На следующий день моего продюсера невозможно было узнать. Изменилась даже его походка. Если раньше он заставлял себя идти на съемку, то теперь ноги не успевали за головой. Когда же наша героиня, огромная трехметровая белуга, отдала концы, не доснявшись, наш Предыбайло бросился в воду, схватил дохлую рыбину за хвост и стал размахивать ею.
— Снимайте же, елки-палки! Она как живая! — кричал он нам. — Только не берите меня в кадр!
С того дня мы были с Предыбайло заодно и делали все возможное, чтобы добиться лучшего результата: он — организационно, я — творчески.
Режим семейной жизни был напряженным. Подъем в пять утра, нервные, торопливые сборы. Сумасшедший день, суета-маета с нашим фильмом. В десять вечера просмотр отснятого материала, в полночь — домой. Беспокойные ночные разговоры и короткий, опять же нервный сон.
Любовь, та огненная любовь, которая зажгла наши сердца на Васанта-Уэй, переросла во взаимное доверие, уважение, понимание. Часто подобными словами вежливо обозначают угасшую любовь. С годами, с появлением детей, скажем, с возникновением житейских трудностей любовь как бы деликатно отступает на задний план, давая нам возможность сосредоточиться на практических делах. Бывает, что эти дела так занимают нас, что любовь кажется чем-то и впрямь несущественным. Но попробуйте отшелушить ее от будничных забот, как это бывает у человека, стоящего на пороге смерти, и вы увидите, что любовь нетленна. Вы лишь задвинули ее в дальний угол.
Горит костер. Озаряет твое лицо румянцем. Ты прижимаешься ко мне, наблюдая, как искры взметаются в небо. время остановилось, оно всегда останавливается у горящего пламени, у текущего ручья, в объятиях любимой. но я хочу знать больше, видеть шире, и я отхожу от тебя. иду один. взамен тепла, взамен костра — все больше веток, . стволов деревьев и темноты. из глубины, навстречу мне, весело постукивая колесами, несется электричка. в вагоне шумно и светло. Попутчики играют в домино. Незнакомые лица, невнятные разговоры. На чемодане змеится зигзаг домино. Цифры быстро лепятся одна
к другой, и вот чья-то рука дуплится «пусто-пусто». Конец игры.
Я шевелю пальцами. Оказывается — это моя рука, мои «пусто-пусто», мой выигрыш. Мне страшно. До меня доходит, что «пусто-пусто» — это все, что у меня есть. Есть победа, но нет тебя. Я выпрыгиваю из вагона и бросаюсь во тьму. По темным перелескам, вдоль реки, сквозь непролазные пугающие ветви — туда, к нашему костру. Вдали мерцает маленькая точка. Она растет, приближаясь. Становится тепло. Вот уже различимы языки пламени. И вдруг я вижу, что ты у костра не одна. Сидишь, прижавшись к какому-то незнакомцу. Я хочу знать, кто он такой... Я захожу сбоку и с удивлением обнаруживаю, что твой новый друг — это я сам. Как сидел, прижавшись к тебе, так и сижу. Ничего не изменилось. Потрескивают горящие сучья, взлетают к небу искры. Мы смотрим на огонь и молчим. Я замечаю на тебе мой пиджак и думаю, как хорошо, что, уходя, я успел накинуть его на твои плечи, он согревал тебя в мое отсутствие. и вдруг меня пронзает простая мысль. «а может, — думаю я, — может, я и не уходил вовсе? Просто на миг прикрыл глаза? Прикрыл глаза».
Как это могло случиться, что я полюбил Америку?
Я не задаюсь подобным вопросом, когда думаю о России. Любовь к России была изначально, я впитал ее с молоком матери. Но откуда взялся столь притягательный интерес к Америке? Ведь пока кругом меня звучала русская речь, а за окном простирался русский пейзаж, в моем сердце гнездилось что-то еще, постороннее, чужое.
Началось все с чистого любопытства. Советская школа не скрывала, что Америка огромна, но, конечно, ни в какое сравнение не шла с Россией, «где так вольно дышит человек». Мне казалось, что США — это другая планета, что она населена гигантами и имеет иную, чем у нас, флору и фауну. Побывать в Америке было равносильно путешествию на Луну. То, что я видел или читал об Америке, будучи мальчиком, было сплошной экзотикой. Однако разрозненные картины далекой жизни не складывались во что-то цельное. Фенимор Купер, Джек Лондон, Хемингуэй, Марк Твен, Мелвилл, Фолкнер, Фрост и Уитмен завораживали

меня, но орбиты их миров пересекали мой родной российский небосклон наряду с другими звездами. Я любил французских писателей, увлекался английскими поэтами, немецкими философами, японскими художниками, итальянскими кинорежиссерами, но при этом
никогда не рвался на юг Франции, не хотел жить в Баварии или работать в Стране восходящего солнца.
И вот я оказался в Калифорнии. Что стряслось со мною?
Неужели я здесь, потому что климат мягче, или фрукты свежей, или девушки краше? Но ведь в этом смысле Сочи не уступит Лос-Анджелесу. Тогда, может, Голливуд привлек меня? Да, в Голливуде есть чему поучиться, но ведь учиться можно и в других местах.
Бывает, женится парень, счастлив по уши, а друзья никак в толк не возьмут, что нашел он в этой заурядной девушке. И в самом деле, что увидел я такого-этакого в житье за океаном? Ведь мало сказать — есть крыша, есть пища, есть работа, но ведь к чему-то и душа должна приложиться. Поиск счастья — чем он вызван? Смятением или надеждой?
В Нью-Йорке окопалось несколько сотен тысяч новоприезжих из бывшего Союза. Брайтон-Бич стал схож с Одессой, повсюду слышится знакомая речь, гостеприимно открыты двери русских магазинов и ресторанов, расставлены парковые скамейки с видом на море — настоящая Одесса. Люди радуются новой жизни, воссозданной по чертежам недавнего советского прошлого. Счастливы.
В России наблюдается прямо противоположная картина: там на фоне старого уклада культивируется американский образ жизни (ухудшенного, опошленного образца). Если в Америке игорный бизнес, к примеру, позволен лишь в двух штатах, в России он разросся как раковая опухоль. Реклама алкоголя, курения, привозного барахла украшает самые видные места городов. Взяточничество, коррупция, бандитизм — эти новые «нормы» возмущают и парализуют людей. Но значит ли это, что в России нет счастливых людей? Конечно, не значит. Выздоровела мать, успешно сдан экзамен, неожиданное свидание, желанный поцелуй, рождение ребенка. Можно привести тысячи примеров. Выходит, счастье не в географических переменах, не в месте жительства и не в качестве колбасы. Оно — внутри самого человека.
Если говорить серьезно, я уехал в Америку ни по какому не по контракту. Хотя был и контракт, и Наташа, и преодоление сорокачетырехлетнего рубежа, — все это было, но было на поверхности, как результат, как завершающее действие. В основе же всего лежал наивный и жаркий порыв сердца.
Любовь объяснить трудно. Но можно обнаружить ее русло.
Много лет назад в пионерской комнате, где я в ожидании мамы проводил долгие часы, я облюбовал большой школьный глобус и часто от нечего делать поворачивал его в сторону, противоположную нашей великой державе. Мне нравилось заучивать незнакомые названия. География была моим любимым предметом. Потом были книги об индейцах. О золотоискателях. О реке Миссисипи. Американские истории. Моим любимым фильмом в те годы был «Тарзан». Американский фильм.
Однажды девятиклассница Дина, которая мне нравилась, призналась, что не задумываясь отдалась бы своему кумиру — американскому певцу Элвису Пресли. Я смочил волосы мыльной пеной и уложил их в большой кок, как у Элвиса. Оставалось лишь обзавестись узкими джинсами. Я надеялся, что смогу уговорить маму.
— Мне так нравятся песни Элвиса Пресли, — начал я.
— Не вздумай подражать, — сказала мама, — не позорь меня перед учителями.
— Ты не слышала его песен, а говоришь! — возмутился я.
— Мне незачем их слушать, — спокойно ответила мама. — Посмотри, сколько стиляг развелось! Круглые двоечники. Стыдно смотреть: штаны в обтяжку, галстук в попугаях.
— Мама...
— Не проси, — строго обрезала мама. — У меня нет денег. Все. Садись за уроки.
Я не добился благосклонности Дины, но зависть и интерес к американскому сопернику остались.
Когда в СССР появился журнал «Америка», я не пропустил ни одного номера. Красота пейзажей, бытовые зарисовки, исторические справки — все это будоражило воображение.
А потом был американский писатель-фантаст Рэй Бредбери. Я был так взволнован свежестью его автобиографической повести «Вино из одуванчиков», что снял тридцатиминутный мюзикл по этой повести — свой режиссерский диплом. Создавая на экране чужое, я вживался во все детали, чтобы сделать чужое своим. «Вино из одуванчиков» — это повесть о детстве. Об американском детстве. О детстве, много более светлом и здоровом, нежели мое собственное.
Итак, внутри меня росла Америка, но не реальная Америка, не та, что огорчает меня сегодня. В моем сердце расцветал поэтический образ страны невиданных возможностей, страны бесконечного процветания. Мне казалось, что на противоположной стороне глобуса нет лжи и лицемерия, что там повсюду голубое небо, яркие краски, энергичная музыка.
Эстафету растущего интереса к Америке подхватила любовь к Наташе. Затем мне приоткрылись голливудские горизонты, контракт со студией «20-й век Фокс». Началась работа над сценариями, съемка фильмов.
Рассказывая о годах, проведенных в Америке, я не раз давал оценку некоторым аспектам американской жизни. Но многое осталось за пределами рассказа. Чтобы компенсировать это, я дополню картину описанием бурных стихий: негритянского бунта в 1991 году, лесных пожаров в Малибу и нортриджского землетрясения в 1994 году.

Однажды ночью за превышение скорости полиция решила остановить автомобиль, которым управлял негр по имени Родни Кинг. Несмотря на сигналы полиции, Кинг продолжал движение, не снижая скорости и кидая автомобиль из стороны в сторону. Наконец полиции удалось перекрыть нарушителю путь. Из автомобиля с недовольным видом выдвинулся громила водитель, явно под наркотиками. В подобных случаях полиция приказывает лечь на землю. Родни Кинг приказу не подчинился. Это взбесило полицейских, и они принялись колотить негра дубинками. С налитыми кровью глазами, полуневменяемый громила негр упрямо держался на ногах. В конце концов сопротивление могучего негра сломили. Такое в Америке случалось не раз. Но не всегда действия полиции снимались на пленку. Какой-то любитель исподтишка включил камеру как раз тогда, когда полиция перестала уламывать негра словами и пустила в ход дубинки. Я видел эти кадры не раз. В течение нескольких месяцев, изо дня в день повторялось избиение Кинга на телевизионном экране, терзая душу и возбуждая естественный протест: сколько же можно бить бедного негра? Родни Кинг уже весело гуляет по Лос-Анджелесу, пьет, курит, прихватывает на ночь проститутку-гермафродита, а по телевидению его все еще нещадно бьют. У негров особые счеты с полицией. Они возмущены тем, что полиция придирается именно к ним, останавливает, проверяет документы — просто так, на всякий случай. Полиция объясняет свои действия предусмотрительностью, ведь из ста преступлений в городе восемьдесят семь совершаются чернокожими. Как бы там ни было, страсти по Родни разгорелись во всю мощь. За пару синяков, полученных в ту памятную ночь, хулиган, наркоман и бездельник выставил городским властям счет в несколько миллионов долларов за побои и унижение. Сделал он это, разумеется, по наущению ловких адвокатов, борцов за права черных.
К судебному процессу было приковано внимание не только негритянского населения, практически вся Америка ждала приговора над расистами-полицейскими.
Несмотря на то что полиция имела основания для задержания Родни Кинга, она не имела никаких прав применять столь грубые меры, как битье по спине, шее и рукам. Главному полицейскому чину города Даррелу Гейтсу пришлось подать в отставку. Но этого было мало. Черные жаждали физической расправы над провинившимися полицейскими, они жаждали возмездия, реванша. В день обнародования приговора на городской площади стихийно (?) собралась многотысячная толпа негров. Ждали жестокого, тюремного приговора. Но суд, состоявший в основном из белых присяжных, принял решение освободить полицейских из-под стражи, не применяя к ним никаких санкций, кроме служебного порицания и штрафа. Раскаленная до безумия толпа взорвалась. Чернокожие стали бить стекла, ломать и крушить все на своем пути. К бушующей толпе стали присоединяться тысячи и тысячи негров. Сначала это было чистым выплеском эмоций, но скоро стало заметно, что действиями толпы кто-то руководит. Как оказалось, многочисленные гангстерские группировки города заранее продумали тактику действий. В разных концах города одновременно вспыхнули сотни пожаров. Но как только пожарные бросались их тушить, они попадали под обстрел черных снайперов. Чтобы защищать пожарных, полиции пришлось занимать позиции у горящих точек. А в это время, пользуясь тем, что полиция отвлечена пожарами, бунтовщики принялись громить витрины магазинов. Начался дикий грабеж. Негры и латиноамериканцы (мужчины, женщины, дети) бросались в проемы витрин и растаскивали все, что попадалось под руку, уносили даже холодильники. Вертолеты с телекамерами кружили над городом, освещая развивающиеся события. Негры стали атаковать белое население. Так, буквально на наших глазах (жители Лос-Анджелеса не отрывали глаз от экрана телевизоров) они остановили грузовик, выдернули из кабины водителя по имени Реджи-надд Деми и избили его камнями до полусмерти (много больней, чем Родни Кинга). Интересно, что, когда впоследствии состоялся суд над неграми, которые это сделали, активисты черных заняли миролюбивую позицию. «Незачем разжигать ненависть между людьми!» — разумно провозгласили они, и на суде дело обошлось тем, что перед изуродованным до неузнаваемости Реджиналдом Деми бандиты просто-напросто извинились. Никаких претензий (попробовал бы он!), никаких миллионов за избиение, никаких тюрем. В то время как Родни Кинг оказался удачливей и выиграл все, чего добивался. Вообще, этот Родни обошелся Лос-Анджелесу в несколько миллиардов долларов, если принять в расчет восстановление города после бунта. Город горел сотнями пожаров. Если бы в те дни было ветрено, Лос-Анджелес сгорел бы дотла. К счастью, стояла тихая погода, и дым пожарищ черными свечками вздымался к небу. Полиции не хватало. Грабежи распространились на десятки километров. Город кишел грабителями, как муравьями. Без всякого стеснения и страха люди сновали по раскуроченным магазинам, загружали доверху свои машины, отвозили награбленное домой, тут же возвращались и снова бросались в проломы. Я видел лица этих грабителей. В них совсем не было злобы или остервенения. Они с удовольствием таскали громоздкие коробки, пакеты, ящики. Смеясь, они пробегали мимо беспомощно стоявших полицейских, которым не под силу было унять людской водопад, низвергавшийся из разверстых стен и окон. Некоторые мародеры не стесняясь давали интервью.
— А что я, хуже других, что ли? — говорили они. — Все берут, и я беру.
— Но ведь это все не ваше! — пытался внушить журналист.
— Будет наше! — весело неслось в ответ.
Среди тысяч пострадавших владельцев магазинов нашлись и свои герои. Одна корейская семья, все — от мала до велика — вооружились пистолетами, ружьями и гранатами и не подпус-
кали грабителей к своему дому. Большинство же оказалось менее воинственным и поплатилось за это.
С балкона нашего дома на Васанта-Уэй город был виден как на ладони. Огни пожарищ стали приближаться

к голливудским холмам, то есть к нам. По нашей тихой улочке с бешеным ревом пронесся автомобиль без крыши, битком набитый неграми. Они внимательно присматривались к местности. По-видимому, то были разведчики, готовившиеся распалить костры у подножия знаменитых белых букв. Я спустился вниз, развернул шланг и стал обливать стены дома мощной струей воды, надеясь, что мокрое дерево не так-то легко будет поджечь. Ни у меня, ни у Наташи не было оружия, чтобы противостоять вооруженным до зубов неграм. Ночь была чрезвычайно тревожной. Я провел ее у входной двери, прислушиваясь к подозрительным звукам и движениям и беспрерывно поливая деревянные стены. Наташа то и дело спускалась ко мне.

— Ну что? — спрашивала она.

— Не беспокойся, — отвечал я. — Пока все тихо.

— По новостям только что сказали, что горит Ла-Брея (улица рядом с нашим офисом). Ужас!

— Сюда пока не добрались. Выключай телевизор и ложись спать.

На следующий день по телевидению выступил растерянный Родни Кинг, «виновник торжества». Он промямлил что-то невнятное по поводу того, что он-де не думал, что разгорится такой пожар, призывал к миру и пониманию. Но жалкого негра никто не слушал. Да и не в нем было дело. В людях было разбужено звериное, подлое начало, и противостоять этому злу способна была бы лишь значительная военная сила. Мэр города Лос-Анджелеса Том Брэдли вызвал федеральные войска.

Когда бунтующих угомонили, жители города вышли на улицы. Лос-Анджелес предстал их взору искалеченным до неузнаваемости. Стены домов были пробиты и обожжены, автомобили перевернуты, асфальт усыпан битым стеклом. Повсюду видны были следы крови, валялись пустые гильзы от патронов. Даже самые несгибаемые активисты негритянского движения и те испытывали неловкость и стыд, взирая на картину разорения. Но их смущение длилось недолго. Они принялись втолковывать публике, что черные тут вовсе ни при чем, что черные (и латиноамериканцы) были доведены до такого состояния несправедливостью и унижением. Получалось, что стыдно должно быть не тем, кто избивал, грабил, стрелял в пожарных и полицейских, а всем нам, мирным жителям. Ну что ж, пришлось взять эту вину на себя. Мэр, с покаянной речью и с распростертыми объятиями, принял на работу по восстановлению города десятки тысяч безработных, тех самых бунтовщиков, которые всего несколько дней назад беспощадно разрушали его. На улицах зазвучал рэп — любимая музыка черных. Полицейским, побившим Родни Кинга, на повторном суде дали срок, негров, избивших Реджиналда Деми, простили.

Должен сказать, что при внешне решенной проблеме метастазы заболевания пошли дальше. Когда спустя три года звезда американского футбола негр О'Джей Симпсон из ревности зарезал свою бывшую жену (белую) и случайно подвернувшегося приятеля (тоже белого), адвокаты негра настояли на черных присяжных заседателях, с тем чтобы решение суда было «справедливым». Понятно, справедливость заключалась в том, чтобы не признать черного героя виновным в совершённом преступлении. Кого же тогда винить? Как вы думаете? Да конечно же, все ту же полицию. Это они, белокожие полицейские, неправильно (со стерильной точки зрения) вели расследование, были предвзяты к Симпсону и нарочно, из расистского возмездия, расплескали кровь жертв в доме Симпсона. Полная чушь? Попробуйте оспорить это. Поднимется такой бунт, какой вам и в страшном сне не приснится. Симпсон, на которого показывали все улики, вышел на свободу. Белые возмутились, но на баррикады не пошли. Трещина в расовом расслоении общества стала глубже и заметней. До меня дошло, что расовая дискриминация — ужасное явление. Несправедивое, слепое и жестокое. Но не только по отношению к черным. Расовая дискриминация бьет одинаково больно как по меньшинствам, так и по белокожему большинству.

Огонь всегда завораживал меня. Я мог смотреть на него бесконечно. Мое внимание приковывала верхняя часть огня. И неважно, что именно горело: дрова, газеты или уголь. Чистое пламя — особое состояние материи. Загадочная плазма, несущая в себе мистическое предчувствие конца света, его микромодель. Образ обжигающего, обновляющего огня я использовал в финале своего первого фильма «Вино из одуванчиков». После долгих раздумий старушка — героиня фильма принимает мудрое решение расстаться с реликвиями прошлого. Она разводит на заднем дворе костер и сжигает на нем все, чем дорожила долгие годы: детские игрушки, платья, старые пластинки, фотографии. Огонь сжигает прошлое. И Земля, возможно, тоже когда-то будет объята огнем. «И смерть и ад будут повержены в озеро огненное, — говорится в Откровениях Св. Иоанна Богослова. — И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...»

Когда мне было семь лет, мы с мамой снимали угол у чужих людей. С потолка свисал большой абажур. Однажды я заметил, что от огня свечи кисточки абажура шевелятся. Это было так удивительно, что я стал играть с этим неожиданным источником ветра. Мне казалось, что, поводя горящей свечкой, мне удастся раскачать абажур. Кончилось тем, что абажур загорелся, а я свалился с табуретки. На моих глазах огонь весело расправился с абажуром, оставив меня любоваться проволочным скелетом, обугленным электрическим проводом и закопченным потолком. Нас попросили съехать. Мы лишились теплого угла, но любопытство мое к огню не угасло.

Пожары в Калифорнии обычное дело. Больше всего страдают лесистые холмы, особенно когда дует горячий суховей по имени Сайта Анна. Американские пожарные пользуются здесь огромным авторитетом, и заслуженно: очень рискованная и тяжелая у них работа. Не буду останавливаться на специфике тушения калифорнийских пожаров и статистике. Скажу лишь, что не проходит и недели, чтобы телевидение не транслировало какой-нибудь случай, связанный с обширным распространением огня в городе или в лесу.

Причины возникновения пожара в городе различны, но у некоторых из них есть одна общая и, на мой взгляд, подозрительная черта. Чаще всего горят почему-то магазины и складские помещения, и загораются они глубокой ночью. Объясняют это, как правило, самовозгоранием электропроводки. Подозрительным мне кажется тот факт, что горят «прогоревшие» компании, магазины, опустевшие склады. Дело в том, что обязательным условием ведения всякого бизнеса в Калифорнии является многопрофильное страхование (от наводнения, пожара и землетрясения). В названных выше случаях страховые компании обязаны возмещать пострадавшим убытки. Создать искусственное землетрясение или наводнение ручным, так сказать, способом невозможно. Зато вполне возможно темной ночью заискрить два провода у ветхой фанерной стены. Пока пожарные подъедут, сгорит значительная часть — поди разбери, что там было.

Я знал одного художника, картины которого в «огромном количестве» сгорели в его картинной галерее. Застраховал он свои шедевры, как если бы то был Ван Гог. Картин не стало, но деньги появились приличные. Конечно, не так-то легко выжимать из страховых компаний компенсацию, но все же много легче, чем находить ценителей прекрасного.

В дни суховея пожарная охрана бдительна, как никогда, ведь от незатушенной сигареты может случиться большая беда, особенно в лесу. Бывало и такое. Но помимо халатности и небрежности курящих и вспышек молнии, существуют и другие причины. Говорят, ветры Санта Анны возбуждают местных «геростратов». В различных концах обширных лесных массивов эти психи умышленно совершают поджоги. Ветер раздувает огонь, а Герострaты мчатся домой и включают телевизор. Преступники исполнены особой гордости и удовлетворения — оттого, что их усилиями нанесен ущерб в пятнадцать, тридцать, двести миллионов долларов. Бывает, что поджигателей обнаруживают, предают суду, но ряды их тем не менее не оскудевают, и несчастий от них — великое множество.

Впервые я столкнулся с большим пожаром в 1991 году.

Дело было так. Мы решили провести конец лета на даче у Наташиной двоюродной сестры. Эта дача располагалась среди живописных холмов, неподалеку от прославленного Йосемитс-кого национального парка. Поселок назывался очень мило: Озеро Сосновых Гор. Мы никогда не бывали там, но, обзаведясь картой, смело тронулись в путь. Отъехав от Лос-Анджелеса километров на четыреста и свернув с основного шоссе на второстепенную дорогу, я заметил, что весь горизонт на нашем пути покрыт дымовой завесой.

— Лес горит, — сказал я.

— Где горит? — встрепенулась Наташа. — Не там ли, куда мы едем?

— Думаю, дальше, — ответил я и, съехав на обочину, развернул карту.

Катя (ей было тогда восемь лет) проснулась и стала кашлять.

— У меня в горле першит, — сказала она.

— И у меня, — Наташа тоже кашлянула.

— Какие вы обе чувствительные, — сказал я и... непроизвольно откашлялся тоже. — Странно, пожар километрах в пятидесяти, а горло уже щекочет.

— Да нет, горит где-то близко, — сказала Наташа. — Может, поедем обратно?

— Обратно? Четыреста километров? Да мы почти что приехали.

Мы продолжили путь. Лес горел ближе, чем я думал. Спустя десять минут дым клубами стал обволакивать машину, создавая впечатление полета в грозовых облаках. Навстречу с включенными фарами двигались легковые автомашины, фургоны, грузовики, наполненные всяческим скарбом. Шла эвакуация. Дорогу нам преградил пожарный кордон.

— Проезда дальше нет, — сказал пожарный, стараясь быть вежливым. — Возвращайтесь назад.

— Я еду к сестре, в поселок Озеро Сосновых Гор, — сказала Наташа. — Что там?

— Мэм, — сказал пожарный, — я вам сказал, жители района эвакуированы. Проезда дальше нет. Пожар охватил тысячи акров. Но не беспокойтесь, мэм, мы держим огонь под контролем,

В это время, натужно рыча моторами, подъехало несколько пожарных машин — на дозаправку водой. Обычно пожарные автомобили выглядят эффектно. Красный лак, хромированная отделка. Но сейчас... Грязные, побитые и как будто обессиленные. На вытоптанную лужайку из машин вывалилось полсотни измученных, небритых пожарных, тех самых, что держали «контроль» над огнем. Некоторые из них поплелись к походному столу перекусить и выпить кофе, другие точно подрубленные рухнули наземь, отбросив каски и закрыв глаза. В открытое окно нашей машины вместе с дымом ворвался горячий дух пожара. Над головой кружили вертолеты. Отовсюду слышались обрывки беспокойных радиопереговоров.

В окно заглянул пожарный. Он по-прежнему старался быть любезным. Но на этот раз это давалось ему с трудом.

— Еще раз повторяю: немедленно разворачивайтесь и уез-
жайте, — сказал он. — И поторопитесь, огонь в полумиле отсюда.

Разворачиваясь, я успел заметить, как «отдохнувшие» (не более пяти минут) пожарные вставали с земли и с новой энергией занимали места в своих грязно-красных машинах. В зеркале заднего вида я видел, как завертелись и засверкали пожарные мигалки, видел, как машины резко сорвались с места и — одна за другой — исчезли в дыму.

Удаляясь прочь, я тоже прибавил скорость, надеясь сдуть встречным ветром налипшие на капоте серые хлопья пепла.

Потом закрыл окно и включил кондиционер.
Через неделю лесной пожар под Йосемити был потушен.
Второй раз лесной пожар подобрался прямо к нашему дому в Малибу. Нам (и нашему хозяину Дэвиду Джену) было приказано складывать вещи и готовиться к эвакуации. Мы понимали, что количество вещей должно быть ограничено. В легковом автомобиле не так уж много места. Времени на сборы оставалось мало. Наташа стала упаковывать свои вещи, Катя — свои. Я тоже был поставлен перед необходимостью выбора: что представляет для меня наибольшую ценность? И странно: я обнаружил, что совсем не привязан к вещам. Фотографии дочек, несколько книг (среди них Стефан Цвейг с маминой дарственной надписью), смена одежды — вот, пожалуй, и все. Остальное мне было не нужно. Катя оказалась «упакованной» больше других, она не могла отказаться от своих любимых игрушек.
Наверное, с возрастом человек начинает понимать, что, обременяя свою жизнь вещами, уподобляется старому судну, дно которого обросло ракушками. Они — часть корабля, но ценность их ничтожна.
Мы загрузили автомобиль и приготовились к отъезду. Но ветер вдруг изменил направление и перекинулся на противоположную сторону Малибу. Мы взбежали на гору и оттуда наблюдали, как могучий океан огня быстро слизывал зеленые холмы Малибу — вместе с виллами знаменитых кинозвезд. На наших лицах играли красные отсветы солнца. Мы были возбуждены. От взвесей рыжих дымов, поднявшихся к небесам, солнце приобрело кроваво-беспокойный цвет.
Мне подумалось, что такое необычное освещение ждет нас в конце всех концов.
Лос-Анджелес славится не только Голливудом. Землетрясения — это еще одна достопримечательность города. Подземные толчки здесь — будничное явление.
Часто посреди ночи кровать уплывает в сторону и деревянная стена поскрипывает в «суставах».
— Что это? — просыпается Наташа. — Землетрясение?
— Да, — как можно спокойнее отвечаю я. — Маленькое. Три с половиной, не больше.
— Пять! — уверенно заявляет Наташа. — Включи «Новости».
В «Новостях» о землетрясении не говорят ни слова. Слишком незначительный был толчок. Конечно, если бы толкнуло на пять баллов, был бы другой разговор.
Иногда потряхивает днем, но при малых баллах это незаметно. Люди заняты делом. Кругом и без того все гудит, дребезжит, мелькает. Между тем лосанджелесцы готовы к серьезным потрясениям. На службе, в школе, в больнице, в любом общественном месте приготовлены специальные спасательные пакеты. Тебя постоянно обучают тому, как надо действовать во время землетрясения и после него.
Мне довелось испытать землетрясение в 7,2 балла по шкале Рихтера. Это произошло глубокой ночью. Я проснулся оттого, что кровать подо мной раскачивалась, как лодка в штормовую погоду. Наташа вспорхнула с кровати в мгновенье ока. Пока я, шатаясь, нащупывал ночные тапочки, что-то рухнуло на пол, зазвенело разбитое стекло.
— Наташа! — позвал я жену. — Где ты?
— Землетрясение, — прошептала она. — Большое! Это большое!
Я нашел Наташу ощупью. Она стояла в проеме двери, как положено.
Я бросился в другую комнату за Катей. Катя тоже оказалась ученой и тихонько сидела на корточках под столом. Пока я искал, куда мне себя деть, первая, самая сильная и продолжительная волна землетрясения сошла на нет.
Я бросился к телевизору. Он не работал.
Щелкнул выключателем — свет не зажегся.
Радио тоже было обесточено.
Мы выбежали на улицу. Никакого ночного освещения, кроме бледного свечения звезд.
Из соседнего дома вышел Дэвид (мы еще жили в Малибу).
Шок сменился нервным перевозбуждением. Смеясь, Наташа стала рассказывать, как оказалась в дверном проеме — до того, как окончательно проснулась. Катя беспричинно хихикала тоже. Я открыл дверь машины и включил радиоприемник. Связь с внешним миром возобновилась. В лучах автомобильных фар, освещавших двор, нам сделалось спокойнее. Из экстренных «Новостей» мы узнали, что эпицентр землетрясения находился в районе Нортриджа, примерно в двадцати километрах от нас. Подземные толчки еще сотрясали землю, но становились с каждым разом слабее и слабее. Остаток ночи мы провели на улице.
Утром мы узнали, каковы были разрушения и человеческие жертвы. Нортриджское землетрясение занесено в лос-анджелесскую сейсмическую книгу как одно из самых разрушительных и трагических. Теперь я понимал, почему здания здесь строятся не из кирпича, а из дерева. Рухнули огромные торговые центры, обрушились многоэтажные дома. Но наш фанерный домик устоял. Мы отделались лишь легким испугом. Правда, два дня не было электричества, три дня — воды и газа, но это мелочи.
В эти дни в Лос-Анджелесе гостил мой старый приятель Эльёр Ишмухамедов. Когда-то, во время съемок «Нежности», мы с ним пережили тяжелое ташкентское землетрясение, которое погребло практически весь старый город. Нортридж, по его словам, потряс его значительно больше. К тому же он гостил на двадцать шестом этаже. На следующий день Эльёр решил немедленно покинуть Лос-Анджелес.
Нострадамус предсказал, что все Калифорнийское побережье, подобно Атлантиде, полностью уйдет под воду. Сейсмологи, соглашаясь со средневековым предсказателем, готовят лосанджелесцев к восьми с половиной разрушительным баллам. Так что мы живем как на вулкане — в ожидании Большого,

Окончательного землетрясения, завершающего тектоническую подвижку земных пластов. Катастрофа может произойти в любую минуту, поэтому напряжение возрастает. Однажды прямо во время теленовостей произошло небольшое землетрясение. Ведущий так испугался, что полез под стол — на виду у миллионов телезрителей. Любопытно, что фамилия у этого ведущего оказалась соответствующая — Шокнер (пребывающий в шоке).

Я продолжаю жить в Лос-Анджелесе по сегодняшний день. На моих глазах ливневые дожди сносят в океан автомобили, с гор сваливаются дорогие виллы, горят леса и киностудии. Но я все еще здесь. Город переполнен безработными, звучит незнакомая речь, я погружен в чужую культуру, как пресноводная рыба в соленое море, но адрес свой не меняю. Передо мной, двойной экспозицией, сосуществуют два мира, ни одному из которых я не могу отдать предпочтения. Один — моя родина, другой — дом, в котором я живу.

Недавно Катя выиграла всеамериканский поэтический конкурс, и ее первое стихотворение поместили в специальном сборнике. Это большая победа. Она милая, тихая, но при этом очень настойчивая. Как и все мои девочки, Катя тянется к искусству. Что она выберет — музыку, пение или поэзию, сказать пока трудно, но уверен, она будет стараться.

Это — в Лос-Анджелесе.

А в Москве...

В декабре 1997 года я побывал в Большом театре на балете «Щелкунчик», в котором выступала Анюта. То была ее первая афишная роль. Моя Анюта была так великолепна в роли Чертовки, что у меня от прилива эмоций навернулись слезы. Полутора минут, отведенных юной дебютантке, было, конечно, очень мало, чтобы о ней всерьез заговорила балетная критика, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы я почувствовал себя счастливым отцом. Мне припомнилось, как пятнадцать лет назад, в другую зиму, Анюточка, не стесняясь посторонних, с гордостью садилась на «шпагат» в клубе Русакова. Кафельный пол фойе был затоптан и мокр, но это не смущало ее — она повторила трюк. На Анечке была тесная курточка и теплые штанишки. Люди, скучавшие в фойе перед началом фильма, с любопытством повернули головы к гибкой трехлетней девочке. Сегодня Анютку смотрит публика Большого театра.

Машенька поступила во ВГИК, на художественный факультет. Ее детский интерес к рисованию вылился в профессиональный. Я видел ее учебные работы — и уже, сегодня готов повесить их на стенку. Однажды, не сказав ей, что приду, я появился в Институте кинематографии и видел, как Машутка приветствовала знакомых мальчишек. Легкая, раскованная,

она была в центре внимания. Мне напомнило это маму, с детства предпочитавшую девичьей дружбе дружбу с мальчиками. Только бы она была счастлива.

Вера с мужем Кириллом, маленькой Настасьей и повзрослевшими старшими дочерьми переехали на новую квартиру. На Тишинке осталась одна Галина Наумовна. Стихли детские голоса, обветшали стены.

Когда я несколько лет назад, после долгого отсутствия, впервые появился на Тишинке, то заметил большие перестановки. Лишь старые мои книги теснились на полках. Остальное было упаковано в коробки и отвезено в гараж.

Гараж наш находился в десяти минутах езды. То были типичные для конца семидесятых годов гаражные строения — унылые и безжизненные.

Я отворил железные двери гаража и вошел в него как в склеп, где покоилось мое прошлое. Ветхие от сырости картонные коробки, наполненные давно невостребованными вещами, и в самом деле производили впечатление какой-то мертвечины. Я брезгливо развязал шнурок на одной из коробок и заглянул в темное нутро.

Старые кассеты. Связки писем. Вытекшие батарейки. Несколько фотографий. Некоторые из фотографий склеились так, что я не мог их разлепить.

Мы останемся на фотографиях. В запыленных и тихих альбомах, Не стесняясь прижмемся к чужим, Оказавшимся рядом лицам. Из негатива тьмы проступят Замершие дни и зов незнакомых глаз. Пусть совершится таинство иной жизни Под прессом нашего забытья. Неподвижность камней — отнюдь не свидетельство их смерти.

Если нота длится целый век, а другая — тысячелетие, Легко ли уловить мелодию? Великие чувства неторопливы, Ибо Вечность не ставит им границ. Я славлю небо за его молчаливую сущность.

Мне не хочется завершать книгу на пессимистической ноте, а то бы я непременно поговорил с вами о знамениях, знаках и свидетельствах, упоминаемых в Библии. Я не стану этого делать и, отбросив переживания по поводу конца света, буду говорить лишь о том, что под силу моему воображению и уму.

Завершается двадцатый век. И хотя человек не властен выбирать своих родителей, время и место рождения, мне здорово повезло. Вместе с остальными тремя с половиной миллиардами землян я вступаю в новое тысячелетие. Я прожил полную и счастливую жизнь. И если бы меня спросили, хочу ли начать все сначала, не задумываясь ответил бы — нет. Вариант — это всего лишь вариант, и превзойти оригинал он не может. Да и потом, если говорить честно, было бы скучно снова приниматься за соску или делать первые шаги. Пружина жизни ослабевает, и оставшиеся часы хочется потратить не на переделку начала, а на хороший финал.

Вчера было 4 июля, День Независимости, который Америка отмечает вот уже 222 года.

Мы с Наташей и Катей поехали в небольшой городок Сан-Клементе, чтобы посмотреть фейерверк. Расположились на пляже. С каждым часом народу прибавлялось все больше и больше. Кругом слышался

смех. Настроение у всех было радостное.
В девять вечера с пирса вилкообразно взлетели первые ракеты. Тысячи зрителей принялись аплодировать и кричать. Россыпи ракет — белых, алых и ярко-бирюзовых — покрыли безоблачное небо. Одни ракеты имели пылающие, пышные хвосты, словно кометы. Другие взмывали вверх зигзагами, точно поднимались трудными воздушными тропками. Третьи, тихо и незаметно достигнув высоты, вдруг мощно разрывались и расчерчивали тьму звездным дождем. Количество ракет росло. И вот под конец весь спектр, вся мощь, весь набор огненных комбинаций, сопровождаемый усиливающимся громовым раскатом, расплескался в небе, озаряя океан и публику.
Я не видел ничего более впечатляющего, чем этот могучий фейерверк. Я сидел, как и все, с задранной кверху головой и что-то кричал. И вдруг спохватился, обнаружив на своем лице какое-то новое, незнакомое выражение. Под моей кожей, словно покрытой гипсом, я почувствовал живое лицо — лицо счастливого ребенка. Домой мы вернулись за полночь.
Катя тут же пошла спать. А Наташа скрылась на кухне, желая проведать нашего нового члена семьи, которому мы отвели специальный уголок.
В следующую секунду Наташа вернулась.
— Не сходишь с ним погулять? — сказала Наташа, протягивая мне небольшого песика. — Бедненький, он все это время терпел.
— Конечно, выйду, — согласился я и надел на маленького «померанца» ошейник.
Мы купили Лаки (омоложенный вариант Лаки Первого) три месяца назад. Конечно, щенок всегда глупее взрослой собаки, и Лаки Второй не заменит Лаки Первого. Но стоит ли сравнивать?
Лаки, сделав свои дела, стал весело носиться по тротуару. Я не снял с него поводка, боясь, что он выбежит на проезжую часть. Щенок усердно тянул меня то в одну, то в другую сторону. Я чувствовал, как по натянутому между мной и Лаки красному ремешку то и дело пробегала едва различимая волна: это Лаки принюхивался к кустам и подергивал поводок.
По ночному небу ползли дымовые разводы — следы недавнего фейерверка. На душе было спокойно.
Под утро мне приснилась большая собака, которую я гладил по голове.

Васанта-Уэй, Лос-Анджелес, 1998 г.